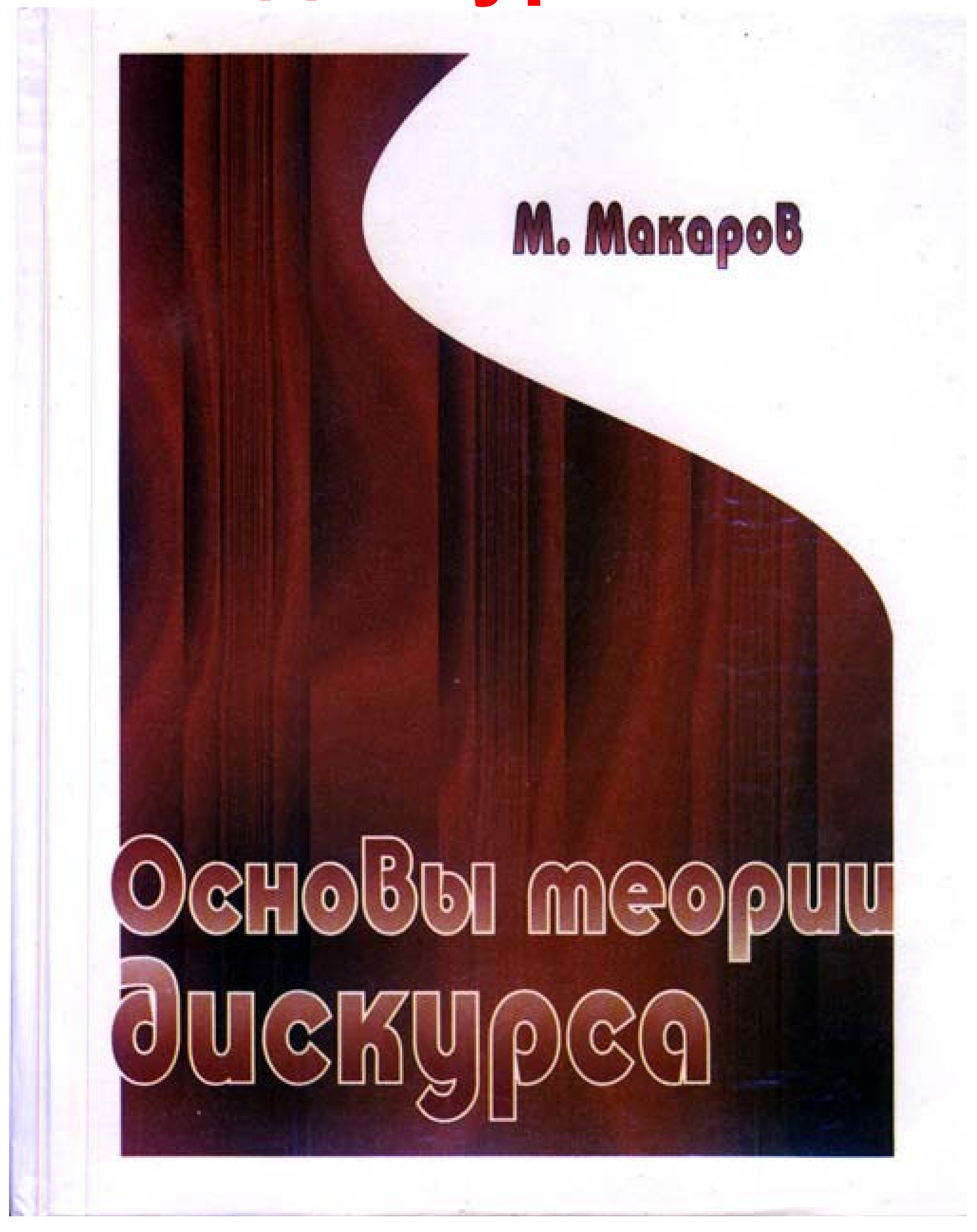
М. Макаров

Основы теории дискурса



Москва «Гнозис» 2003
ББК81.2 М15
М15

Макаров М. Л.

Основы теории дискурса.— М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.— 280 с. ISBN 5-94244-005-0

В монографии на фоне многообразия современной научной картины «человеческого» мира представлен оригинальный опыт синтеза прагмалингвистики, социального конструкционизма, когнитивной психологии, интерпретативного интеракционизма и других исследовательских подходов в аналитической модели, рассматривающей языковое общение как (вос) производство феноменологически переживаемой интерсубъективности. В книге многостороннему анализу и пересмотру подвергся ряд положений и категорий коммуникативной лингвистики, семантики и прагматики языка, психологии, социологии и т. п.

Издание предназначается для широкого круга специалистов, интересующихся проблемами социальных наук, в первую очередь, вопросами общей теории дискурса, семантики и прагматики языкового общения, психолингвистики, интерактивной социолингвистики, теории коммуникации, когнитивной и социальной психологии, социальной культурологии и герменевтики.

ББК81.2

ISBN 5-94244-005-0

Электронное оглавление

Содержание

3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Чего обычно ждет читатель от книги, посвященной основам теории той или иной области знания? Во-первых, это должно быть изложение, в котором рельефно показаны основные проблемы, совокупность которых позволяет выделить определенную область знания. Во-вторых, это должна быть работа, суммирующая достижения многих специалистов, которые исследовали общие и частные вопросы этого научного направления. В-третьих, такая книга, коль скоро это — основы теории, должна быть понятной как опытным, так и начинающим исследователям, а также представителям смежных дисциплин. Монография М. Л. Макарова «Основы дискурс-анализа», представляющая собой капитальный труд, в котором предложена оригинальная концепция языкового общения, полностью отвечает этим требованиям.

Теория дискурса, несмотря на зыбкость и многозначность основного понятия, является одним из наиболее активно развивающихся направлений современного языкознания. Это направление стремится к синтезу научных результатов, полученных в различных областях знания и прежде всего — в языкознании, психологии, социологии и этнографии. Несмотря на множество исследовательских концепций и научных школ, развивающих эту теорию и нередко ведущих между собой острую полемику, исследователи дискурса объединены стремлением изучать не абстрактную языковую систему, а живую речь в условиях реального общения. Ф. де Соссюр предвидел большие сложности, связанные с лингвистическим изучением речи, и поэтому справедливо счел необходимым отложить разработку такой теории до того времени, когда будет накоплен достаточный концептуальный и фактографический материал, необходимый для построения лингвистической науки о речевом общении.

Автору удалось синтезировать в рамках единой исследовательской концепции (и программы) наиболее важные лингвистические, психологические и социокультурные теории, касающиеся исследования дискурса в малой группе. Такая задача, насколько мне известно, впервые поставлена и успешно решена в отечественном языкознании. В книге обоснованы методологические принципы дискурсивного анализа, показаны и критически проанализированы различные модели общения, выделены категории и единицы дискурса, раскрыты конститутивные признаки дискурса в малой группе, разработана транскрипция устного дискурса.

5

Работа состоит из шести глав. В первой главе рассматриваются философско-методологические основания анализа языкового общения, доказывается необходимость понимания языка как социально-психологического (а не физического) феномена. Автор сравнивает кодовую, инференционную и интеракционную модели коммуникации, детально анализирует их и доказывает правомерность интеракционного понимания общения. Такой подход представляет собой закономерное развитие бахтинской идеи диалога, идеи естественного общения, когда участники коммуникации не могут заранее предопределить развитие диалога, но строят его, меняя свои коммуникативные позиции на ходу в зависимости от ежесекундно меняющихся обстоятельств. М. Л. Макаров объясняет логику каждого из сравниваемых методологических подходов к пониманию коммуникации, и в этом смысле защищаемая в работе новая дискурсивная онтология оказывается необходимой ступенью в развитии лингвистической метатеории. В монографии ведется полемика с позитивистским моделированием языка, доказывается несостоятельность противопоставления количественного и качественного анализа в лингвистических исследованиях общения.

Вторая глава посвящена социолого-психологическим основаниям анализа языкового общения. Автор в сжатом виде показывает и критически анализирует наиболее существенные интеракциональные концепции общения, разработанные в смежных с лингвистикой дисциплинах. В работе четко прослеживается развитие идеи о дискурсивной онтологии в виде принципа социального конструкционизма как методологического основания прагмалингвистики. Данная работа представляет собой существенный вклад в когнитивную лингвистику, сориентированную на учет широкого социально-культурного контекста. Хотелось бы подчеркнуть особую значимость монографии как неоценимого источника информации о новейших исследованиях, ведущихся в психологии и социологии. Без учета этих трудов исследования по социолингвистике, психолингвистике и прагмалингвистике не могут, по-видимому, претендовать на статус междисциплинарных. Работа М. Л. Макарова энциклопедична как по замыслу, так и по исполнению.

В третьей главе определяется дискурс как предмет лингвистического изучения, показывается место дискурса в ряду близких понятий, освещаются подходы к изучению дискурса, детально излагается методология исследования дискурса и предлагается авторская нотационная система транскрипции устного дискурса (ТРУД). Можно полемизировать с автором относительно того, какой из терминов предпочтительнее в качестве родового в ряду «речь — речевая деятельность — текст — дискурс», но это не меняет сути дела: дискурс представляет собой сложное лингвистическое явление, в котором выделены

6

различные аспекты, причем некоторые из направлений исследований дискурса представляют собой сложившиеся лингвистические дисциплины, например, лингвистика текста (в узком смысле слова), конверсационный анализ (и близкая к нему коллоквиалистика). Автор подробно раскрывает технику транскрипции устного дискурса, показывает преимущества собственной оригинальной модели. Конечно, просодический, паравербальный и невербальный компоненты дискурса, как справедливо замечено в книге, «отобразить не удается практически никогда», и поэтому вопросы относительно несовершенства и неполноты такой транскрипции будут неизбежны.

В четвертой главе речь идет о семантике дискурса, о его содержательной стороне. Рассматриваются важнейшие понятия лингвистической семантики — пропозиция, референция, экспликатура и импликатура, инференция, пресуппозиция и др., здесь же обсуждаются такие понятия, как тема дискурса, тема говорящего, контекст дискурса и его типы, а также когнитивные структуры дискурса. Очень важным является тезис автора о том, что «большинство инференций — это компоненты ситуационной модели».

В пятой главе обсуждаются речевые акты, их типы, коммуникативные акты, ходы, обмены, трансакции, речевые события как единицы дискурса, а также категории дискурса — мена коммуникативных ролей, коммуникативная стратегия, когезия и когеренция, метакоммуникация и дейксис дискурса. Нельзя не согласиться с автором, убедительно доказывающим недостаточность теории речевых актов для анализа дискурса. В этой связи хотелось бы отметить созвучность идей, высказанных в данной книге, принципам критической лингвистики: идеальные, правильно построенные, «чистые» речевые акты являются скорее исключением, чем правилом, в реальном общении.

Шестая глава посвящена дискурсивному конструированию социального мира. Автор анализирует такие социальные категории дискурса, как «конвенция» и «институт», обсуждает коммуникативные переменные, типы дискурса, сферы общения, формальность, предварительную подготовленность дискурса, социальный дейксис. Заслуживает внимания детально анализируемое в книге понятие коммуникативной инициативы. Приводится развернутая иллюстрация опыта интерпретативного дискурс-анализа (запротоколированный эпизод общения лингвистов на научном семинаре в американском университете штата Массачусетс). Очень важен тезис автора о том, что «репертуар коммуникативных ролей участников общения оказывается намного шире и многообразнее, чем просто *говорящий, адресат* и *слушающий».* Программным является сформулированное в заключении книги методологическое требование о недопустимости подходить к анализу общения с теми же мерками, с которыми обычно описывается язык как система знаков.

7

Подчеркну еще раз: данная работа имеет энциклопедический характер и является заметной вехой в отечественном общем языкознании. Эта книга, изданная малым тиражом в Твери в 1998 году под названием «Интерпретативный анализ дискурса в малой группе», сразу же привлекла внимание лингвистов, ссылки на это исследование часто встречаются в новейших публикациях. Нынешнее издание значительно переработано.

Книга написана очень живо и увлекательно. Автор ведет с читателем заинтересованный диалог, который хочется продолжить. Говоря о перспективах исследования дискурса в междисциплинарном аспекте, М. Л. Макаров вполне обоснованно возлагает «большие надежды на выход науки о языке из добровольной изоляции и рост её общественной значимости в ближайшем будущем, особенно по мере повышения роли коммуникативных институтов (а в их числе образование, юриспруденция, политика, религия, реклама и т. д.) в социальном устройстве общества эпохи постмодерна».

В. И. Карасик

М. Л. Макаров

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДИСКУРСА

Дискурс — это не жизнь, у него иное время, нежели у нас, в нем вы не примиряетесь со смертью. Возможно, что вы похороните Бога под тяжестью всего того, что говорите, но не думайте, что из сказанного вы сумеете создать человека, которому удалось бы просуществовать дольше, чем Ему.

Мишель Фуко [1996а: 207]

ВВЕДЕНИЕ

С благодарностью всем моим Учителям, начиная с моих родителей; С признательностью всем моим коллегам и друзьям, помогавшим мне на пути к этому изданию;

С безграничной любовью к моей жене Лене, которой я обязан больше

чем просто счастьем,

Я посвящаю эту книгу нашему маленькому сыну Григорию.

Михаил Макаров

Лингвистика весьма тесно связана с рядом других наук, которые то заимствуют у нее ее данные, то предоставляют ей свои. Границы, отделяющие ее от этих наук, не всегда выступают вполне отчетливо.

Ф. де Соссюр [1977: 44]

Сегодня категория *дискурса* в социальных науках играет роль, подобную той, что отведена *евро* в европейской экономике. Поэтому некоторых «чистых» лингвистов, быть может, разочарует обилие методологических, философских, социологических или психологических экскурсов, предпринятых в данной книге, в то время как социологов, психологов и философов отпугнет собственно лингвистический анализ. Но автор сознательно идет на это, считая междисциплинарный характер работы реальной возможностью покинуть «башни из слоновой кости», где уютно устроились гуманитарные дисциплины, создав свои собственные категориально-теоретические «миры» и все дальше отгораживаясь от того, что происходит в большом и сложном Человеческом Мире.

Наука о языке и языковом общении принадлежит к кругу *человековедческих* дисциплин, содержание которых во многом определяется соотношением методологии, философии и целого комплекса наук, формирующих в конкретный исторический момент основание научной картины мира. Особенно хорошо это видно на материале истории языкознания трех последних веков, в течение которых на лидирующие позиции выходили как минимум три парадигмы: генетическая (историческая, эволюционная), таксономическая (инвентарная или системно-структурная) и коммуникативно-функциональная [Су-сов 1997; Мурзин 1992; Кубрякова 1995; Harris, Taylor 1989; Joseph, Taylor 1990; Malmkjær 1995; Itkonen 1991; Formigari, Cambarara 1995; Körner, Asher 1995; Dinneen 1995]. Причем переход от одной доминирующей парадигмы к другой не подразумевает ее буквальной замены или полного отрицания, а, скорее, выражается в изменении научных метафор, точек зрения на язык, новых приоритетах, методах и перспективах, в «снятой» форме содержащих идеи и достижения предшественников. Соответственно пересматривается статус самой науки о языке в ряду других сфер знания, иначе определяются ее предмет, цели и основные исследовательские постулаты, возникают новые междисциплинарные связи, а порой и новые «пограничные» дисциплины с характерными двойными названиями.

Нелегко просто перечислить все те направления и теории, которые оказали заметное влияние на изучение языкового общения: антропология, культу-

11

рология и этнография, эстетика, семиотика и герменевтика, кибернетика, нейробиология и искусственный интеллект, различные направления психологии (бихевиоризм, социальная, когнитивная, гештальт-психология, психоанализ), социологии (структурная, когнитивная, символический интеракционизм, теория социального действия, теория ролей), философии (прагматизм, феноменология, аналитическая философия, марксизм), математики (теория игр,

теория катастроф, теория систем), логики (деонтическая, интенсиональная, модальная, логика размытых множеств) и т. д. [Сусов 1997; Verschueren e. a. 1995]. Этот ряд настолько же легко продолжить, насколько трудно исчерпать [ср.: Hofmann 1993; Holmes 1992; Steinberg 1993; Stenström 1994; Thomas 1995; Widdowson 1996; Yule 1996]. И сегодня справедливым оказывается замечание Ф. де Соссюра, вынесенное в эпиграф. Хотя, возможно, швейцарского ученого удивил бы новый смысл, который мы в наши дни вкладываем в его слова.

Очевидно, что в современной науке взаимообусловленность отдельных отраслей знания, а также его междисциплинарный характер вышли на более высокий, качественно новый уровень, и это самым непосредственным образом касается лингвистики.

Есть две сферы знания, которые для исследования языка и языковой коммуникации традиционно считаются родственными. По причине того, что, с одной стороны, «язык есть факт социальный», а с другой стороны, «в сущности, в языке все психично, включая его и материальные и механические проявления» [Соссюр 1977: 44—45], а также «в связи с тем, что в языке действуют и психические, и общественные факторы, мы должны считать вспомогательными для языкознания науками главным образом психологию, а затем социологию как науку об общении людей в обществе, науку об общественной жизни» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 217], ибо сама «психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом» [Щерба 1974: 25]. Вместе с тем, «речевая деятельность человека есть явление многообразное, и это многообразие... определяется всем сложным разнообразием факторов, функцией которых является человеческая речь. Вне учета этих факторов и изучения функционально соответствующих им речевых многообразий невозможно ни изучение языка как непосредственно данного живому восприятию явления, ни уяснение его генезиса, его "истории". ...Очевидно, что те факторы, о которых мы говорили выше, будут либо факторы психологического, либо факторы социального порядка» [Якубинский 1986: 17].

Так в языкознании формируется важнейшее исследовательское кредо: «первым, кардинальным требованием объективного исследования должно быть признано убеждение в безусловной психичности (психологичности)

12

и социальности (социологичности) человеческой речи» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 17].

На рубеже веков и тысячелетий, в условиях революционного развития новых информационных технологий мир становится свидетелем пересмотра устоев организации одного из древнейших социальных институтов — языка и, как следствие, науки о языке. Примечательно, с одной стороны, многообразие подходов к лингвистике и ее оценке: например, говорят об альтернативной, об аксиоматической лингвистике и даже антилингвистике [Mulder 1989; Gethin 1990; Wardhaugh 1993; Davis 1995]. С другой стороны, заметно стремление подвести итоги, обобщить опыт лингвистических исследований [ср.: Мурзин 1992; Сусов 1997; Newmeyer 1988a; 1988b; Wardhaugh 1993; Jenner 1993; Dinneen 1995; Robins 1989; Beaugrande 1991; O'Grady, Dobrovolsky 1993; Akmajian 1995 и др.].

Теоретическая и практическая лингвистика, как и многие другие социальные науки, подошла к моменту переоценки ценностей, переосмысления накопившихся достижений и неудач, методологических оснований, исследовательских практик и т. д. Об этом свидетельствуют публикации с довольно характерными заголовками, начинающимися со слов *Defining* или, что еще показательнее, *Redefining, Re-reading, Rethinking* и т. д. [Davis, Taylor 1990; Wolf 1992; Thibault 1996; Hipkiss 1995; Bavelas, Chovil 1997]. Состоялись дискуссии об итогах и перспективах лингвистики на рубеже веков [см.: Арутюнова 1995; Кибрик А. Е. 1995; Леонтьев 1995; Ньюмейер 1995; Касевич 1997 и др.].

Символично, что именно сейчас подробному критическому анализу подвергаются работы Н. Хомского, олицетворяющего целую эпоху в языкознании XX в. [George 1990; Kasher 1991; Otero 1994]. Показательно и то, что особый интерес многих ученых привлекают труды и идеи Фердинанда де Соссюра, считающегося основоположником теоретического языкознания прошлого столетия: почему бы, собственно, не начать ревизию лингвистики с новой интерпретации взглядов ее «отца»? Не секрет, что Соссюр был и остается шире соссюрианства [ср.: Harris 1988; 1993; Strozier 1988; Thibault 1996]. Не случайно, что повышенный интерес вызывает третий вариант *Курса,* где Соссюр намеревался изложить свое видение *лингвистики речи.*

То, что не успел или не сумел Соссюр, вольно или невольно направивший языкознание по пути редукционизма его предмета, было заявлено и обосновано в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы, Р. О. Якобсона, Л. П. Якубинского, В. Н. Волошинова, М. М. Бахтина и др., выступивших за широкое понимание феномена языка, опирающееся на культурно-деятельностное и социально-психологическое его представление, восходящее к идеям В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни.

13

Показательно и то, что новые интерпретации, причем не только Соссюра и Хомского, рождаются в контексте тенденций, характерных для постструктурализма и постмодернизма [Tyler 1987; Gethin 1990; Lecercle 1990; Davis, Taylor 1990; Burke, Porter 1991; Wolf 1992; Stein, Wright 1995; Thibault 1996; Toolan 1996 и др.; ср.: Benhabib 1992; Bernstein 1992; Bracher 1993; 1994; Denzin 1991; Dreyfus, Rabinow 1982; Gergen 1991; Giddens 1991; Lefebvre 1984; Lyotard 1984 и др.]. Влияние, а впоследствии и пересмотр идей европейской школы — таких мыслителей, как К. Леви-Строс [1985], М. П. Фуко [1996; Foucault 1971; 1980], П. Бурдье [1993; Bourdieu 1991; 1977], Ж. Деррида, П. Рикёр [1995], Ж. Лакан, Р. Барт [1994; 1996], Ж. Лиотар [Lyotard 1984], У. Эко [1998; Eco 1976; 1986] — во многом предопределили эволюцию гуманитарного знания, его ориентацию на интерпретацию культурно-символических, социально-психологических, когнитивных аспектов человеческой деятельности в дискурсе.

В связи с этим меняется статус самой лингвистики. Хотя когда-то Г. Гийом [1992: 17] утверждал, что «лингвистика не приносит никакой практической пользы», однако если практику понимать широко, т. е. не только как эмпирическую, предметную деятельность, но и как духовную, интеллектуальную (в том числе научную) активность человека, то именно сейчас лингвистические данные и методы обретают большую эвристическую ценность для многих социальных наук, решающих, кстати, не только теоретические задачи. На это в свое время указывал все тот же Бодуэн де Куртенэ [1963,1: 218—220]: «Применение всякой науки может быть двоякого рода: это может быть применение ее для нужд других наук или же применение в практической жизни... В науке можно с пользой применять языкознание при исследованиях истории понятий, в психологии, в мифологии ... в истории культуры ... в практической политике». Остается только удивляться прозорливости гения Бодуэна, предугадавшего рост значения лингвистики для социальных наук, ставший приметой времени эпохи постмодерна.

Дискурс-анализ как метод, принцип и самостоятельная дисциплина, открытая по отношению к другим сферам знания, естественным образом воплотил общую направленность исследования на многостороннее, комплексное изучение сложного многомерного феномена языкового общения, которое является объектом лингвистического (в широком щербовском смысле) анализа в русле *прагмалингвистического* подхода. И все же главным замыслом книги является выработка интеракционно-феноменологической модели дискурс-анализа. Именно под этим углом зрения следует рассматривать ее предмет.

Глава 1. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИСКУРС-АНАЛИЗА

Первая глава посвящена концептуализации философских и методологических оснований, на которые мы будем в дальнейшем опираться при разработке интерпретативной модели дискурс-анализа. Необходимость подобного экскурса обусловлена целым рядом причин: кризисными явлениями в «человековедческих» науках, динамикой научного знания в лингвистике и смежных с ней дисциплинах, а также чуткостью анализа языка и речевой коммуникации к этим переменам.

1.1. НОВАЯ ОНТОЛОГИЯ

The physical world is elegant in design, predictable in action, and fixed in purpose. The social world, the world we have made, is vastly inelegant, unpredictable, and unfixed. Made of ambiguity and ambivalence, contradiction and conflict, it is a clown in the temple. It can change as you look at it. Sometimes, it changes because you are looking at it. It requires alertness, curiosity, impatience, courage, and skepticism.

W. BENNIS [1990: 48]

1.1.1 «Дискурсивный переворот» и новая онтология

Вопрос о научной природе языкознании, как дисциплины, занимающейся «исследованием языка, или человеческой речи во всем ее разнообразии» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 206], всегда имел определяющее значение: от принадлежности лингвистики к гуманитарным или, наоборот, естественным наукам зависят ее теоретическая ориентация, методологические установки и исследовательские практики.

Категория *гуманитарные науки* вызывает в памяти резкое возражение Бодуэна де Куртенэ [1963, II: 65—66]: «Здесь я позволю себе решительно высказаться против термина *гуманитарные науки.* Термин этот возник на фоне ограниченности средневековых понятий и обязан своим появлением филологам, охваченным манией величия, для которых "человек начинается только от грека". *Гуманитарные науки* — это просто науки психические, точнее го-

15

воря, психико-социальные». И хотя сегодня отказаться от этого термина не так просто, поскольку он прочно утвердился в истории науки, далее, учитывая замечание Бодуэна, под гуманитарными науками мы будем подразумевать именно науки социально-психологические или просто *социальные,* тем более что последнее наименование закрепилось в новых языках [*social sciences* — Schütz 1940; Hagège 1990; *Sozialwissenschaften* — Habermas 1985 и др.].

Социальные науки сегодня все больше обращаются к языку и дискурсу как методологическому основанию научного анализа. Одними из первых были философы. Изучением повседневной речи занимались этнометодологи и когнитивные социологи. К языковому материалу также обращались символический интеракционизм, теория социальных представлений и социальный конструкционизм. Эти тенденции усилились в общенаучном контексте постструктурализма и постмодернизма, причем настолько, что их рассматривают как лингвистический или ***дискурсивный переворот*** в социальных науках [*discursive turn* — Harré 1995: 146; Flick 1995b: 94 и др.].

Смена парадигм основывается на принятии принципиально новой онтологии социально-психологического, человеческого *гуманитарного* мира, противопоставляемой традиционной онтологии материального *физического* мира. «Старую» ***механистическую*** онтологию Ром Харрэ и Грант Жиллет условно называют «онтологией Ньютона», а новую ***дискурсивную*** — «онтологией Выготского» [Harré, Gillett 1994: 29—30].

Таблица 1. Две онтологии

Онтологии	**Локализация**	**Сущности**	**Отношения**
Механистическая (Ньютона)	Пространство и время	Предметы и события	Каузативный детерминизм
Дискурсивная (Выготского)	Сообщества людей, социальные миры	Речевые акты, дискурс	*Вероятностные* зависимости, правила и нормы диалога

Сопоставляя «старую» и «новую» онтологии, необходимо оговориться, что этот термин

здесь понимается не как соответствующий раздел философии, охватывающий проблемы *бытия,* а скорее как система взглядов и базовых категорий относительно той части действительности, которая подлежит исследованию в данной сфере научного знания, иначе говоря, как научный
16
способ вычленения и представления предмета анализа из совокупного объекта познания [ср.: Панфилов и др. 1983].

1.1.2 «Человеческое пространство»

Любому исследователю необходимо установить систему координат, с помощью которой локализуются объекты исследования. В старой онтологии эту роль играют пространственно-временные рамки: какая-либо сущность идентифицируется и описывается по своему месту в пространстве и времени, причем в данный момент времени она может быть только в одной точке пространства; нечто, занимающее другую точку в пространстве в тот же самый момент времени, даже обладая абсолютно теми же свойствами, рассматривается уже как *другая* сущность.

Для дискурсивных изысканий физическое время и место феномена общения, хотя и играют роль (заметим, опосредованную языковой, точнее, коммуникативной проекцией), решающего значения не имеют: когда что-то сказано, намного важнее знать, *кто* это сказал, *кому, как, о чем, с какой целью.* Слово (в самом общем смысле) «в равной степени определяется как тем, *чье* оно, так и тем, для *кого* оно» [Волошинов 1929: 102]. Дискурсивные явления имеют *место* и *время* в качественно иной среде: социально-психологическом «человеческом пространстве» [*people-space* — Harré, Gillett 1994: 31], которое конституируется общающимися индивидами, играющими соответствующие коммуникативные, социальные, культурные, межличностные, идеологические, психологические роли. Здесь уместно вспомнить понятие *коммуникативно-социальное поле* [ср.: Сусов 1979: 95; Романов 1988: 28], родственное идее *гештальта* в психологии и не лишенное феноменологических импликаций.

1.1.3 Дискурс и речевой акт в новой онтологии

С теоретической, да и с практической точек зрения необходимо выделить сущности, которые, собственно, и составляют объект анализа. В механистической онтологии Ньютона это предметы, вещи, «материя», с одной стороны, и события, явления, «силы», с другой. Соответствующими единицами в новой онтологии стали *дискурс* и *речевой акт.* Отметим сразу, что последняя категория содержательно не совпадает с единицей, послужившей основанием теории речевых актов, хотя и подчеркнем методологическое значение главной идеи Дж. Остина [Остин 1986; Austin 1962], заключавшейся уже в самом названии знаменитого курса лекций «*How to Do Things with Words»,* буквально указывающем на то, что «слова» как «действия» занимают в онтологии место «вещей» [ср.: *«What People Say They Do with Words»* — Verschueren 1985; 1987].
17
Выделение в сложной структуре высказывания совокупности действий заставило многих пересмотреть свое отношение к анализу языка и особенно — его коммуникативной функции. Именно взгляд на высказывание в качестве атомарного факта социального мира в аналитической философии, а затем и в прагматике обусловил этот теоретический прорыв: анализ дискурса как последовательности или комплекса актов принципиально отличен от грамматического анализа языковых форм, «овеществляющих» эти акты, и от семантического анализа актуализованных в них пропозиций по признаку истинности — ложности.

Следует напомнить, что такой поворот во взглядах на язык новым можно назвать лишь с известной долей условности: ***деятельностное*** представление языка, восходящее к идеям В. фон Гумбольдта [см.: Постовалова 1982: 67; Чупина 1987], было неотъемлемой частью теоретических рассуждений многих отечественных лингвистов. Например, Л. В. Щерба [1974: 102] последовательно доказывал тезис о том, что «язык есть деятельность человека, направленная всякий раз к определенной цели, к наилучшему и наиудобнейшему выражению своих мыслей и чувств...» Л. П. Якубинский [1986: 17] также был уверен, что «язык есть разновидность человеческого поведения ... есть факт психологический (биологический), как проявление человеческого организма, и факт социологический, как такое проявление, которое

зависит от совместной жизни этого организма с другими организмами в условиях взаимодействия». Из этого неизбежно следовал вывод об онтологии языка: «Язык живет... в конкретном речевом общении, а не в абстрактной лингвистической системе форм языка...» [Волошинов 1929: 114].

Обобщая сказанное выше, можно воспользоваться хрестоматийной фразой Роя Харриса: «Language is, undeniably, a type of activity» [Harris 1981: 4; ср. : Ромашко 1984]. В традициях социально-психологического, деятельностного подхода к языку категории *речевой акт* и *дискурс* взяли на себя роль сущностей в новой онтологии.

1.1.4 Вероятностные зависимости и правила диалога

Итак, после того как исследуемые сущности выделены и локализованы, требуется охарактеризовать природу отношений, связывающих их. В традиционной мировоззренческой системе Ньютона доминирующим типом отношений был каузативный детерминизм. Классические законы механики идеально иллюстрируют это отношение, например, если тело находится в свободном падении, его скорость меняется в строгой зависимости, описываемой известной формулой.

Язык в узком смысле (соссюровский *langue* или щербовская *языковая система)* может быть описан в терминах причин и следствий, но это будет

18

каузативность принципиально иного качества по сравнению с физикой, химией или биологией: функционирование языка помимо естественной, материальной или «объективной» причинности предполагает обязательное включение «субъективных», присущих только человеку факторов [Dinneen 1995: 8— 9]. Научный анализ языковой коммуникации не должен осуществляться по образцу и подобию естествознания (если только не иметь в виду «физику» и «физиологию» речи): всему «тому, что существует вне мозга, т. е. собственно говоря, вне психики человека (и животного), свойственна своя закономерность — закономерность естественных наук в широком значении этого слова. То, что существует и движется в мозгу, а собственно говоря — в психике, обладает другой закономерностью — закономерностью психических наук» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 65].

По сравнению с механическим миром вещей, пространства, времени и каузативности дискурс представляет собой совершенно иную социальную «материю», где один речевой акт не может однозначно определять тип и свойства последующего акта: он скорее задает условия, в которых появление того или иного продолжающего диалог акта будет более или менее ожидаемым, уместным, соответствующим нормам и правилам общения. Тип отношений в новой онтологии не допускает однозначного детерминизма, он в большей степени характеризуется *размытыми* вероятностными зависимостями, обусловленными стратегиями, правилами и нормами «речи-во-взаимодействии» [*talk-in-interaction* — Schegloff 1987; Zimmerman, Boden 1991: 8—9; Psathas 1995 и др.].

1.2. КРИЗИС СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУЧНОСТИ

Все науки, если их приверженцы хотят сделать их строгими, т. е. именно науками, должны основываться на фактах и фактических выводах; все, однако ж, стремятся к тому, чтобы стать на ту ступень, что математика, или, говоря иначе, добыть себе непоколебимые общие основания, из которых можно бы выводить явления дедуктивным путем с математической точностью.

И. А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ [1963, I: 37]

1.2.1 Экспансия естественнонаучной модели знания

Прежде чем определить *научность* в системе идей новой парадигмы, построенной на дискурсивной онтологии Выготского, необходимо сказать несколько слов о кризисе социальных наук, вызванном тем, что в качестве единственно верной, истинно научной модели в прошлом многие социальные науки восприняли естественнонаучную парадигму

19

[см.: «Объяснение генезиса противоречия между физикалистским объективизмом и трансцендентальным субъективизмом» — Гуссерль 1994: 64—100].

Продолжив мысль, приведенную в эпиграфе, вспомним, как в 1870 г. стремление к «математическому идеалу» и методологическую двойственность языкознания характеризовал И. А. Бодуэн де Куртенэ [1963, I: 37]: «Некоторые науки, как физика и химия, уже очень

приблизились к этой (*равной математике — М. М.*) ступени научного совершенства. Так называемые естественные науки в строгом смысле этого слова именно теперь выходят на этот путь. Равным образом и языкознанию нельзя отказать в известных задатках этого очень отдаленного дедуктивного будущего... Итак, если бы основанием разделения принять природу предмета исследования, то все науки, занимающиеся чисто человеческими явлениями, можно бы соединить в один разряд наук антропологических, которые находились бы в тесной связи с естественными, и именно звеном, соединяющим оба эти разряда, было бы языкознание. При теперешнем же положении наук языкознание методом своим и всею своею внутренней организацией принадлежит к естественным наукам, по отношению же к природе исследуемого предмета к наукам психически-историческим».

Критика социальных наук в разные периоды принимала весьма своеобразные формы и имела различную направленность, но ее пафос оставался практически неизменным: необходимо исправить несоответствие между естественнонаучной «языковой игрой» и методологией, принятой гуманитарными дисциплинами в качестве единственно верной модели науки и социально-психологической «природой исследуемого предмета», т. е. разнообразными свойствами явлений, происходящих в жизни человеческих сообществ. Приняв определение *пауки* и *научности,* сформировавшееся в недрах точных наук, «человековедение» само себя поставило в неприятно двусмысленное положение: либо оно отвечает всем требованиям научности, выработанным в естественных науках (где физика чаще других служит моделью); либо ему придется признаться в ненаучности. Если идти по первому пути, из поля зрения выпадают многочисленные социальные, психологические и коммуникативные явления реальной жизни. Если же следовать вторым путем, то гуманитарные знания лишаются столь желанного ореола достоверности, социальной значимости и престижности, традиционно приписываемых точным наукам.

In пиce, эта критика указывает на тот факт, что в гуманитарных науках явление, составляющее объект исследования (проще говоря, человек в отношении к миру и другим людям), обладает по сути таким же сознанием, как и сам исследователь. Именно этим социальные науки принципиально отличаются от естественных, образовавших методологическую парадигму, впи-

20

тавшую опыт анализа бессознательных объектов — «вещей». Как только человековедческие дисциплины попытались стать *научными,* они начали имитировать методы и теоретические подходы естественных наук, критически не оценивая того воздействия, которое оказывает на научный аппарат обладающий сознанием индивид в качестве объекта исследования (не надо смешивать эту проблему с проблемой *субъективности* анализа).

1.2.2 Человек как объект исследования

Человек в качестве объекта исследования в социальных науках принципиально отличен от неодушевленных предметов, анализируемых естествознанием. К числу таких важнейших отличий

Сюзан Фиск и Шелли Тэйлор [Fiske, Taylor 1991: 18—19; ср.: Щедровицкий 1995: 367—398] относят следующие:

• люди активно воздействуют на окружающую среду и друг друга в соответствии со своими целями и намерениями, иначе говоря, человек всегда характеризуется агентивностью и интенциональностью;

• восприятие людьми себе подобных носит взаимный характер, поэтому в процессе коммуникации не только исследователь формирует впечатление о наблюдаемых им индивидах, но и сам он становится объектом восприятия;

• поведение людей адаптивно, оно может реагировать на попытку наблюдения, что заметно повышает эвристическую роль конструирования и интерпретации «образа себя» как исследователя, так и информанта;

• адаптивность поведения людей в коммуникативных процессах обусловливает динамичность проявления ими своих качеств, которые могут меняться с течением времени в зависимости от множества внешних и внутренних факторов; физические объекты, как правило, обладают значительно более устойчивыми характеристиками;

• релевантные социально-психологические качества людей обычно не могут наблюдаться непосредственно, они не лежат «на поверхности», хотя составляют основу того, что мы *думаем*

об этих людях;

• социально-психологические характеристики людей труднее верифицировать, чем, например, физические и химические свойства тел.

Обобщая перечисленное выше, можно сказать, что человек представляет собой чрезвычайно сложное явление, предполагающее учет огромного количества переменных, внешних и внутренних факторов, порой очень динамичных, вследствие чего анализ его поведения и деятельности, в том числе коммуникативной, неизбежно требует особого подхода, особого стиля и способа интерпретации, чего «не замечали» в рамках старой онтологии.

21

1.2.3 Научные метафоры лингвистики

Предположение о метафоричности человеческого мышления сегодня стало «общим местом», очевидность которого граничит с банальностью. Сама многовековая история человеческого познания, в том числе научного, регулярно подтверждает эту точку зрения: в основе какой-либо теории или целой парадигмы, как правило, лежит представление, восходящее к «наивному» метафорическому образу объекта и предмета данной научной отрасли как части существующего мироздания, т. е. по сути — его «наивной» онтологии.

Выявить научные метафоры, объяснить их внутреннюю мотивированность, охарактеризовать их роль в эволюции научного знания представляется возможным только тогда, когда нам удается освободить собственное сознание от их влияния. Они не только структурируют представление об объекте и предмете познания — они задают образец интерпретации, осмысления всех явлений, которыми занимается данная наука. Более того, они определяют ее внутреннее «самосознание» [Фрумкина 1999; ср.: Базылев 1999], тот самый коллективный институциональный образ «себя», который позволяет соотнести ее с различными сферами жизни человека: производственной деятельностью, религией, политикой, образованием, в том числе — с другими отраслями науки.

Классическое структурное и историческое языкознание преимущественно организованы по естественнонаучному принципу. Стоит лишь бегло взглянуть на некоторые категории сравнительно-исторического языкознания *(корень, эволюция, ветвь, семья, род, генеалогическое древо),* чтобы убедиться в широком использовании научных метафор биологии в построении методологической модели лингвистики [см.: Dinneen 1995: 235—236]. Этому во многом способствовал рост влияния натурализма, особенно теории эволюции Ч. Дарвина. Самое яркое выражение «биологическая» метафора нашла в знаменитой формуле Августа Шлейхера *Язык есть организм природы.* Как и прочие научные метафоры, «это мнение создано вследствие страсти к сравнениям, которой страдают многие, не обращая внимания на то очень простое и убедительное предостережение, что сравнение не есть еще доказательство» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 75].

В XX в. на смену натуралистической пришла системная, инженерно-кибернетическая «языковая игра». Растущее применение к языкознанию количественных методов и математического мышления, сближающее лингвистику с точными науками, что блестяще предсказал И. А. Бодуэн де Куртенэ [1963, II: 15—17], стало одной из главных характеристик языковедения XX в. Но что было прогрессивным для анализа языка, оказалось неприме-

22

нимым к изучению речи. В итоге влияние точных наук ввело в лингвистический анализ математические и логические методы, что позволило решить многие задачи, но в то же время «оно имело своим следствием изоляцию лингвистики» [Арутюнова 1995: 32].

Выделение Соссюром *langue* в качестве объекта лингвистики заставило языковедов абстрагироваться и от человека как носителя и творца языка, и от его взаимодействия с другими в составе социальных групп, в которых функционирует язык, что в итоге привело к овеществлению, научной фетишизации некой абстрактной сущности — *языковой системы* — формально-структурного аспекта речевой действительности (в ущерб другим ее аспектам), поскольку в природе, в своем естественном состоянии язык не существует в виде словаря и грамматики: «...язык как физическое явление вообще не существует» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 7]. В этом виде как объект научного познания он возник благодаря самим лингвистам: все языковые величины, которыми мы оперируем в словаре и грамматике, как концепты, как социальные конструкты, в *непосредственном* психологическом и физиологическом опыте нам вовсе не даны, а могут лишь выводиться из процессов говорения и понимания, которые Л. В.

Щерба [1974: 26] называл в такой их функции «языковым материалом».

Механистическая онтология Ньютона в полной мере отвечает потребностям, целям и задачам системно-структурной и эволюционной лингвистики: язык и его элементы уподобляются «вещам», физическим *телам* в пространственно-временном мире, к которым можно применить системный анализ; при таком подходе каузативные отношения и принцип детерминизма воплощаются в звуковых законах исторического языкознания и системной парадигматике структурализма.

1.2.4 Онтологический конфликт в коммуникативном языкознании

Языковеды действительно «с исключительным рвением исследовали языки, но слишком мало — говорящего человека» [Остгоф, Бругман 1960: 153]. И хотя это замечание принадлежит младограмматикам, оно все так же справедливо в отношении многих более поздних школ, верных старой онтологии.

Развитие коммуникативной лингвистики означало выход науки о языке из кризиса и возвращение в круг ее проблем самого человека, иначе говоря, признание ее гуманитарного характера. Но проблема онтологического конфликта в лингвистике осталась. Выход на лидирующие позиции коммуникативного языкознания, в частности прагматический бум второй половины XX в., еще не означает принятия языковедами новой дискурсивной онтологии. Сказывается инерция мышления: язык и ныне рассматривается как

23

некий предмет в пространстве и времени, которым говорящие ***пользуются,*** что свидетельствует о прочной стойкости метафорического образа ***«языка-инструмента»,*** восходящего к «Кратилу» Платона [1968] и «Органону» Карла Бюлера [1993; Bühler 1934; Киселева 1978; Сусов 1980: 6; Motsch 1980: 155; Östman 1981: 5; Renkema 1993:7]. Элизабет Бэйтс весьма лапидарно сформулировала эту метафору: «Language is a tool. We use it to do things» [Bates 1976: 1]. И вроде бы все это соответствует общей направленности деятельностного подхода к языку и даже вторит остиновской формуле «How to do things with words», но на самом деле здесь происходит недопустимое смешение понятий и подходов: «язык как особая деятельность» и «язык как инструмент для выполнения внешней (по отношению к нему) деятельности» принадлежат к разным онтологическим системам.

Практически игнорируется тот факт, что по мере ввода в лингвистику человеческого фактора меняется природа объекта и предмета самой науки, и все, что было сказано выше о гуманитарных науках, оказывается релевантным и для языкознания: лингвист теперь имеет дело не с абстрактным овеществленным конструктом, не с инструментом, обслуживающим какую-либо постороннюю деятельность, а непосредственно с коммуникативной деятельностью человека, обладающего таким же, как и сам исследователь, сознанием. А это уже требует пересмотра методологических оснований всей дисциплины. Иначе в очередной раз громко провозглашенное обращение к *говорящему человеку* останется нереализованным на практике лозунгом.

1.2.5 Лингвистика в условиях дискурсивного переворота

И все же современное языкознание обратилось к деятельностному анализу реально функционирующего языка в широком социально-культурном контексте. Именно это позволяет некоторым социальным наукам в условиях *дискурсивного переворота* обратиться к дискурс-анализу как к модели и методу строительства новой парадигмы в целом. Лингвистика же получает новый стимул, новые цели и перспективы для приложения своих усилий к исследованию языкового общения людей. Если ранее влияние философии и психологии возвращало лингвиста в гуманитарный контекст, то сейчас уже сам анализ языка и речи становится частью философии, социологии и психологии [Арутюнова 1995: 32—33], тем самым подтверждая прикладной статус лингвистики, все более ориентированной на решение внешних задач [Леонтьев 1995: 307—308], что предполагает широкое и разнообразное применение лингвистических данных, с одной стороны, к «рассмотрению вопросов из области других наук», с другой — к «делам общественной и умственной жизни вообще» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 101].

24

Обращение сразу нескольких отраслей знания к анализу языка и речи закономерно и

симптоматично. Это уже свершившийся факт. Парадоксально замыкается историко-научный цикл: в начале прошлого века Ф. де Соссюр, определяя предмет лингвистики «языком в самом себе и для себя», методом редукции выстроил ряд наук: психология — социальная психология — семиология — лингвистика — внутренняя лингвистика — лингвистика языка — синхроническая лингвистика [Соссюр 1977]. Сегодня сложилась ситуация, когда «движение внутрь» начинается в обратном направлении: от дискурс-анализа, от лингвистики речи (эскизно намеченной Соссюром к третьему чтению *Курса),* от изучения щербовской *языковой действительности,* языка «в широком смысле» — к другим гуманитарным дисциплинам.

Интересно, что и эту тенденцию в развитии лингвистики и смежных с ней дисциплин предвидел Бодуэн де Куртенэ [1963, II: 18], говоря, во-первых, о том, что «языковые обобщения будут охватывать все более широкие круги и все более соединять языкознание с другими науками: с психологией, с антропологией, с социологией, с биологией»; а во-вторых, о том, что некоторые лингвистические «исследования окажут огромное влияние на психологию и дадут ей совершенно новый материал для выводов и обобщений». Бодуэн не виноват в нашей медлительности: лишь к концу XX в. эти тенденции проявили себя. Видимо, по-настоящему осознать мудрость его пророчеств и претворить их в жизнь стало возможным только в третьем тысячелетии (см.: [Кибрик А. Е. 1995:218—219]).

1.2.6 Критерии научности

Возвращаясь к рассмотрению методологических положений теории, необходимо установить наиболее общие, универсальные критерии *научности* [ср.: Giorgi 1995: 26—27; Dinneen 1995: 9]. В отличие от обыденного научное знание (в самых общих чертах) должно быть:

(1) *систематическим:* отдельные его фрагменты должны быть взаимосвязаны, а выводы — структурно организованы;

(2) *методическим:* в любой научной практике должны присутствовать рекуррентные процедуры сбора и анализа материала, системы понятий и логических операций, принятые как минимум двумя индивидами (требование *интерсубъективности* метода);

(3) *критическим,* т. е., во-первых, достоверным и доказательным, что обычно достигается не одним только стремлением к «эмпирической объективности»; а во-вторых, публичным, иначе говоря, открытым для обсуждения, критики и верификации всему научному сообществу;

25

(4) *общим:* полученные результаты, данные и выводы должны быть справедливы и применимы не только к ситуации, в которой они были получены, но и за ее пределами.

Эти критерии справедливы и для естествознания, и для социальных наук, но качественная природа их объектов, соответственно, не обладающих и обладающих сознанием, определяет специфику выполнения этих требований в разных парадигмах, основанных на принципиально разных онтологиях. Следовательно, научность никогда не бывает *абсолютной,* и уж тем более — ограниченной познанием явлений только одной природы, скажем, лишь эмпирических фактов, принадлежащих миру *вещей.* При этом не надо забывать о культурно-исторической принадлежности научного знания.

Одной из теоретических систем, способствующих преодолению методологического кризиса социальных наук и философскому обоснованию нового, расширенного понимания научности (не сводимого к традиционным формам позитивизма и эмпиризма) следует признать феноменологию, о чем предстоит более детальный разговор.

1.3. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

Я исхожу из такого знания о человеке, которое настолько эмпирично, что может быть совершенно подлинным, и философски настолько обоснованно, что может иметь силу не только в данный момент, но и вообще.

Из письма В. фон ГУМБОЛЬДТА к ГЁТЕ, 1798 г.

1.3.1 Феноменология и новое определение научности

Хотя термин *феноменология* уже в XVIII в. стал известен благодаря классическим трудам Г. В. Ф. Гегеля, современная феноменология как самостоятельное учение восходит к идеям Эдмунда Гуссерля [1994; Husserl 1907; 1925], критиковавшего распространенные в его время философский скептицизм и релятивизм. Носителем этих тенденций Гуссерль считал

психологизм XIX в., утверждавший полную обусловленность познавательного акта структурой эмпирического сознания. Выражение этих тенденций Гуссерль видел в линии, идущей от Дж. Локка и Д. Юма через Дж. Милля к В. Вундту.

На самого Гуссерля большое влияние оказали идеи Бернарда Больцано, марбургской школы неокантианства и особенно труды Франца Брентано по экспериментальной психологии, которые, как тогда казалось, обеспечивали эмпирическую базу для изучения когнитивных процессов и построения цело-

стной системы научной философии. От Брентано Гуссерль унаследовал не только общее направление в исследовании «актов человеческого сознания», но и ключевую идею *интенциональности,* ставшую одной из центральных в его философии. С ее помощью Гуссерль стремился решить вопрос о соотношении субъекта и объекта, связав отношением интенциональности имманентность сознания и трансцендентность бытия «внешнего мира».

Математическое образование Гуссерля предопределило его обращение к числам как наглядному примеру феноменологии: числа, системы исчисления в готовом виде не существуют в природе, это результат взаимодействия человеческого сознания и мира *вещей.* Эту же тему развивает Г. Гийом [1992: 23— 24): «математические истины не являются ни следствием экспериментальных данных, ни результатом логических построений или дедукций. Следовательно, они предполагают тип восприятия, отличающийся как от чувственного опыта, так и от логического мышления». Так Г. Гийом подходит к описанию другой категории, занимающей центральное место в феноменологической системе Э. Гуссерля, — *интуиции.*

Как позитивизм или эмпиризм, феноменология занимается изучением материала, данного в опыте, но в отличие от них она признает правомочность использования данных, полученных не только из сферы чувственного восприятия, но и вне ее (например, интуитивных представлений об отношениях, ценностях и т. д.). Чтобы какое-либо явление стало объектом исследования, необходимыми предпосылками могут быть как опытное наблюдение, переживание этого явления, так и вызванные им интуиции. Этот тезис очень важен для исследования человеческой коммуникации, потому что «мир, с которым мы вступаем в контакт в лингвистике, — это внутренний мир, это мир мысли, формируемой в нас нашими представлениями. То, что он внутри нас, добавляет значительные трудности в его наблюдении, ибо действительно трудно точно уловить, что же происходит в нас самих. В большей мере эта трудность следует из того, что мы всегда начинаем наблюдать с опозданием» [Гийом 1992: 20].

Феноменология, следовательно, отличается от рационализма с его концептуальными рассуждениями *a priori* и не исходит из единого основополагающего принципа, подобного *cogito* Декарта, наоборот, исследование начинается с анализа целого психологического *поля* — сложной совокупности актов сознания.

Многие не совсем правильно понимают природу *феноменов* вследствие исторически и культурно сложившихся воззрений на субъективность, не принадлежащих феноменологии. Вот как это резюмировал Морис Мерло-Понти: «Феноменологическое поле — это не то же самое, что *внутренний мир,* фено-

27

мен — не *состояние сознания* или *ментальный факт,* а опытное представление феномена не является актом интроспекции или интуиции... трудность не только в том, чтобы разрушить предубеждения внешнего мира, как того требуют от новичков все философии, трудность в том, чтобы отучиться описывать психику человека языком, созданным для представления вещей. Это куда более глубокое различие, ибо внутренний мир, определяемый впечатлением, по своей природе ускользает от всякой попытки выразить его... Поэтому мгновенно схваченный образ живого представал как нечто разрозненное, неопределенное, смутное и размытое. Переход к феноменальности не влечет ни одного из этих следствий» [Merleau-Ponty 1962: 57—58].

Общая направленность, главный методологический смысл высказывания Мерло-Понти состоит буквально в следующем: мир феноменов доступен исследователю в такой форме, что на его основе можно построить теорию с опорой на новое, расширенное понимание *научности,* не сводимое к модели естественных наук. Иначе говоря, исследователь обладает возможностями получать систематическое, критическое и методическое знание не только из эмпирического *мира вещей,* но и из актов сознания, мира *феноменальности.*

1.3.2 Основные положения феноменологии и язык

Главная идея феноменологии: *установление примата сознания* как привилегированной

сферы бытия. Приоритет сознания распространяется на само существование человека (в построениях экзистенциалистов) и на субъективность как таковую.

Подчеркивая роль сознания, феноменология не скатывается к релятивизму и верит в возможность достижения точных и универсальных описаний явлений путем строгого соблюдения правил научно-философского познания, включая метод *редукции,* позволяющий *выносить за скобки* существование «объективного», эмпирического мира. Одновременно с этим, явления не должны вписываться в рамки заранее сформулированных теоретических правил и причинно-следственных отношений, предопределенных «естественной установкой» нашего сознания по отношению к внешнему миру. В этом тезисе заложено обоснование ведущей роли *мягкого* интерпретативного анализа, все более популярного и широко применяющегося в современных социальных науках.

Можно считать, что язык и общение, наука и культура — это результаты человеческой деятельности, значит, любое исследование этих явлений в итоге приводит к изучению самих людей, субъектов, конституирующих эти социальные институты. Можно также начать с утверждения о том, что существование людей предполагает наличие разных социокультурных миров,

28

которые и необходимо анализировать, но и в этом случае большая часть исследования должна быть посвящена возникновению этих социокультурных миров, что неизбежно возвращает нас к истокам: привилегированному миру бытия человека. Экзистенция и субъективность могут содержать *бессознательные* факторы, но феноменология обычно включает бессознательное в общий объем предмета анализа как особую *модальность* сознания.

Для анализа языка и речевой коммуникации это положение имеет особое значение, потому что роль *бессознательного* (не вполне по 3. Фрейду) в организации речевой деятельности и языковых представлений велика: «Сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю» [Щерба 1974: 25]. Бодуэн де Куртенэ [1963, I: 58] к общим факторам, общим причинам, обусловливающим развитие языка и его строй и состав (которые он предложил именовать *силами),* причисляет среди прочих бессознательное обобщение, *апперцепцию,* бессознательную память, бессознательное *забвение,* бессознательную *абстракцию,* бессознательное отвлечение, бессознательное стремление к разделению [ср.: Якобсон 1978].

Вторая ключевая идея: *феноменология* — это философия *интуиции,* хотя само понятие «интуиция» здесь не должно приниматься в обыденном значении как разновидность эзотерического знания с налетом чего-то мистического или таинственного. Скорее, интуиция означает *присутствие* определенного объекта в сознании. Этот смысл в современной науке покрывается целым комплексом терминов: восприятие, представление, внимание, память, воображение и т. д. В феноменологии все они — это лишь отдельные *модальности* интуиции. Согласно Г. Гийому [1992: 24], «именно в человеческом языке лучше, чем где бы то ни было, проявляется неизбежность таких убеждений, которые... и составляют человеческую интуицию».

Для лингвистики языка и речи этот тезис тесно связан с упомянутой выше категорией бессознательного. Вновь обратясь к Г. Гийому [1992: 24], согласимся с тем, что «все операции интуитивной механики происходят бессознательно. Бессознательность, интуиция — это одно и то же, и эффективность операций интуитивной механики, удостоверяемых структурами языка, которые позволяют видеть результат, дает неопровержимое свидетельство наличия в нас такого уровня деятельности, над которым у нас нет контроля и сила которого заключается не в увеличении наших знаний, а в увеличении ясновидения *(lucidité),* без которого стало бы невозможным приобретение знаний» [однако ср.: Якобсон 1978].

Выделение понятия «присутствие» ведет к третьей ключевой идее: различаются *два типа интуиции.* Поскольку интуиция может замещать непосредственный опыт, феноменология в корне меняет общий взгляд на науку как

29

только опытную область знания. Тем самым становится методологически возможной новая, расширенная концепция науки и научности. Разные типы интуиции соотносятся с различными объектами, каждый из которых становится доступным исследователю и может быть изучен им в строгом соответствии с выбранными методиками, но по-своему, отлично от объектов, обладающих другой природой. Таким образом, Гуссерль выделяет, во-первых, опыт, или

интуитивные акты, представляющие эмпирические, отдельные «реальные» объекты, помещающиеся в рамках пространственно-временных и каузативных отношений; во-вторых, идеативные акты интуиции, представляющие объекты, не являющиеся эмпирическими в вышеописанном смысле, например, концепты, сущности, идеи, образы. Следовательно, наука, понимаемая как деятельность, направленная на выработку систематического, методического и критического знания, не ограничивается лишь исследованием эмпирических объектов, которые представляют собой лишь частный случай — один из типов объектов, попадающих в феноменологическое поле.

Исторически этот подход не нов, но его значение и выводы явно недооценивались до Э. Гуссерля [Giorgi 1995: 32]. По его выражению, *эйдетические науки* (т. е. концептуальные науки, изучающие «чистую возможность») призваны дополнять, поддерживать эмпирическое знание. Самим своим развитием эмпирические науки во многом обязаны наукам эйдетическим: можно говорить о *логическом эмпиризме* как общей философии, долгое время обеспечивавшей прогресс науки.

Еще одно положение феноменологии, позволяющее по-новому взглянуть на науку: *феномен сознания* коррелирует лишь с *представлением объекта,* а не с его *реальным бытием.* Для феноменологии сущее или действительное — это лишь один из типов присутствия. Он относится к тем случаям, когда объект сознания помещен в определенное пространство, время и подчинен каузативности. Как правило, именно так определяется эмпирический объект, ему-то эмпиризм и присваивает привилегированный статус, сделав такие объекты и их качества образцом объекта познания (что способствовало распространению естественнонаучной модели).

Но есть иные модальности *присутствия* (образы, воспоминания и т. п.). По Гуссерлю, восприятие эмпирического, трансцендентного объекта — всего лишь один тип присутствия, пусть даже привилегированный, но отнюдь не в том смысле, в каком рассматривал этот объект эмпиризм: сознание соотносится с присутствиями, а не с эмпирическими объектами, поэтому поле *присутствия* со всеми его вариациями шире поля эмпирических постоянных, являющихся только одним типом присутствия. Этот вывод весьма важен для анализа языкового общения, довольно часто имеющего дело с присутствиями «нереального» свойства: сюжетами, образами, фантазиями.

30

Наконец, *интенциональность* — *суть сознания,* его постоянная направленность на объект. Это своего рода принцип открытости всему трансцендентному по отношению к сознанию. Иногда сознание направлено само на себя, когда мы задумываемся о процессах, происходящих в нашей «душе»: чувствах, мыслях, воспоминаниях, образах. Тогда мы имеем дело с имманентными, внутренними объектами. И хотя имманентные, внутренние объекты находятся в том же «потоке сознания», что и акты познания, направленные на них, тем не менее, они выделимы в качестве объектов, отличных от самих актов мысли.

1.3.3 Феноменология и социальные науки

За пределами философии феноменология самый заметный след оставила в психологии (чего и следовало ожидать, памятуя о психологических истоках теоретических построений Гуссерля), в частности, в трудах Карла Ясперса, разработавшего методику анализа субъективных переживаний своих пациентов. Одним из результатов его исследований, небезынтересным и для дискурс-анализа, стала категория *Verstehen,* понимаемая как внутреннее восприятие собственной умственной деятельности, интуитивные представления о ментальных процессах и осознание значимых психологических отношений и связей, раскрывающих внутреннюю каузативность (в отличие от внешней каузативности *Erklären,* раскрываемой объяснением).

Феноменология своеобразно воплотилась в различных лингвистических традициях [см.: Verschueren e. a. 1995: 404]. Во-первых, она поддерживала тезис о том, что языкознанию никак нельзя ограничиваться рамками эмпирического. Подчеркнутое внимание, которое в феноменологии уделяется изначальным субъективным реалиям, вернуло интуициям носителя языка статус главного источника лингвистического материала, о чем И. А. Бодуэн де Куртенэ [1963, II: 101] писал: «Занятие языковедением, как и всеми другими науками с психологической основой, является прямым применением сократовского γνώθι σεατον (познай самого себя)». Это нашло продолжение в структурализме, в частности, в поисках методом редукции сущности *langue,* позволившего «вынести за скобки» неупорядоченность *parole.*

Влияние феноменологии проявилось в психосистематике Г. Гийома [1992], в трудах Пражского лингвистического кружка, заметно в теории А. А. Потебни [1976].

Ученый мир тщетно ждал появления программной феноменологии языка. Действительно, язык становится центральным феноменом человеческого существования и опыта, как только происходит переход от индивидуального сознания в сферу межличностного и социального, где осознание присутствия других становится частью воспринимаемого мира. Но *de facto* феноменологии языка так и не было создано [ср.: Wetterström 1977; Lanigan 1977].

31

Феноменология социального зиждется на идее опытного переживания интерсубъективности, осознания, ощущения того, что воспринимаемый внешний мир не принадлежит кому-либо одному, а доступен всем. Поэтому феноменология общественных отношений, как правило, использует в качестве основополагающего принцип «общих» или «разделенных» смыслов *(shared meanings),* принятый многими социальными науками, включая лингвистику. Гештальтисты давно провели грань между *поведенческой* и *географической* окружающей средой человека, из которых первая является феноменальной, а вторая — объективной [Giorgi 1995: 37].

Феноменологическое основание методологии социальных наук было удачно сформулировано Альфредом Шютцом: «Я излагаю смысловые акты, ожидая, что Другие проинтерпретируют их именно в этом смысле, и моя схема изложения ориентирована на учет интерпретативной схемы Других. В то же время я могу во всем, что произведено Другими и предоставлено мне для интерпретации, искать смысл, который определенный Другой, сотворивший его, мог с ним связать. Так в этих взаимных, обоюдонаправленных актах изложения и интерпретации смыслов возникает, возводится мой социальный мир повседневной интерсубъективности, который точно так же служит социальным миром Других, на чем, собственно, и основываются все социальные и культурные явления» [Schütz 1940: 468].

Феноменология идейно тесно связана с прагматикой, поскольку, всячески подчеркивая активную роль индивидуального сознания и уделяя пристальное внимание непосредственному опыту, это философское направление стимулирует изучение реального функционирования языка с точки зрения субъекта. Эта генеалогическая линия может показаться чуть ли не умозрительной или даже надуманной, но есть и прямая методологическая наследственность, связывающая феноменологию с идеями лингвистической прагматики через этнометодологическую традицию в социологии, в недрах которой зародился конверсационный анализ. Этнометодология в качестве первичного материала для исследования использует обыденную повседневную речь. Изучая ее с помощью метода редукции, выявляя в житейском хаосе универсальные «типы деятельности» *(activity types),* этнометодология стремится объяснить организацию социальной жизни общества.

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что с помощью теоретического аппарата феноменологии исследователь способен обосновать расширенное понимание научности, выявить релевантные аспекты взаимодействия психического и социального в актах языкового общения, сформировать методологию дискурс-анализа. Из современных разработок в этой

32

функции следует прежде всего отметить концепцию системомыследеятельности Г. П. Щедровицкого [1995; 1997].

1.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ

В диалоге существует лишь одно-единственное преломление лучей мысли — это преломление создает собеседник, как зеркало, в котором мы хотим снова увидеть наши мысли в возможно лучшей форме.

Ф.НИЦШЕ [1990: 412]

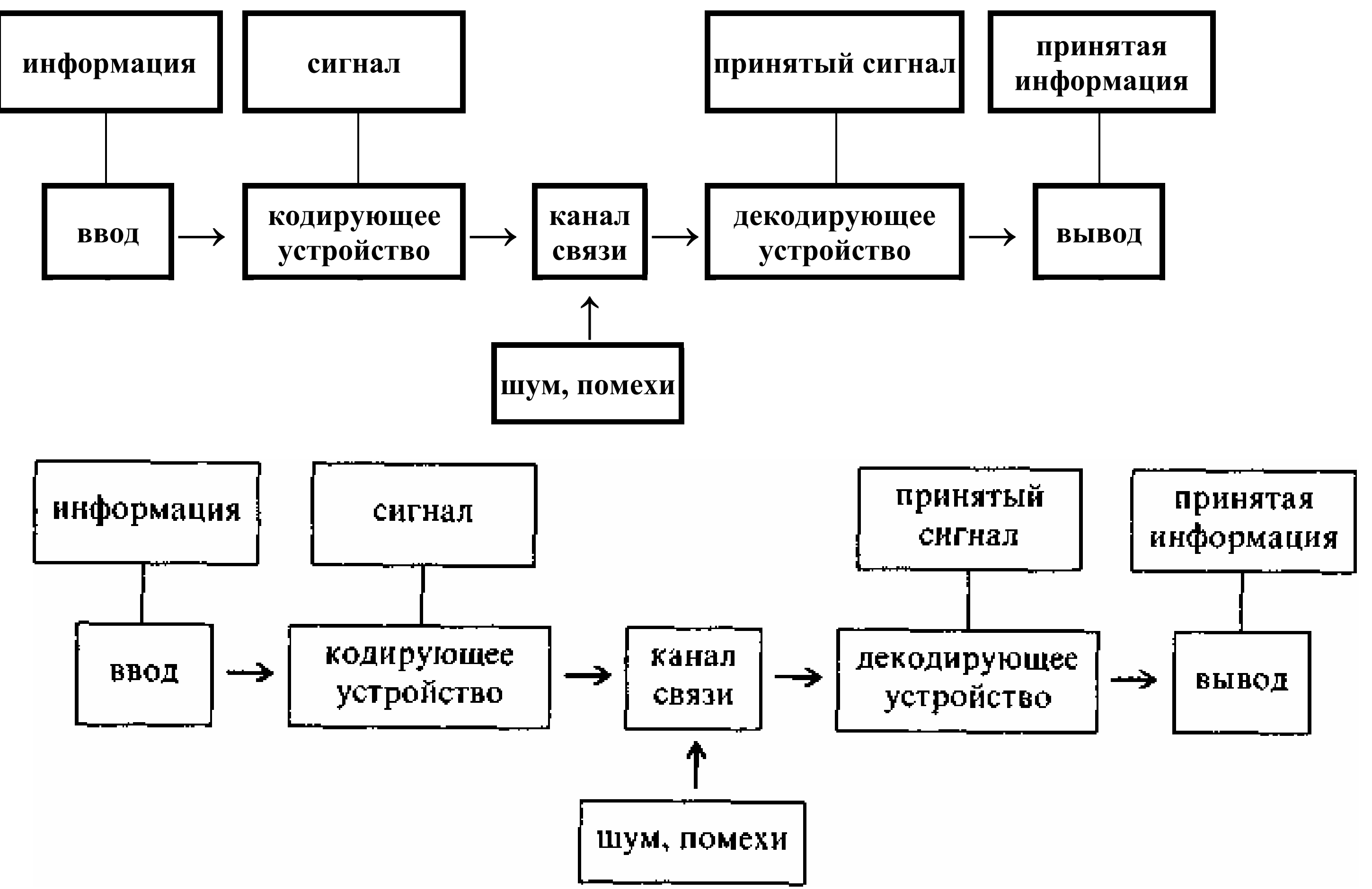
Любое исследование языка и общения опирается на ту или иную модель коммуникации (каковых обычно выделяют три — см.: [Schiffrin 1994: 386 — 405]),

в соответствии с которой определяются такие категории, как *коммуникация* и *информация,* их разный статус в теоретических построениях.

1.4.1 Информационно-кодовая модель коммуникации

Ярким примером теоретического подхода, отдающего приоритет *информации,* стала ***кодовая модель коммуникации.*** Свою реализацию она обрела в кибернетической схеме Шеннона и

Уивера
[Shannon, Weaver 1949; ср.: Богушевич 1985: 42; Каменская 1990: 17; Гойхман, Надеина 1997: 14]:



Эта модель демонстрирует возможность воспроизведения информации на другом конце цепочки благодаря процессу коммуникации, осуществляемому посредством преобразования сообщения, неспособного самостоятельно преодолеть расстояние, в сигналы кода, которые можно транслировать. Шум и помехи в канале связи могут исказить сигнал и даже перекрыть его. Если канал чист, успех коммуникации в основном зависит от эффективности работы (де)кодирующих устройств и идентичности кода на вводе и выводе.
33
Адаптированная для представления человеческой речевой коммуникации информационно-кодовая модель остается в принципе той же: *говорящий* («отправитель») и *слушающий* («получатель») оба обладают *языковыми (де)кодирующими устройствами* и «процессорами», перерабатывающими и хранящими *мысль* или «информацию» [Кибрик А. Е. 1987: 37; Почепцов 1986: 5]. В устной речи «сигнал» акустический, а «канал связи» — любая физическая среда, проводящая звуковые волны. Такой взгляд на речевую коммуникацию основан на двух тезисах: во-первых, каждый национальный язык (хинди, английский, русский и т. п.) является кодом; а во-вторых, эти коды соотносят *мысли* и *звуки* [ср.: Жинкин 1982; Tsui 1996].

Кибернетическая модель возникла в годы революционного развития телекоммуникационных технологий, но два основополагающих тезиса, на которых она держится, имеют куда более долгую историю в науке о языке. Эти идеи можно найти у Аристотеля [1978], авторов грамматики Пор-Рояля и др. Точка зрения на языковую коммуникацию как (де)кодирование мыслей в звуках так глубоко укоренилась в западной культуре — «entrenched in Western culture» [Sperber, Wilson 1995: 6], что стало просто невозможно относиться к ней как гипотезе, метафоре, а не как к абсолютному факту. Для иллюстрации один пример: «The speaker's message is encoded in the form of a phonetic representation of an utterance by means of the system of linguistic rules with which the speaker is equipped. This encoding then becomes a signal to the speaker's articulatory organs...» [Katz 1966: 104; ср.: Harris 1991; Bavelas, Chovil 1997]. И все же кодовая модель остается именно гипотезой

с хорошо известными преимуществами и не столь хорошо известными недостатками [см.: Schiffrin 1994: 391; Sperber, Wilson 1995: 5—6].

По мнению многих авторов [Harris 1981 ; Harris, Taylor 1989; Joseph, Taylor 1990; Davis, Taylor 1990; Gethin 1990; Schiffrin 1994; Sperber, Wilson 1995], утверждению данного взгляда на язык способствовал рост авторитета семиологического [Соссюр 1977; ср.: Волошинов 1929; Васильев 1989] или семиотического [ср.: Сусов 1990; Peirce 1965; Morris 1971; Escudero, Corna 1984; Eco 1986; Tobin 1990; Sebeok 1991 и др.] подхода, экстраполирующего кодовую модель вербальной коммуникации на прочие формы коммуникации. Цветан Тодоров [Todorov 1977] видит истоки этой традиции в трудах Св. Августина, который вопросы грамматики, риторики, логики и герменевтики рассматривал в единой теории знаков. Данный подход воплотился в некоторых психологических течениях [см.: Выготский 1934; 1982]. Распространение кодовой модели в антропологии, филологии, социологии и других социальных науках стало воистину «общим местом», по крайней мере, в Европе и Северной Америке.

34

Но кодовая модель (в своем семиотическом обрамлении) не может адекватно описывать реальные процессы коммуникации на том или ином естественном языке. Ясно, что понимание предполагает нечто большее, чем только декодирование — само по себе декодирование локализуется там, где акустический сигнал переходит в языковой образ, однако интерпретация высказывания на этом этапе не заканчивается.

Если принять точку зрения на язык как на код, то знаковой основой определенного языка должно быть соответствие фонетических репрезентаций семантическим, что большей частью сделано в генеративных грамматиках, но между этими семантическими репрезентациями и «мыслями» или смыслами, передаваемыми высказываниями в процессе общения, «дистанции огромного размера». Кроме того, кодовая модель ограничивает сообщения только теми *мыслями,* которые говорящий излагает намеренно. Многие исследователи предлагают различать «коммуникативный материал» или то, что сообщается намеренно, в соответствии с интенцией автора [*goal-directed* — MacKay 1972], и «информативный материал» — то, что может быть воспринято независимо от того, хотел ли этого говорящий или нет [Schiffrin 1994: 392; ср.: Ekman, Freisen 1969].

Кодовая модель может быть кратко описана следующим образом: роли участников — *отправитель* и *получатель, сообщение* содержит информацию о положении дел или *«мысль»* [Кибрик 1987: 37; Почепцов 1986: 5] говорящего, которую он намеренно передает слушающему; они оба владеют *кодом* (знаковой системой языка), конвенционально соотносящим звуки и значения. Эта модель покоится на фундаменте примитивной *интерсубъективности:* цель коммуникации — общая мысль или, точнее, сообщение (*shared message*); процесс достижения этой цели основан на существовании общего кода *(shared code).* И то, и другое предполагает большую роль коллективного опыта: идентичных языковых знаний, предшествующих коммуникации.

И как научная метафора, «языковая игра», и как теория кодовая модель коммуникации принадлежит старой «онтологии Ньютона». Ее эвристическая ценность ограничена семиотическими подходами к изучению языка, а ее слабости более всего сказываются на семантико-прагматическом уровне.

1.4.2 Инференционная модель коммуникации

Проблемы семантико-прагматического характера, обнаружив неадекватность кодовой модели, стимулировали разработку ***инференционной модели коммуникации,*** идейным отцом которой стал Герберт Пол Грайс [1985; Grice 1971; 1975; 1978; 1981; тж. см.: Bach, Harnish 1979; Sperber, Wilson 1995; ср.: *sequential inferential theory* — Sanders 1991; 1995].

35

В этой модели и участники коммуникации, и само сообщение получают несколько иной статус. Интерсубъективность и здесь играет главную роль, но уже в другом качестве. В отличие от кодовой модели, где участники, сообщение и сигнал связаны по сути симметричным отношением кодирования и декодирования, инференционная модель в качестве своего функционального основания использует принцип выводимости знания. Если в кодовой модели говорящий намеренно ***отправляет*** слушающему некоторую ***мысль***, то в инференционной модели говорящий ***S***, вкладывая *свой смысл*, т. е. то, что он «имеет в виду» [*nonnatural meaning* — Grice 1971], в высказывание *x,* трижды ***демонстрирует свои интенции:*** (i_1) он намерен

произнесением *x* вызвать определенную реакцию *r* в аудитории *A*; (i_2) он хочет, чтобы *A* распознала его намерение i_1, а также (i_3) чтобы это распознание намерения i_1, со стороны *A* явилось основанием или частичным основанием для реакции *r* [Стросон 1986: 136—137; Strawson 1991: 293—294; Schiffrin 1994: 393; Sperber, Wilson 1995: 28]. Присутствие этих трех интенций необходимо, чтобы кто-то стал «говорящим», а их выполнение необходимо для успеха коммуникации. Но функционально единственно необходимой оказывается только i_2.

Инициирует процесс общения не желание человека передать «мысль» или *информацию,* а его желание сделать свои *интенции* понятными другим. Речевые средства для выражения намерений — это *высказывания.* Их содержание не ограничено (в отличие от кодовой модели) репрезентативными сообщениями о положении дел, они могут выражать, например, эмоции. Интенции сами по себе совсем не пропозициональны, по своей природе они сродни установкам или мотивам. Но содержание высказываний или *сообщение (message)* пропозиционально. Интенции определяют, как должно пониматься данное пропозициональное содержание. Хотя не надо забывать, что инференционная модель коммуникации рассматривает и те случаи, когда в сообщении нет никакого пропозиционального «смысла» и оно вообще не использует «кода».

Вследствие того, что большинство исследователей исходит из монадного представления коммуникации (как, впрочем, и всего социального), естественным оказывается стремление к единой модели коммуникации. Кодовая модель укоренилась в научном и обыденном сознании. Инференционная модель появилась не так давно, но хорошо воспринимается на уровне «здравого смысла». В этой ситуации трудно устоять перед соблазном считать новую модель развитием старой, а не принципиально иным альтернативным подходом [Sperber, Wilson 1995: 24].

Так и случилось с логикой общения Грайса: многие представители прагматической лингвистики и философии языка, часто неосознанно, подводили его инференционную модель под привычный кодовый шаблон. Вот как моти-

36

вировал это Дж. Сёрль: «This account of meaning does not show the connection between one's meaning something by what one says, and what that which one says actually means in the language» [Searle 1969: 43].

Пытаясь показать взаимосвязь между субъективным смыслом говорящего и языковым значением, Сёрль фактически ограничил принципы Грайса сферой «буквального значения», которое он определяет через интенции говорящего (отнюдь не в духе феноменологии), включая намерение говорящего, чтобы его интенции были распознаны, но добавляет: говорящий должен стремиться к тому, чтобы слушающий узнал его интенции «in virtue of his knowledge of the rules for the sentence uttered» [Searle 1969: 48], т. е. исходя из правил определенного кода. Такое решение сводит все значение инференционной модели к дополнению кодовой с небольшой добавкой о том, что в общении людей декодированию подлежит намерение говорящего, чтобы его высказывание было понято определенным образом.

Грайс же исходит из предположения о том, что коммуникация возможна при наличии *любого* способа распознать интенции (это опять-таки из области здравого смысла). Если следовать его логике, то должны быть случаи коммуникации исключительно инференционной, без (де)кодирования. И такие случаи есть. Пол, например, спрашивает Линду о том, как она себя чувствует, она вместо вербального ответа показывает ему коробку с аспирином [анализ подобных примеров см.: Sperber, Wilson 1995: 25—26; 50—54]. Ее ответ не содержит кода: нет правила или конвенции, стабильно соотносящих это действие со значением «плохо себя чувствовать». Тем не менее Пол успешно распознает ее намерение. Дж. Сёрль не отрицает возможности инференционной коммуникации, но все же настаивает, что такие случаи, не использующие кода, редки, маргинальны, и человеческое вербальное общение фактически всегда опосредовано кодом [Searle 1969: 38]. Преимущественным способом коммуникации был и остается вербально-кодовый, но уже само по себе существование таких «необычных» примеров выявляет слабости кодовой модели: «They may be unimportant as examples of human interaction, but they are important as evidence for or against theories» [Sperber, Wilson 1995: 26].

Существует также «сильная» версия инференционной теории, сводящая все кодовые механизмы к инференционным, выводным. Код в этом случае трактуется как набор конвенций, общий для говорящих и слушающих, которые выводят сообщение из знания конвенций, сигнала и контекста. Этот подход хорош для анализа условных символов, но его ограниченность проявляется, как только в фокусе оказывается *живой* язык: языковые

репрезентации не всегда концептуальны, а отношения между ними не всегда основаны на выводимости.
37
Видимо, речь идет о различных, порой пересекающихся и дополняющих друг друга процессах — кодировании/декодировании и инференции. Поэтому ни информационно-кодовая, ни инференционная модель, отдельно взятые, не могут объяснить феномена языкового общения. Еще больше вреда приносит абсолютизация любого из подходов. Традиционно в данной модели само понятие *инференция* определяется скорее логически, чем психологически, отсюда — досадное завышение роли дедукции и прочие нелепые, но закономерные несоответствия современным когнитивно-психологическим представлениям.

Говоря об изменении смысла понятия *интерсубъективность* в рамках инференционной модели, необходимо эксплицировать роль инференционных правил (например, постулатов коммуникативного сотрудничества по Грайсу и максим вежливости) в роли важнейшего компонента «общих знаний» *(shared knowledge)* наряду с правилами языкового кода. Качественно новым оказался выход интерсубъективности — «главного принципа коммуникации» [Taylor, Cameron 1987: 161] за пределы языка, в сторону правил поведения, не обладающих алгоритмической природой языкового кода, но способных генерировать смыслы, в частности, в случае их невыполнения, «обманутого ожидания».

1.4.3 Интеракционизм модель коммуникации

Интеракционная модель коммуникации в соответствии со своим наименованием в качестве главного принципа выдвигает взаимодействие, помещенное в социально-культурные условия ситуации. Не языковые структуры кода, а коммуникативно обусловленная социальная практика объясняет природу (транс)формации смыслов в общении [см.: Schiffrin 1994: 398—405].

Данная модель помещает в центр внимания аспекты коммуникации как поведения (не в традиции бихевиоризма), и не только интенционального [Tsui 1996]. Общение может состояться независимо от того, намерен ли «говорящий» это сделать, а также независимо от того, рассчитано ли данное высказывание на восприятие «слушающим». Коммуникация происходит не как *трансляция информации* и *манифестация намерения,* а как ***демонстрация смыслов,*** отнюдь не обязательно предназначенных для распознавания и интерпретации реципиентом. Практически любая форма поведения — действие, бездействие, речь, молчание [о молчании см.: Богданов 1986; Крестинский 1989; 1990; Tannen, Saville-Troike 1985; Jaworski 1993] в определенной ситуации может оказаться коммуникативно значимой: «Behavior has no opposite. In other words, there is no such thing as nonbehavior or, to put it even more simply: one cannot
38
not behave. Now, if it is accepted that all behavior in an interactional situation has message value, i. e. is communication, it follows that no matter how one may try, one cannot *not* communicate» [Watzlawick e. a. 1967: 48—49]. Внезапное покраснение лица (неосознанное и неинтенциональное) интерпретируется *(психологически-инференционно,* на основании прошлого опыта и социально-культурных конвенций) и обретает ситуативный смысл.

Следовательно, пока человек находится в ситуации общения и может быть наблюдаем другим человеком, он демонстрирует смыслы, хочет он этого или нет. При этом важную роль играет активность воспринимающего *Другого:* без со-участия коммуникантов в едином процессе демонстрации смыслов и особенно их ***интерпретации*** не могло бы быть ни общения, ни совместной деятельности. Можно добавить, что эта интерпретация смыслов происходит в процессе постоянных «переговоров», гибкой диалектики коллективного осмысления социальной действительности на пути к достижению ***интерсубъективности,*** трактуемой как психологическое или феноменологическое переживание *общности* [*togetherness* — Ninio, Snow 1996: 23] интересов, действий и т. п. Эта общность не является постоянной, она всегда «движется», и часть коммуникативной «работы» всегда направлена на ее воспроизводство, достижение и поддержание в каждом новом акте общения.

Э. Гоффман [Goffman 1959; Schiffrin 1994: 398] различал информацию, сообщаемую преднамеренно *(information given),* и информацию, сообщаемую непреднамеренно *(information given-off).* Если участием в коммуникативном процессе первый тип информации обязан прежде всего говорящему, который отбирает эти смыслы, придает им форму и излагает их в

соответствии со своими интенциями; то информация второго типа оказывается в долгу у реципиента, а именно его восприимчивости, избирательности и способности к интерпретации. Как раз *интерпретация* становится в интеракционной модели критерием успешности и главным предназначением коммуникации в отличие от распространенного представления ее основной функции как «достижения взаимного понимания». Это разительно меняет статус коммуникантов. Этим обусловлена и асимметрия модели: порождение смыслов и их интерпретация отличаются как по способам осуществления этих операций, так и по типам участвующих в них форм когниции, перцепции и даже аффекта. Идея зеркального подобия процедур преобразования сообщения на вводе и выводе не работает: реципиент может вывести смыслы, отличные от задуманных говорящим, что в жизни встречается не так уж редко.

Интеракционная модель предполагает сильную ситуативную привязанность, что может выражаться в учете невербальных аспектов коммуникации и деятельности в целом, в использовании широкого социально-культурного

39

контекста. И в том, и в другом случае исследователь имеет дело с «фоновыми знаниями», конвенциональными по своей природе, но далекими от уровня алгоритмизации языкового кода. Зависимость от кода в интеракционной модели меньше, но роль *общих значений* остается высокой, хотя здесь и происходит перенос приоритета от конвенций языковых к социокультурным.

Из трех моделей коммуникации интеракционная в большей мере соответствует дискурсивной онтологии, правда, лишь в том случае, если поведение понимать широко и признать приоритет коммуникации по отношению к информации.

1.4.4 От информации к коммуникации

Существует два общетеоретических подхода к проблемам ***информации*** **и** ***коммуникации*** [ср.: Mokros 1996; Harris 1991 и др.].

Первый в паре родственных понятий отводит главную роль информации, так как именно последняя служит формой репрезентации действительности, объективного мира, где локализован опыт человека. Информация замещает мир вещей, вследствие чего сама приобретает некоторую «вещественность», становится сущностью, ценность которой возрастает по мере того, как она позволяет индивидам *когнитивно испытать,* освоить действительность и затем реорганизовать опыт. При таком подходе коммуникация выступает как процесс оформления, своего рода «ратификации» репрезентаций в качестве информации и — более всего — как процесс, обеспечивающий ее трансляцию между индивидами. С этой точки зрения коммуникацию можно оценивать по критериям эффективности и надежности. Она рассматривается как инструмент для «наклейки ярлычков» на объекты внешнего мира, для обеспечения доступа индивидов к информации и осуществления ими своих прав владеть и распоряжаться ею, в том числе обмениваться (что ярко воплотилось в кодовой модели). Информация получает приоритет благодаря подразумеваемому предположению о ее способности *когнитивно запечатлеть* реальный мир.

Это предположение дискутируется вторым подходом, отдающим пальму первенства коммуникации, где она рассматривается как *конститутивный* фактор поведения и деятельности людей, а не как простой обменный процесс между переработчиками информации. Под таким углом зрения «известные» или «очевидные» свойства действительности становятся таковыми лишь благодаря коммуникативному действию. Это в свою очередь подразумевает, что информационные средства — не просто репрезентации мира *out there* или атрибуты «работы, которую сообщение позволяет выполнить получателю» [Krippendorf 1993: 488], а неотъемлемая часть общения. Их значимость нахо-

40

дится не в отношении к *объективируемой* действительности, а в отношении к другим информационным средствам. Информационные средства — идеологически окрашенные, в широком смысле, дискурсивные реализации — играют конститутивную роль в коммуникации, создавая иллюзию единственного познаваемого мира (если их рассматривать как его прямые репрезентации) и способствуют познанию предположительно независимой от самого общения действительности. Будучи продуктом коммуникации, информационные средства отображают ее социальную организацию [Mokros 1996: 4; см.: Карасик 1992; Кирилина 1999; Шейгал 2000; Dant 1991].

Различия между двумя подходами — это не просто вопрос теоретического спора об отличиях двух разных течений. От того, по какому пути пойти, зависит вся концептуализация природы человеческого опыта, а также его адаптивной, преобразующей направленности [ср.: Deetz 1994; Benhabib 1992].

Первый путь сосредоточивается на роли информации относительно поведения людей (подобно им — социальных институтов, групп, организаций и обществ), которые рассматриваются как автономные, самодостаточные, рациональные производители, получатели и переработчики информации (при этом информационные инновации создают предпосылки для еще большей автономности и рациональности [Giddens 1991]). Главная опытная деятельность «Я» считается когнитивной, в картезианском смысле. Приоритет когнитивного в опыте человека и социума придает освоению информации во благо (по)знающего «Я» статус нравственной ценности и прогрессивности.

Второй путь подвергает сомнению тезис о примате (по)знающего «Я» и привилегированной роли информации. Коммуникация рассматривается не как механический процесс обмена сообщениями, а как феноменологическое пространство, где опыт наполняется значением и смыслом, приобретает структуру, связность и цельность. Коммуникативность помещается где-то в пересечении социального и психологического, неизбежно оставаясь в рамках постоянно меняющихся биологических и физических условий деятельности, накладывающих свои собственные ограничения. «Язык-речь» предстает «как двуединый *процесс отражения-коммуникации»* [Щедровицкий 1995: 465]. В интеракции посредством дискурсивных действий производятся и воспроизводятся социальные институты и культурные схемы, системы ценностей, формируются человеческие сообщества и социальные аспекты личностей [см.: Гуревич 1997; Ерасов 1996; Андерсон 2001; Бергер, Лукман 1995; Бурдье 1993; Bourdieu 1977; 1991; Giddens 1984; Lincoln 1989; Leeds-Hurwitz 1989; 1993].

Чтобы с таких позиций объяснить качественные характеристики человека, института и непосредственного опыта, необходимо уделить больше внимания смычке социального и психологического в коммуникативном действии.

41

Это возвращает данное рассуждение к анализу соотношения категорий *личность* и *поведение.* Поведение в русле методологии первой парадигмы предполагает одностороннюю агентивность. Следуя этой логике, пришлось бы очень узко рассматривать поведение как информацию, содержащую указания (индексы) на мнения, верования, желания, компетенции индивида, т. е. внутренний мир личности. Если же поведение трактовать широко — как коммуникативно обусловленную практику в контексте из социальных условий, ограничений и возможностей (соответственно второму подходу), тогда то, что считалось поведением индивида, следует признать коллективной смыслообразующей деятельностью, где постоянно реализуются различные стороны «Я», образы себя и других. «Я» все больше рассматривается как конституируемая внутри процесса общения сущность, как органическая часть взаимодействия людей.

Другим важным вопросом стала проблема соотношения *деятельности* и *общения,* предстающих как взаимосвязанные, «относительно самостоятельные, но не равноценные стороны единого процесса жизни» [Буева 1978: 113; ср.: Тарасов 1992]. Общение рассматривается то как своеобразная форма деятельности, то как определенная ее сторона, то как ее дериват [Андреева 1980: 95], т. е. функционально, структурно и генетически.

Главная методологическая опасность кроется не в том, что сегодня «нет сферы человеческой деятельности, которая не могла бы быть рассмотрена сквозь призму общения», а в том, что «общение... все более кристаллизуется в самостоятельную деятельность» [Дридзе 1984: 5; ср.: Леонтьев 1974: 47]. Таким образом, общение рассматривается как самостоятельная деятельность, протекающая *на фоне* или даже *вне* какой-либо другой (подразумевается: предметной) деятельности, обслуживая последнюю и копируя ее своим отношением к человеку как объекту или *вещи.* Не в последнюю очередь такой взгляд на общение в отечественной науке был сформирован благодаря вульгарно-материалистическому пониманию общества, отводившему языку роль *надстроечной* сущности, определяемой процессом предметной, *базисной* деятельности.

Такое представление речевой коммуникации часто приводит к прямому переносу категорий действия на языковое общение [Волошинов 1929: 96—97; Леонтьев 1979: 25—26; Кацнельсон 1972: 110; Сусов 1980; Levy 1979: 199; Parisi, Castelfranchi 1981: 552; Prucha 1983: 294 и др.],

что только укрепляет метафору *языка-инструмента* — того, чем говорящий *субъект* «пользуется», воздействуя на слушающего, т. е. на *объект.*

Представители первого подхода фактически скатываются к онтологизации субъектно-объектных отношений. Второй подход отстаивает тезис о межсубъектности общения (в рамках отношения «субъект — субъект») и необходимости разработки многоуровневых моделей взамен одноуровневых [Ломов
42
1984; Кольцова 1988: 12; Харитонов 1988: 55; Кучинский 1981: 92; 1985: 254]. Общение осознается и конституируется каждым его участником в качестве субъекта [Тарасов 1992: 37; Сергеева 1993: 5; Богушевич 1985: 40].

Первая парадигма явно недооценивает интерактивную природу общения, феноменологически принимаемого в качестве «одного из основных критериев описания деятельности» [Lanigan 1977:4], межсубъектность коммуникации. Вторая парадигма видит сущность общения не в одностороннем воздействии говорящего на слушающего, а в сложном коммуникативном взаимодействии двух субъектов: общение — «это не сложение... параллельно развивающихся *(симметричных)* деятельностей, а именно взаимодействие субъектов» [Ломов 1984: 252], возможно, по поводу каких-то объектов «внешней» действительности. При концептуализации социального многие (вслед за Т. Парсонсом) допускают ошибку, абсолютизируя *действие.* Единицей анализа все же должна быть *интеракция.* Нельзя идти от индивидуальных действий к интеракции: она никогда не бывает простой суммой отдельных действий [Turner 1988: 3]. Интеракция находится в центре внимания второго подхода к языку и речи, где «слово является двусторонним актом» [Волошинов 1929: 102].

Очевидно, что первый подход идейно близок к традиционной онтологии, он фактически вырос в ее недрах, в то время как второй подход — это шаг в сторону утверждения дискурсивной онтологии. Модели коммуникации не случайно рассматривались в таком порядке: кодовая, инференционная и интеракционная. Это не только соответствует хронологии их появления на свет, но отражает динамику движения от первого подхода ко второму, от старой, механистической онтологии к новой, дискурсивной.

Выбор первого подхода оправдан и совершенно адекватен в рамках изучения языка в узком смысле. Второй подход очевидно предпочтительнее первого в исследованиях речевой коммуникации, особенно в традициях интерпретативного, качественного анализа.

1.5. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Языкознание будет становиться все более точной наукой также в зависимости от того, насколько в его базисной науке, в психологии, будет совершенствоваться метод качественного анализа.

И. А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ [1963, II: 17]

Хотя речь здесь пойдет не только о социологии, психологии или теории коммуникации как основном научном контексте дискурс-анализа, вопросы
43
методологии, приоритетности тех или иных исследовательских практик, позиций и общих подходов к изучаемым феноменам должны занимать важное место во всякой претендующей на основательность работе.

1.5.1 Количественный *vs.* качественный: ложный изоморфизм

И. А. Бодуэн де Куртенэ научность языкознания увязывал с развитием ***качественного анализа*** в психологии, шире — во всех социальных дисциплинах. Качественный анализ когда интуитивно, а когда и вполне осознанно дихотомически противопоставляется количественному. Сами по себе бинарные оппозиции такого рода являются социальными конструктами, научными «языковыми играми», не всегда точно и адекватно отражающими реальное положение вещей. С оппозицией *качественный* — *количественный* связан ряд частных методологических противопоставлений, общую оценку которым, хорошо или плохо, *licet* или *non licet,* исследователи выносят, исходя из собственной позиции. Частные или видовые оппозиции образуют два ряда, характеризующихся отношениями «ложного изоморфизма», т. е. ложного подобия соответствующих элементов двух множеств [Bavelas 1995: 50—51]:

Таблица 2. «Ложные оппозиции»

Количественный анализ	Качественный анализ
Использует числа	Не использует числа
Параметрический	Непараметрический
С применением статистики	Без применения статистики
Эмпирический	Неэмпирический
Объективный	Субъективный
Дедуктивный	Индуктивный
Верификация гипотезы	Поиск нового знания
Экспериментальный	Неэкспериментальный
Лабораторный	Реально существующий
Искусственный	Естественный
Выводы не обобщаются	Выводы обобщаются
Внутренняя обоснованность	Внешняя обоснованность
Хороший / Плохой	*Плохой / Хороший*

Несостоятельность некоторых якобы изоморфных оппозиций довольно легко продемонстрировать. Например, с количественным анализом порой ассоциируется *эмпирический* метод и наоборот — качественный анализ упрекается в *неэмпиричности.* Исходя из феноменологического понимания опыта

44

и значения слова *эмпирический* (не путать с философским эмпиризмом!), трактуемого как «происходящий из опыта», нетрудно заметить, что эта оппозиция как полярная дихотомия теряет смысл.

Однако многие ученые используют эту «оппозицию», обвиняя сторонников качественного анализа в методологической несостоятельности, поскольку качественный анализ якобы «неэмпиричен». Против таких аргументов, следовательно, в защиту качественного анализа направлено данное рассуждение о вреде навязывания столь категоричных противопоставлений.

1.5.2 Объективность vs. субъективность

Объективность количественного анализа нередко противопоставляется *субъективности* качественного анализа, по крайней мере, на уровне повседневного академического дискурса. Понятие объективности анализа само по себе проблематично: уже чтение показаний прибора зависит от аффективных, перцептивных и когнитивных факторов. Объективность иногда определяется как «коллективная конвенция» [*intersubjective agreement* — Bavelas 1995: 52], хотя и это не всегда ладно: чья-то интерпретация явления может противоречить выводам большинства, но именно эта уникальная интерпретация открывает новое знание, если ученый разглядел в анализируемом явлении то, что до него никто не замечал.

Другая крайность — это абсолютизация *субъективности,* и выражается она в признании постоянной опасности того, что исследователь, будучи простым смертным, которому свойственно ошибаться, не способен на объективный анализ, потому что его личные желания, установки, особенности памяти и внимания влияют на восприятие явления и результаты исследования.

Вряд ли стоит говорить о субъективности/объективности как полярной дихотомии, это скорее континуум. И в этом случае феноменология помогает снять оппозицию, рассматривая «присутствие» феномена как взаимодействие субъективного и объективного, связанных интенциональностью сознания.

1.5.3 Дедукция *vs.* индукция

Одним из общепринятых, «родовых» заблуждений социальных наук стал аристократический идеал *формально-дедуктивного* анализа в универсальной теории, с помощью которой ученый способен предсказать коммуникативное поведение. Формированию такого представления помогла школа европейской академической письменности, в которой любая научная работа традиционно оформлялась как дедуктивное рассуждение. Но это отнюдь не значит, что в исследовательской реальности мы не используем *индуктивного* мышления.

45

Роль дедукции-индукции была определяющей для эволюции позитивизма в истории науки. Позитивизм начинает с гипотезы, дедуктивно выведенной из общих законов, а затем ищет доказательств в пользу данной гипотезы и, следовательно, всей теории. Постпозитивизм (или

антипозитивизм) начинает с атеоретического наблюдения, направленного на создание частной теории, не выходящей за рамки наблюдаемого явления (без обобщений).

Более сбалансированной выглядит точка зрения, свойственная некоторым неопозитивистским исследованиям, которые начинают анализ с теоретически подготовленного наблюдения, из него они затем индуктивно выводят теорию, способную дать обобщенную интерпретацию явления, представленного лишь частным случаем наблюдаемого фрагмента действительности. «Индукция и дедукция связаны между собой столь же необходимым образом, как синтез и анализ. Вместо того, чтобы односторонне превозносить одну из них до небес за счет другой, надо стараться применять каждую из них на своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если не упускать из виду их связь между собой, их взаимное дополнение друг друга» [Энгельс, 20: 542—543].

Дедуктивное и индуктивное мышление взаимодействуют в процессе исследования, что вряд ли подразумевается дихотомией, часто ассоциирующей качественный анализ с индукцией и субъективностью. Так же неверно связывать количественный дедуктивный анализ только с «объективной» *верификацией гипотезы* в противовес «мягкому» анализу как *поиску новых знаний.*

Анализ языка и речевой коммуникации, равно как и другие социальные науки, постоянно сочетает подходы и точки зрения в *процессе* познания, который можно представить в виде спирали или циклов движения мысли [см.: Богин 1985; Щедровицкий 1995; 1997] от освоения эмпирических фактов к интроспекции, рефлексии, от дедуктивного основания теории к ее индуктивному выводу и наоборот. Вот что пишет об этом Г. Гийом [1992: 20]: «Метод, за который я ратую в лингвистике и вообще в сфере интеллектуальной деятельности, представляет собой тщательное наблюдение за конкретной реальностью, которое непрерывно становится все более тщательным в результате глубоких размышлений. Я считаю, что именно сочетание в правильном соотношении этих двух возможностей разума — наблюдения и размышления может привести к непрерывно растущему пониманию мира...»

1.5.4 Экспериментальные vs. реальные данные

Другие противопоставления тоже оказываются не такими уж жесткими. Три из них логично объединить: первому, количественному ряду свойственны *экспериментальные* методы анализа в *лабораторных* условиях работы с *искусственным* материалом, а второму ряду,

46

соответственно, наоборот: сбор *естественного* материала в *реально существующих* условиях *(real world)* и его интерпретация *без эксперимента.*

Безусловно, речь идет о принципиально различных ориентациях, но в ряде случаев кое-какие различия стираются. Можно ли с полным основанием считать естественным коммуникативное поведение людей, если они знают, что за ними наблюдают? Можно ли охарактеризовать метод интервью как экспериментальный или как *real world*? Можно ли без оговорок признать языковым материалом фразы, придуманные самими лингвистами? Согласятся ли практики с опытом лабораторных исследований, например, в когнитивной психологии, с щербовским пониманием эксперимента, по сути своей психологическим, а по форме — интроспективным [см.: Щерба 1974]? Почему разговор тех же самых людей дома или на работе считается естественным материалом, а в стенах лаборатории — нет? Короче говоря, явной оппозиции и здесь нет.

1.5.5 Цифры *vs.* слова

Разительные отличия между количественными и качественными исследованиями связаны с использованием *чисел, статистики* и *параметров.* Число — всего лишь символ измерения. Главное — необходимо с достаточной уверенностью знать, ***что*** стоит за числом, каково значение измерения. Во многих «количественных» исследованиях социальных наук это самое уязвимое место. Но и качественный анализ, даже не прибегая к цифрам, оперирует индексами количества, иначе из его лексикона пришлось бы под страхом методологической смерти выбросить слова *много, мало, часто, некоторые, все, обычно* и т. д.

Параметры исчисления, как правило, выстраиваются в такой последовательности: количество, порядок, разность и соотношение. Для любителей цифр и графиков в социальных науках этот порядок самоочевиден. Сторонники качественного анализа выстроили бы их в обратном порядке с точки зрения эвристической ценности.

Что касается статистики (дескриптивной и инференционной), то стоит лишь согласиться,

что важнейшей ее функцией является редукция опытного материала и оценка вероятности случайности выводов, как сразу выясняется, что качественные методы делают это как минимум не хуже количественных.

Главный вопрос часто остается «за кадром»: какие именно параметры и измерения способны лучше уловить наиболее релевантные характеристики явления? Ответы на этот вопрос зависят от целей исследования. Присутствие или отсутствие цифр в научной работе *eo ipso* не меняет ее качества.

47

1.5.6 Позиции позитивизма и интерпретативного анализа

Возвращаясь к роли позитивизма в формировании исследовательской позиции социальных наук, можно с небольшими изменениями привести адаптированную схему У. Б. Пирса [ср.: Pearce 1995: 93], характеризующую конкурирующие «языковые игры»:

Таблица 3. Грамматика «языковых игр»

Позитивистские подходы	Интерпретативные подходы
Монадность социального мира Познание — постижение истины Знание зрителя	Плюрализм социального мира Познание — игра любопытства Знание участника

Как видно, качественные, интерпретативные подходы к анализу явлений социального мира отличаются от позитивистских по трем направлениям: научная метафора или грамматика языковых игр позитивизма помещает исследователя в позицию зрителя, постороннего наблюдателя, который хочет постичь «объективную» истину или же получить «правильное» теоретическое знание; при этом он исходит из представления социального мира как единообразной упорядоченной системы стабильных форм, т. е. как монады.

Современные непозитивистские подходы формируют другую установку: ученый, осуществляющий интерпретативный анализ, сам по себе является неотъемлемой частью мира и оперирует знанием участника всех социальных процессов — интуицией, практическим знанием того, как поступать в той или иной ситуации. Процесс научного познания движим не только и не столько прагматическим стремлением к «высшей истине» или универсальной теории, сколько внутренним человеческим интересом к конкретным явлениям, которыми исследователь «живет» сам, а не отчужденно наблюдает со стороны. При этом социальный мир предстает как разнообразная и многозначная совокупность часто неупорядоченных процессов, продуктов, явлений и свойств. В традиции интерпретативного анализа *номотетические* исследования всех качеств множества субъектов в определенный момент времени или же одного качества множества субъектов в течение какого-либо периода времени иногда уступают место *идиографический* исследованиям (ср.: *case-study)* всех качеств одного субъекта на протяжении его жизни [Du Mas 1955]. Это лежит в основе *биографического* метода [см.: Shotter 1993]. Так своеобразно порой решается проблема репрезентативности анализа.

Роль интерпретативных методов возросла в контексте постструктурализма и постмодернизма. Следует обратить внимание на прием *деконструкции*

48

Жака Деррида, хотя некоторые элементы этого метода легко найти в работах Ф. Ницше, 3. Фрейда, Ф. де Соссюра, В. Н. Волошинова и М. Хайдеггера. Деконструкцию можно определить как стратегию анализа, нацеленную на выявление присущего каждому тексту *бессознательного.* В сочетании с категориями *власти, знания* и *дискурса,* по Мишелю Фуко [1996b], деконструкция стала катализатором интерпретативных качественных методик.

Не следует абсолютизировать схемы — найдется немало ученых, иначе сочетающих принципы анализа в рамках собственной исследовательской позиции. И все же из сказанного выше нетрудно уяснить основные принципы качественных интерпретативных подходов, характерных для общей непозитивистской тенденции научного анализа в сфере современных социальных наук и принятых в данной работе в качестве философско-методологического основания дискурс-анализа.

* * *

Подводя итог первой главе, необходимо вспомнить с чего она начиналась — с характеристики новой *дискурсивной онтологии,* где роль главных сущностей отводится

речевым актам и *дискурсу,* локализованным в социально-психологическом, «человеческом» мире, а не в физическом пространстве и времени.

Экспансия естественнонаучной модели знания в социальные науки привела к забвению особенностей человека как объекта познания, обладающего сознанием. Новая дискурсивная онтология призвана вывести социальные науки из кризиса, а *феноменологическое* обоснование расширенного понимания научности обусловливает принципиальную возможность строгого анализа коммуникации — сложной конфигурации социально-психологических, языковых, имманентных и трансцендентных феноменов. В основе этого лежит понимание социального как конструируемого переживания интерсубъективности. Этому соответствует выделение языковой системы и языкового материала как «ментальных проекций», форм «присутствия» единственно данного в опыте феномена речевой деятельности [Щерба 1974]. Коммуникация при таком подходе понимается интеракционно, как конститутивный фактор социального процесса, и не может быть сведена к формам кодовой или логико-инференционной модели.

В условиях *дискурсивного переворота* обращение социальных дисциплин к языковому анализу повышает метанаучную роль лингвистики, особенно коммуникативной, причем последней самой необходимо отказаться от научных метафор, гипостазирующих (по Канту) язык и прочно встать на рельсы новой онтологии, так как ее предмет более не ограничен «языком в себе и для себя».

Глава 2. СОЦИОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИСКУРС-АНАЛИЗА

В научной картине мира, особенно в отношении анализа языкового общения, социологические и психологические теории приобретают повышенное значение, поскольку язык в широком смысле, как уникальный культурный институт, вобрал в себя и социальное, и психологическое, о чем, помимо Ф. де Соссюра, неоднократно писали И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский и др. А это предполагает обращение к таким вопросам, как дискурсивная проекция «Я» и межличностное взаимодействие, представление знаний в дискурсе, соотношение когнитивного, языкового, социального и т. д. При этом в многообразии социально-психологических теорий взаимодействия есть смысл сосредоточиться на тех, которые во главу угла ставят коммуникацию. В силу этого вне поля зрения остается ряд теорий, например психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда, подчеркивающая влияние детского опыта индивидов. Отметим, что в рассматриваемых ниже подходах употребление многих терминов, таких как *значение* и *смысл,* нередко отличается от лингвистического [ср.: Cronen e. a. 1990].

2.1. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ

Так, высвобождаясь
От власти малого, беспамятного «я»,
Увидишь ты, что все явленья —
Знаки,
По которым ты вспоминаешь самого себя,
И волокно за волокном сбираешь
Ткань духа своего, разодранного миром.
М. ВОЛОШИН. «Подмастерье»

2.1.1 Истоки и эволюция символического интеракционизма

Время зарождения символического интеракционизма относят к рубежу XIX и XX вв., точнее, к моменту публикаций «Принципов психологии» Уильяма Джеймса [James 1890], статьи о рефлекторной дуге Джона Дьюи [Dewey 1896], монографии Чарлза Кули «Природа человека и общественное устройство»
50
[Cooley 1902] и работ Джорджа Герберта Мида [Mead 1910], который систематизировал этот подход в годы работы в университете г. Чикаго (1893—1931), хотя сам термин *символический интеракционизм* был предложен учеником Мида Гербертом Блумером только в 1937 г.

Эта школа, впитав ряд положений бихевиоризма, своими корнями уходит в учения ранних американских прагматистов, в частности, Уильяма Джеймса [James 1907], Джона Дьюи и Чарлза Сандерса Пирса [см.: Blumer 1937]. Для Дьюи и Джеймса прагматизм был формой культурного критицизма. Эта прагматическая традиция критического анализа сохранилась и по сей день, выступая в качестве одной из важнейших интерпретативных философских позиций в современном гуманитарном цикле [см.: Denzin 1992: 131; Strauss 1993].

С момента своего возникновения символический интеракционизм характеризовался внутренним противоречием, обусловленным, с одной стороны, теоретической установкой на феноменологическую интерпретацию непосредственного опыта и субъективных переживаний человека (Ч. Кули и У. Джеймс), с другой стороны — стремлением к построению «объективной», т. е. без использования интроспективных методов, «подлинно научной» теории человеческого поведения (Дж. Г. Мид и Г. Блумер).

У Дж. Г. Мида, а затем и у Г. Блумера традиция символического интеракционизма все явственнее отходит от феноменологической интерпретативности У. Джеймса и Ч. Кули, смещаясь от психологического анализа к социологическому. Не случайно в теории Дж. Г. Мида особое место занимает биологическое понимание человека как продукта эволюции, что в дальнейшем практически выпало из поля зрения его последователей. Испытывая влияние натурализма Ч. Дарвина, Дж. Г. Мид и Г. Блумер стремились сделать это направление более *научным,* изучая образ «Я» как физический объект, хотя и без особого успеха.

В 70-х гг. Эрвин Гоффман [Goffman 1971; 1974] пытался возродить идеи У. Джеймса и

феноменологическую ориентацию интеракционизма, но позже отказался от этого. И тем не менее данная тенденция реализовалась в ***интерпретативном интеракционизме,*** играющем все более заметную роль в контексте постмодернизма [см.: Denzin 1989a; 1991].

Начавшись как разнородное, междисциплинарное, открытое по отношению к другим сферам знания движение, интеракционизм сегодня представляет собой пестрое (и теоретически, и географически, и хронологически) научное явление, поэтому приходится черпать информацию о нем как из классических работ, так и из современных вариаций в стиле постструктурализма и постмодернизма. Символический интеракционизм довольно часто подвергался нападкам [см.: Fine 1993], много раз сообщалось о его теоретической

51

кончине, но эти слухи, как водится, оказывались сильно преувеличенными. В наши дни свидетельством доброго здравия этого направления являются журналы *Symbolic Interaction* и *Studies in Symbolic Interaction,* а также представительные международные конференции и симпозиумы.

Теоретическими основаниями современного интеракционизма являются прагматизм, феноменология, конструктивизм и даже феминизм. Интеракционизм ныне предстает то как культурный романтизм, парадоксально смыкающийся с левым радикализмом, марксизмом и утопизмом [Mead 1934; Blumer 1969], то как структурная этнология в духе Э. Дюркгейма [Goffman 1974], то как анализ речевого общения [Strauss 1969; 1993; Maines 1989], структурные теории ролевого поведения и личности [McCall, Simmons 1978; Stryker 1980], формальные теории социальных процессов [Couch 1989], а также в качестве интерпретативных, критических, контекстуальных описаний [Denzin 1989a; 1989b; 1991; 1992; Fabermann 1989]. Бурно развивается критический психоаналитический феминизм [Clough 1992; 1994], стремящийся посредством изучения производства культурных смыслов связать символический интеракционизм с постструктурализмом [Barthes 1974, ср.: Леви-Строс 1985; Фуко 1996a; 1996b; Lévi-Strauss 1958; Althusser 1971; Foucault 1971; 1980] и поздним постмодернизмом [Lyotard 1984; Baudrillard 1988; Denzin 1991].

2.1.2 Интерпретативные установки интеракционизма

Итогом эволюции символического интеракционизма можно считать устойчивую *интерпретативную* тенденцию. В наши дни интеракционисты все чаще используют совокупность «мягких» интерпретативных методов и приемов качественного анализа, включая постмодернистские этнографические изыскания в русле современной антропологии, в некоторых случаях объединяющие элементы структурной, практической и семиотической этнографии, а также методы биографического исследования, более или менее традиционное интервьюирование, исторический анализ, лабораторные социологические исследования, конверсационный анализ и т. д. Вот что «приемлет» и «не приемлет» интеракционизм [Denzin 1995: 44—45]:

1. Интерпретативные (и символические) интеракционисты не верят в целесообразность общих теорий о строении общества и социальных функциях индивида. Они трактуют социум и интеракцию как постоянно возникающие, воспроизводящиеся феномены, где и осуществляются разнообразные формы социальных действий. Соответственно, интеракционисты изучают то, как люди строят, *конструируют* (преимущественно дискурсивно) собственные ситуативные версии общества.

52

2. Отвергая универсалистские теории социального, интеракционисты, как многие представители постструктурализма [Foucault 1971; 1980; Dreyfus, Rabinow 1982] и постмодернизма [Lyotard 1984], охотно принимают идею локальных исследований в виде небольших описаний совместной деятельности людей. Это может быть нарративное изложение небольшого события, его детальное этнографическое описание, биография, развернутое интервью, анализ текстов массовой культуры, заимствованных из фильмов, книг, прессы, поп-музыки и т. п.: [Shotter 1993].

3. Интеракционисты против теорий, стремящихся объективизировать и квантифицировать человеческий опыт. Со своей стороны, они предпочитают оперировать текстами, передающими непосредственность опыта людей.

4. Интеракционисты отказываются от экспорта в область социального естественнонаучных или экономических теорий, так как их модели не приспособлены к анализу реального опыта

живого, эмоционального взаимодействия людей. Интеракционизм обращается к изучению нарративов, считая, что именно они конституируют предмет анализа [см.: Josselson, Lieblich 1993].

5. Интеракционисты отвергают теории, игнорирующие историческое измерение. В то же время они не скатываются к историческому детерминизму. Лишь на микроуровне интеракционисты исследуют отношения неравенства и власти, проявляющиеся в ситуациях взаимодействия людей с различными статусными параметрами (этническая, половая, классовая принадлежность).

6. Интеракционисты «недолюбливают» теории, не уделяющие внимания биографиям и жизненному опыту взаимодействующих индивидов. Каждый индивид, по Сартру, — это «всеобщее единичное» [*universal singular* — Sartre 1976], в жизни которого воплощаются общие и частные черты исторической и культурной эпохи, вследствие чего «индивидуальное является одновременно и общим, общечеловеческим» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 207].

Завершая обзор методологических установок современного интеракционизма, особенно того, чего он *не* приемлет и чем *не* занимается, отметим, что, как правило, именно за это данное направление и подвергается критике (т. е. за отсутствие всего того, чем, как считают другие, необходимо заниматься: построением глобальной теории социального, исследованием отношений власти на макроуровне и т. п.). Интеракционизм критикуют также за «излишнюю когнитивность, неисторичность и аструктурность» [Reynolds 1990]. Нередко эта критика отражает простое недопонимание задач, целей и методов, принятых символическим интеракционизмом.

53

2.1.3 Принципы символического интеракционизма

В своей классической форме, в какой он предстал в работах Г. Блумера, символический интеракционизм построен на ряде принципов, которые представляют живой интерес для дискурс-анализа.

Во-первых, люди оперируют объектами исходя из того *значения* или *смысла,* которое они имеют для этих людей.

Во-вторых, эти культурные значения и смыслы вырабатываются в ходе социальной интеракции.

В-третьих, эти значения и смыслы меняются или пересматриваются в процессах интерпретации через опосредованное символами взаимодействие индивидов, способных к саморефлексии.

В-четвертых, люди сами создают, строят, «конструируют» опытные миры действования, в которых они живут.

В-пятых, значения и смыслы данных миров формируются в процессе интеракции под воздействием привносимых в эти ситуации саморефлексий и рефлексий индивидов.

В-шестых, взаимодействие людей со своим собственным «я» является неотъемлемой, органической частью взаимодействия с другими индивидами, оно тесно переплетается с социальной интеракцией и влияет на последнюю. Сама *символическая интеракция* — слияние «Я» и социальной интеракции — это главное средство, с помощью «которого люди способны формировать социальные или совместные действия» [*social, joint acts* — Blumer 1981: 153].

В-седьмых, эти социальные акты, их генезис, эволюция и отмирание, конфликт и слияние, конституируют то, что Г. Блумер называет «социальной жизнью человеческого общества», которое и составляется из *совместных действий,* осуществляемых членами данного общества [Blumer 1981: 153].

2.1.4 Проекции «Я» и личность

«Я» *(self),* «эго», связанное с разными проекциями *личности и идентичностью человека (identity),* представляет собой сложное, многоуровневое явление и предстает в разных формах. *Феноменологическое «Я»* описывает внутренний поток сознания человека в социальной ситуации. *Интерактивное «Я»* относится к той части образа себя, которая представлена во взаимодействии с другим человеком в конкретной последовательности социальных актов (например, *покупатель).*

«Я» может рассматриваться также как лингвистический, эмоциональный и символический

процесс. *Языковое «Я»* наполняет «пустые» дейктические элементы (личные местоимения, грамматические показатели лица, места, вре-
54
мени) значениями, носящими биографический, эмоциональный, истинно личный характер. *Материальное «Я»,* или образ себя как материального объекта, включает все то, что данный субъект называет «своим» в какой-либо момент времени [Denzin 1989b: 32], эта форма «Я» опредмечивается и может фетишизироваться в экономических отношениях. *Идеологическое «Я»* предстает в самом широком культурно-историческом значении, определяя разные роли индивида в конкретной социальной группе или ситуации (муж, либерал, босс). Идеология соотносит «воображаемые отношения индивидов с реальными отношениями, в которых они *живут* и которые регулируют их бытие. ...Идеология из отдельных конкретных людей делает субъектов» [Althusser 1971: 165, 171]. *«Я» как влечение* соответствует тому аспекту самовыражения «эго», который требует сексуальности, телесного присутствия Другого [Denzin 1989b: 32].

Все эти формы «Я» *проигрываются* в социальной интеракции и становятся частью биографии человека. Кроме этого, необходимо также учитывать специфику индивида как *нейрофизиологического* или *биологического* организма. Как это продемонстрировал в своем исследовании Аллан Шор [Schore 1994], индивидуальные характеристики нервной системы человека и особенности его физиологических процессов играют важную роль в формировании и развитии «Я» [см.: Carbaugh 1996: 4].

2.1.5 Личность, социальная структура, интеракция

В ответ на картезианское отделение индивида от социального порядка Ч. Кули разработал систему взглядов, интегрирующих личность, «Я» и общество: «Отдельно взятый индивид есть не что иное, как неизвестная природе абстракция, точно так же, как и общество немыслимо в отрыве от индивидов. *Общество* и *индивид* обозначают не отдельные явления, а просто общий и частный аспекты одного и того же» [Cooley 1964: 36]. По Кули, и общество, и «Я» встроены в социальную жизнь: «общество — это отношение, связывающее личные идеи» [Cooley 1964: 121]. По Миду, «Я» рассматривается социально, именно «с точки зрения коммуникации как самого существенного элемента социального устройства» [Mead 1934: 1]. В своей монографии Дж. Тернер [Turner 1988] дополняет идеи Мида взглядами Гоффмана, Гидденса и Хабермаса в постпарсоновской теории, интегрирующей «Я», социальное действие и интеракцию. ***Ход интеракции,*** ее «порядок» [*interaction order* — Goffman 1983] складывается под воздействием многих «естественных», воспринимаемых как само собой разумеющееся, динамичных, ситуативных, подлежащих взаимному обсуждению процессов [Garfinkel 1967]. Главным предметом обсуждения,
55
«переговоров» в интеракции являются разные аспекты личности и ее идентичность (*negotiation of personal identity*), или личностные смыслы «Эго» [Couch e. a. 1986: xxiii; Strauss 1969]. Эти аспекты личности могут быть личными (например, имена) социальными или структурными (статусные, позиционные роли), в диапазоне вышеописанных проекций «Я». Смыслы, присваиваемые разным аспектам личности *(meanings of identity),* локализованы в процессе интеракции, они возникают и меняются по мере того, как взаимодействующие индивиды определяют и обсуждают ход, цели и задачи конкретного эпизода общения. Интерактивные ситуации могут быть стереотипными, ритуализованными или проблемными. Особенно интересны ситуации, в которых нарушается привычный ход общения и происходит резкий пересмотр участниками собственных и чужих «Я».

Говоря о ***социальной структуре и социальных отношениях,*** интеракционизм отмечает, что интеракция всегда демонстрирует ситуативно обусловленную, накладывающую ряд своих ограничений структурированность, основанную на символах, обычаях, ритуалах, стереотипах и общепринятых смыслах. Все эти регулятивы вплетены в ткань социальных отношений и более сложных комплексов действий (см.: *ensembles of action* — [Sartre 1976]), объединяющих индивидов. Такие комплексы индивидуальных или коллективных действий овеществляются как интерактивные структуры, упорядоченные рекуррентные схемы мышления, деятельности и интерпретации. Нередко они кодифицируются в нормативных актах и правилах. Они предоставляют лишь контуры взаимодействия и связанного с ним переживания, лишь форму, которую участники общения должны наполнить содержанием — интенциями, опытом,

конкретными действиями [Simmel 1909]. Различаются комплексы индивидуальных и коллективных действий, при этом всегда необходимо учитывать разные формы объединения людей: от случайных ассоциаций и малых групп разного рода до организованных институциональных структур и больших социальных классов.

2.1.6 Интеракционизм, коммуникация, культура

Взгляд на *коммуникацию* как *культуру* [Carey 1989; Denzin 1995: 46] указывает на отношение, объединяющее различные информационные средства и структуры, коммуникативные системы, формы культуры и идеологии соответствующего исторического периода времени и реальный жизненный опыт, переживания участников интеракции [ср.: Cooley 1964; Couch 1990; Dewey 1927; Park 1950]. Коммуникация неотделима от процессов формирования и передачи культурных смыслов [Carey 1989: 64; Park 1950: 39; ср.: Darrt 1991; Bonvillain 1993; Hanks 1996]. Эти смыслы всегда сим-
56
воличны. множественны и постоянно транслируются, циркулируют в социуме по различным каналам прямой и опосредованной коммуникации [Carey 1989: 64—65].

Личностное и социальное сообщаются в символической интеракции в мире «культурных смыслов». Во многом эти *смыслы* определены идеологией и структурой власти (подчинения) существующего социального порядка. Они всегда циркулируют по коммуникативным системам различных уровней. Сообщения, передаваемые с их помощью, имеют особую структуру и помечены семиотическим кодом, придающим всем «достойным внимания» сообщениям «ауру» политических, социальных или исторических смыслов. Они приходят к нам проинтерпретированными, перенасыщенными значениями [Baudrillard 1988] и определяют структуру повседневной деятельности [Lefebvre 1984].

С точки зрения анализа ***языковой коммуникации*** важной идеей Дж. Г. Мида, а еще раньше — Ч. Кули, стал вывод о том, что разные аспекты индивидуального опыта и поведения обусловлены принадлежностью человека к социальной группе, которая сегодня выступает как средоточие коммуникативных отношений [*communicative nexus* — Watson 1995: 520].

Именно это положение было охотно подхвачено социальными науками и лингвистами. По Миду, язык (в широком смысле, как речевая деятельность) — это особая форма поведения, причем язык принципиально не рассматривается как всего лишь «проводник», обслуживающий другие формы поведения, и тем более — как пассивное, застывшее отражение действительности.

Обратив наше внимание на язык как на специфический объект научного познания, Дж. Г. Мид предвосхитил *дискурсивный переворот* в развитии многих человековедческих наук последней четверти XX в. Язык и вербальные сообщения рассматриваются им как окно во внутренний мир человека, мир его социальности. Однако ни Мид, ни его непосредственные последователи так и не сумели создать модели языка, приемлемой для лингвистики и теории коммуникации. Бихевиористское понимание знака и знаковости, оставшееся глухим к семиотике Ч. С. Пирса, дало интеракционистам слабую теорию символического и не смогло обеспечить совместимость интеракционизма с радикальной семиотикой языка, восходящей к Ф. де Соссюру. Сказался и значительный социологический крен символического интеракционизма после Г. Блумера, который, хоть и признавал, что язык не может быть «нейтральным», беспристрастным проводником идей и что язык формирует повседневные и даже научные интерпретации человека, все же не поднялся (или не опустился — наглядный пример того, как язык «конструирует» точку зрения) до изучения самого языка. Одной из немногих работ интеракционистов, обратившихся к собственно лингвистическому анализу, оказалось классиче-
57
ское исследование Ансельма Л. Стросса [Strauss 1969], посвященное использованию в социальной интеракции имен, с помощью которых люди оценивают друг друга и стратифицируют социум.

Пожалуй, больше других символических интеракционистов проблемами языковой коммуникации занимался Эрвин Гоффман ср.: Goffman 1974; 1981; 1983; Schegloff 1988; Verhoeven 1993: 318]. Не сразу он пришел к осознанию тщательного анализа языка — его *ироничный* метод и полная многозначности и неопределенности теоретическая система менялись с годами. По мере своей научной эволюции Э. Гоффман все больше отходил от социодраматической концепции, навеянной «драматургическим анализом» Кеннета Берка

[Burke 1965]. У Э. Гоффмана речь «встроена» в широкий интерактивный контекст, хотя в анализе она предстает просто как последовательность высказываний [Goffman 1981: 78—123]. В итоге он так и не добился того самодостаточного уровня лингвистического анализа, когда язык и дискурс фигурируют как главные объекты знания, обладающие собственной феноменологической цельностью.

Классический символический интеракционизм, как и современный интерпретативный, помимо своего внутреннего теоретического многообразия отличается восприимчивостью к идеям и методикам других дисциплин, поэтому практически невозможно говорить о «чистой» его традиции, что оценивается и как недостаток, и как достоинство данного направления, главной заслугой которого здесь предлагается считать непозитивистский, интерпретативный подход к изучению коммуникации в широком социально-интерактивном контексте — как основополагающей символической деятельности, продуктом которой являются языковые, культурные и социально-психологические сущности.

2.2. КОНСТРУКТИВИЗМ

Troubles are only mental; it is the mind that manufactures them, and the mind can forget them, banish them, abolish them.

M. TWAIN, «Which Was It?»

В предыдущем параграфе одним из теоретических оснований современного интерпретативного интеракционизма был назван *конструктивизм,* который интересен синтезом когнитивных и интеракционных подходов к проблемам коммуникации.

58

2.2.1

Конструктивизм: философские основания и истоки

Конструктивисты принципиально строго разграничивают *философию науки* и *философскую антропологию* [Delia 1977; O'Keefe 1975]. Философия науки следует в русле предложенного Ф. Зуппе анализа мировоззренческих систем *Weltanschauungen* [Suppe 1977], ставшего реакцией в духе скептицизма на рост логического позитивизма и эмпиризма [Polkinghorne 1983].

Позитивизм сводит науку, включая социальную, к дедуктивному, эмпирическому и объективному процессу, который в итоге должен раскрыть абсолютные истины и законы, правящие изучаемым объектом и исчерпывающе объясняющие его свойства. В отличие от позитивизма принцип *Weltanschauungen* определен тезисом об относительности знаний: «абсолютной точки зрения на объект не может быть вне исторической и культурной ситуации, в которой находится исследователь» [Polkinghorne 1983: 103].

Научное познание было и остается человеческой деятельностью, протекающей в широком социальном и культурном контексте, следовательно, научность нельзя отождествлять лишь с логической дедукцией *вечных* истин, для конструктивистов научное познание представляется прежде всего процессом понимания и интерпретации. Их эпистемология считает, что знание создается и поддерживается *социально,* но для его постижения необходимо обратиться к реальности отдельно существующих человеческих существ [Nicotera 1995:46].

Философская антропология конструктивистов или, проще говоря, их взгляды на природу человека, характеризуется интерпретативной ориентацией. «Человеческий опыт жизни включает постоянно развивающееся отношение, объединяющее личность и мир, познающего и познаваемое. *Чистых фактов* не существует вне этого опыта» [Delia, Grossberg 1977: 32]. В отличие от позитивизма, для конструктивизма нет «объективной реальности», отдельной от наблюдателя. Предпосылки объективности заключаются в «исторически складывающихся в определенных сообществах людей способах рассуждения... Факт, значение, смысл сосуществуют в сложной, плотно переплетенной ткани вечно продолжающегося процесса неабстрагированного интерпретативного понимания» [Delia, Grossberg 1977: 33].

Таким образом, конструктивизм исходит из того, что действительность создается или «конструируется» социально, а интерпретируется индивидуально, т. е. действительность не может существовать вне человеческой перцептивности и когнитивности, отдельно от них. Не факты, а конструкты формируют знание о *внешнем* мире. Следовательно, каждый индивид действует исходя из обусловленных контекстом интерпретаций.

59

Человек — это прежде всего интерпретирующее существо. Действительность конструируется социально, в процессе своего генезиса объединяя интерпретативную активность индивида с

исторически сложившимися контекстами и динамикой социума. Индивид является в мир, наполненный смыслами и значениями творческой деятельностью сообщества, сконструировавшего свою социальную реальность. В процессе социализации индивид усваивает принадлежащий данному социуму «универсум общих смыслов» *(universe of shared meaning),* начинает собственную интерпретативную деятельность и адаптируется к социальной действительности внешнего мира.

Помимо своей философской базы, конструктивизм впитал в себя влияние сразу нескольких теоретических традиций: когнитивной психологии Дж. Келли, учения об эволюции организма Г. Вернера и интеракционизма Г. Блумера [Nicotera 1995: 47—48]. Когнитивная психология помогла построить теорию конструктов как базовых механизмов, соединяющих поведение с мышлением. Теория Вернера объясняет, как индивидуальная система конструктов меняется и обогащается в процессе социализации. Не случайно теорией когнитивного развития личности конструктивисты дополняют символический интеракционизм Блумера. Чтобы увидеть коммуникацию с позиций конструктивизма, «когнитивное развитие не должно быть отброшено от изучения социокультурного понимания коммуникативных событий» [Clark, Delia 1979: 189].

2.2.2 Интерпретативность и действие

Анализ интерпретативности опирается на индивидуальные системы конструктов (минимальные единицы смыслообразования). «Посредством применения когнитивных схем, поток опыта делится на значимые фрагменты и интерпретируется, создаются и интегрируются верования, мнения и знания о мире, структурируется и контролируется поведение» [Delia e. a. 1982: 151].

Общими единицами когнитивной организации конструктивисты считают *интерпретативные схемы,* иначе говоря, модели интерпретации, осмысления более крупных фрагментов опыта. Эти схемы обеспечивают нечто большее, чем просто категоризацию (в отличие от элементарных конструктов): они помещают интерпретируемое событие в более широкий контекст, со всеми присущими последнему смыслами и ожиданиями. Когнитивная организация рассматривается как биологический процесс, организующий опыт человека и направляющий его действия. Когнитивные репрезентации мира обычно обрабатываются на подсознательном уровне.

Социальные аспекты личности воспитываются в культурном контексте. Индивиды взаимодействуют с себе подобными и тем самым развивают свои
60
способности к интерпретации. Конструктивизм трактует *культуру* как трансцендентный исторический процесс смыслообразования, обеспечивающий готовыми значениями и символами интерпретирующих индивидов. В ходе социализации индивидуальные системы конструктов плавно приводятся в соответствие с системой социокультурных смыслов. Индивиды формируют свои интерпретативные схемы главным образом «посредством общения с и приспособления к обладающему своими смыслами большому и устойчивому социальному миру, в котором они родились» [Delia e. a. 1982: 155].

Интерпретативные схемы помогают формировать интенции и мнения (конечно, обусловленные контекстом), направляющие ***действия*** людей. Интерпретативные схемы, позволяя осмыслить ситуации, способствуют выработке альтернативных способов осуществления этих действий и реализации интенций. Индивид выбирает тип действия и способ его осуществления из ряда альтернатив. Это называется *стратегией,* причем множественные цели могут потребовать множества стратегий (что нередко происходит в действительности). Понимаемая таким образом стратегия не предполагает сознательного планирования [Delia e. a. 1982].

Поскольку интенции нацелены в будущее, выбор стратегии зависит от прогностических представлений индивида о будущем, которые основаны на его прошлом опыте и осмыслены посредством интерпретативных схем. Новый опыт — результат действия как бы проверяет соответствие прогноза реальной действительности, в соответствии с чем индивид верифицирует и/или модифицирует данную схему интерпретации. Будущие решения учтут успех или неуспех настоящего выбора. «Так в каждом акте сходятся прошлое, настоящее и будущее» [Delia e. a. 1982: 156].

2.2.3 Интеракция и коммуникация

Изложенный взгляд на акциональность человека определяет особое место ***социальной интеракции*** в теории конструктивизма. «Мы рассматриваем интеракцию как процесс, в котором личности координируют соответствующие линии действий посредством применения общих схем организации и интерпретации действий» [Delia e. a. 1982: 156]. То, что понятию *координация* конструктивисты отводят важную роль, сближает их с ***теорией координированного управления смыслом*** *Б.* Пирса и В. Кронена [*the coordinated management of meaning theory* — Pearce, Cronen 1980; Cronen e. a. 1988;

1990].

Интерпретативные схемы делятся на общие и частные. Общие схемы — это универсальные механизмы вроде правил мены коммуникативных ролей. Частные интерпретативные схемы регулируют координацию конкретных типов действий. Они называются *организующими схемами* и обеспечивают

61

координацию действий в разных типах деятельности, обычаях, ритуалах и социальных институтах. Эти схемы тяготеют к уровню подсознания, всегда социальны и определяют одни акты относительно других. Они обеспечивают уместность и связность как средства координации *(coordination devices).*

Однако процесс интеракции не прост, хотя бы уже потому, что разные люди не обладают идентичными интерпретативными схемами. Им, как правило, приходится координировать свои действия, имплицитно договариваясь об упорядочении схем. Это очень важный момент: социальная действительность создается в ходе неявных «переговоров» *(negotiations)* и демонстрации принятия или непринятия упорядоченной схемы. Образы реальности меняются в процессе общения. В ходе переговоров об упорядочении схем интеракции и создается «общая социальная реальность» [*shared social reality*].

Наконец, последняя, четвертая сфера теоретической системы конструктивизма — ***коммуникация****,* одна из частных категорий социальной интеракции. Она определяется как такая интеракция, где в фокусе координации оказываются коммуникативные интенции, так как именно они являются отправным пунктом всего процесса общения, выражая внутренние состояния людей. Вывод: в коммуникации стратегии каждого индивида направляются как его собственным внутренним состоянием, так и представлением о внутренних состояниях Других. Коммуникация характеризуется намерением каждого участника выразить Себя, собственное «Я», признанием Другими этого намерения, организацией действий (индивидуальных актов) и взаимодействия (социальной интеракции) в соответствии с этими взаимонаправленными интенциями. Чтобы лучше понять коммуникацию с позиций конструктивизма, «когнитивное развитие не должно быть отброшено от изучения социокультурного понимания коммуникативных событий» [Clark, Delia 1979: 189].

Коммуникация не синонимична интерпретации, действию или интеракции. Скорее всего, она рассматривается как частный случай интеракции, опирающейся на фундамент интерпретации, предполагающей координацию действий и процессы организации взаимодействия, а также удовлетворяющей разные потребности выражения внутренних состояний участников общения [Nicotera 1995: 58].

В целом, конструктивизм предстает как сбалансированное направление, главным звеном которого является *когнитивное* представление значения и смысла. Для сравнения: этнографическая теория коммуникации Джерри Филлипсена и др. [*ethnographic communication theory* — Philipsen 1987; 1989] исходит из *поведенческого* представления смысла; а теория правил межличностных отношений Доналда Кушмена [*the rules theory of interpersonal relationships* —

62

Cushman 1990; Cushman, Cahn 1985; Cushman, Kovacic 1994] основана на *интеракционном* понимании смысла.

Поведенческое представление смысла позволяет установить отношение между тем, что люди говорят, и тем, что они делают (в терминах культуры); зато труднее связывает индивидуальные интерпретации и взаимодействие. Главной идеей интеракционного представления служит роль «общих смыслов» *(shared meanings)* в интерпретации сообщений, но этот подход оставляет без внимания проблемы индивидуальных смыслов. Когнитивное представление значения дает возможность изучить природу индивидуальных интерпретаций, но не объясняет природу связи между индивидуальными интерпретациями и поведением, ведь действия людей не всегда обусловлены их индивидуальными смыслами.

К сожалению, объяснительный потенциал конструктивизма ограничен когнитивной интерпретацией индивида. Другим замечанием в его адрес является сложность верификации существования когнитивных структур. Еще одно критическое замечание касается некоторой непоследовательности авторов в теории и методологии, определении границ и методов познания, типов рассуждения и т. д. [Nicotera 1995: 61]. Своими философскими корнями конструктивизм восходит к метафизике Канта, техническими корнями — к кибернетике, что во многом объясняет его склонность к неопозитивизму.

2.3. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКЦИОНИЗМ

I am firm.
You are obstinate.
He is a pig-headed fool.
B. RUSSELL

Приведенный выше в качестве эпиграфа образец спряжения «по Б. Расселу» довольно удачно и емко отражает глубинную суть *социального конструкционизма,* который предстает скорее в форме научного принципа, точки зрения на социально-дискурсивный мир, чем полномасштабной самостоятельной теории: высказывания — это не просто слова или речевые акты, это «кирпичики», из которых складываются социальные отношения, образы «себя» и «других», различные аспекты личности, воссоздаваемые и проживаемые в каждом коммуникативном акте. За парадигмой лица в данном эпиграфе стоит парадигма социальных отношений личности.

63

2.3.1 Социальный конструкционизм в системе наук

В сфере социальных наук, в том числе и лингвистике, не случаен «модный» интерес к проблемам языковой личности [ср.: Богин 1985; Сухих 1989; Пушкин 1989; 1990; Клюканов 1990; Караулов 1987; Архипов 1996; Арутюнова 1998; Shotter, Gergen 1994; Fitzgerald 1993; Charnes 1993; Keith, Pile 1993; Lorraine 1990; Stein, Wright 1995; Taylor 1989; Gergen 1991; White 1992]. *«Я», Эго* все чаще рассматривается не как заданная величина, а как *коммуникативно* (дискурсивно и интерактивно) конституируемая сущность, зависящая от многих исторических и социально-культурных условий общения и деятельности.

Как замечает в своем любопытном социальном комментарии Кеннет Джерджен [Gergen 1991], общество постмодерна настолько насытило «Я», что его содержание подверглось эрозии. Вследствие этого возникла реальная угроза самому существованию категории «Я», игравшей важную роль, по крайней мере в «западной» культуре, на протяжении почти трех веков от эпохи романтизма до современности [Carbaugh 1996: 7].

В 2.1.4 перечислены различные проекции личности, «Я» как элементы социальных отношений. Более традиционные подходы объясняют реализацию социальных отношений в речи и языке с помощью *принципа отражения.* Социальный конструкционизм, наоборот, утверждает, что и отношения, и проекции «Я» в речи и языке *конструируются,* а не отражаются. В этом искушенному лингвисту послышатся сдобренные оттенками постмодернизма отголоски гипотезы Сепира—Уорфа и неогумбольдтианства Л. Вайсгербера, в том смысле, что язык получает конститутивный статус, способность активно воздействовать на поведение и мышление людей,— о чем писал и В. фон Гумбольдт, в частности, характеризуя представление языка как «энергейи», жизни духа и порождающего процесса. Уходя от привычной метафоры «языка как инструмента», Р. Лаков утверждает: «Language uses us as much as we use language» [Lakoff 1975: 45; ср.: Аринштейн 1996: 29—30].

Таким образом, личности и человеческие сообщества — не априорные величины, они конституируются в процессе общения, во-первых, дискурсивно, во-вторых, интерактивно [Mokros 1996: 5]. Дискурсивное «построение» предполагает влияние социокультурных знаний на социальные практики. В этом отношении дискурс идентифицирует потенциалы выражения, направляющие агентивность человека, и обозначает рамки, ограничивающие сферу «построения» и интерпретации индивидуальных и коллективных «Я». Это направление разрабатывается в теории *социального конструкционизма* [см.: Pearce 1994a; Burr 1995; Powers 1994 и др.]. В этом случае на первый план выходят социальные условия, воплощенные средствами дискурса, а не «прожитые

64

моменты социальной интеракции» [Pearce 1994b; см.: Бергер, Лукман 1995; Lincoln 1989; Gee 1996].

Человеку непосвященному, читая теоретические выкладки о конструктивизме и конструкционизме *(constructivism* vs. *social constructionism*), легко ошибиться и все перепутать. Хотя всякое упрощение опасно и часто некорректно, можно сказать, что конструктивисты преимущественно рассматривают коммуникацию как *когнитивный* процесс (*по*)*знания* мира, а вот социальные конструкционисты — как *социальный* процесс *(построения* мира. Конструктивизм на первое место выводит *восприятие*, *перцептивность,* а социальный

конструкционизм — *действие, акциональность,* если, конечно, не относиться ко всем этим терминам как взаимоисключающим понятиям [Pearce 1995: 98].

Социальный конструкционизм, которому сегодня уже около трех десятилетий, является одним из подходов к теоретическому пониманию и практическому анализу процессов коммуникации. В последнее время это направление явно «пользуется спросом» [см.: Pearce 1994a; Powers 1994; Burr 1995], причем оно в высшей степени востребованным оказалось в философии, социологии, политологии и ряде других социальных наук.

Хотя социальный конструкционизм — это относительно новое течение, оно возникло не на пустом месте. Большинство авторов, работающих в этом направлении, находятся в оппозиции к позитивизму и сциентизму. С интеракционизмом их объединяет общая прагматическая традиция. В отличие от символических интеракционистов, социальные конструкционисты занимаются формулировкой философских аргументов в пользу дискурсивного основания «Я». Их можно назвать ревизионистами в том смысле, что они не создают собственной всеобщей теории (в отличие от интеракционизма), а лишь пересматривают другие дисциплины и учения в свете главного постулата о социально-дискурсивном происхождении «Я», теоретизируя о серьезных последствиях принятия данного постулата, в частности, философией, теорией литературы, филологией и психологией [Carbaugh 1996: 6].

Социальный конструкционизм вряд ли можно упрекнуть в увлечении четкими определениями, столь же трудно назвать его стройным учением и единой школой [Pearce 1995: 89]. В 1992 г. Р. Бернстайн предложил метафору «констелляции» *(constellation)* для осмысления социальных теорий эпохи постмодерна: мы более не в состоянии привести все взгляды к общему знаменателю, снять все нюансы и противоречия [Bernstein 1992: 8]. Теории существуют как размытые совокупности идей в многообразии методов и практик анализа. Этот образ будто был списан с социального конструкционизма.

65

Особо рассматривая социальный конструкционизм в рамках традиции философского прагматизма, В. Кронен [Cronen 1996] выделяет следующие пять принципов:

1. Коммуникация — это первичный социальный процесс. Коммуникация не «обслуживает» какую-то другую деятельность, она не рассматривается как средство для выполнения других задач, внешних по отношению к ней, или как второстепенный процесс, протекающий *на фоне, до, после* или *вне* другого, более важного действия.

2. Первичным объектом для наблюдения, единицей анализа являются «люди в разговоре», по выражению Р. Харрэ [*persons in conversation* — Harré 1984]. В. Кронен добавляет, что «люди в разговоре» представляют собой одну единую сущность, а не три дискретных объекта, как может показаться (один человек плюс другой человек плюс разговор между ними).

3. Социальные действия регулярно характеризуются присущей только им развивающейся рациональностью или, в терминах Л. Витгенштейна, «грамматикой», организующей их внутренне.

4. Социальный конструкционизм стоит на позициях реализма, но не объективизма. Общающиеся люди рассматриваются как живые, телесные, материальные сущности, принадлежащие «внешнему» миру, миру «вещей».

5. Фактическая достоверность возможна лишь в пределах «грамматики» какой-то языковой игры (по Л. Витгенштейну), как постижение единственно данного «опыта» (в смысле Дж. Дьюи) — но не в форме универсальных, обобщающих суждений или интернализованных когнитивных сущностей.

2.3.2 Социальный конструкционизм и речевое общение

Дж. Шоттер и К. Джерджен [Shotter, Gergen 1994: 14—24] взяли на себя труд сформулировать программные тезисы об отношении социального конструкционизма к проблемам языка и речевой коммуникации:

1) сообщения о «действительности» возникают в развертывающемся во времени свободном потоке непрекращающейся коммуникативной активности человеческих сообществ;

2) высказывание приобретает смысл только как конститутивная часть развивающегося диалога; отдельно взятое высказывание не имеет смысла;

3) ответные высказывания создают все новые смыслы и обусловливают дальнейшее развитие диалога, постоянно изменяя контекст разговора;

4) только с привлечением категорий *социолект, речевые жанры* и т. п. можно объяснить,

как соответствующие дискурсы обеспечивают функционирование социальных групп в качестве динамических реляционных целостных
66
сущностей, поведенческих идеологий, «которыми живут» *(behavioral and lived ideologies);*

5) по мере того как лингвистически координированные социальные отношения становятся «историей» и затем упорядочиваются или ранжируются, появляются «официальные» версии описания мира и собственных «Я», т. е. локальные дискурсивные онтологии и социальные санкции для их поддержания [ср.: Баранов, Сергеев 1988а];

6) локальные онтологии и системы морали в «западной» культуре отводят приоритетную роль индивидуальности;

7) *психологическая* речь, которая предположительно ведется *о* наших *восприятиях, воспоминаниях, мотивах, суждениях,* не выражает некой существующей вне момента высказывания внутренней реальности ментальных репрезентаций, она заключается в самих этих сообщениях, формулируемых в зависимости от позиции говорящего в коммуникативном контексте.

Итак, социальные подходы к изучению межличностного общения, объединяет, во-первых, признание социально конструируемой реальности; во-вторых, стремление к «мягкой» рефлексивной исследовательской позиции; в-третьих, акцент на изучении социокультурных, а не индивидуальных факторов; в-четвертых, анализ символов [Leeds-Hurwitz 1992: 131—132]. Эти положения социального конструкционизма созвучны дискурсивной онтологии. Принцип дискурсивного «построения» социального мира использован некоторыми другими теориями, в частности, теорией социальных представлений, о которой речь пойдет ниже.

2.4. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

The word 'social' was meant to indicate that representations are the outcome of an unceasing babble and a permanent dialogue between individuals, a dialogue that is both internal and external, during which individual representations are echoed or complemented.

S. MOSCOVICI [1984a: 951]

2.4.1 Социальные представления: история и определение

Если символический и интерпретативный интеракционизм все-таки больше тяготеет к социологии, то теория социальных представлений претендует на статус *психологической теории социального* [Flick 1995a], обращенной к ряду социальных феноменов: идеологиям, коллективным представлениям и воспоминаниям, социальному и
67
культурному конструированию индивидуальных и коллективных «Я» [см.: Донцов, Емельянова 1987]. Теория социальных представлений разрабатывает модель социальных знаний, их конструирования, преобразования и распределения в коммуникативных и интерактивных процессах, описывает функции опыта и знаний в социальной практике [Flick 1995b: 70].

Понятие *социальные представления* ввел в научный оборот Серж Московичи в начале 60-х годов в работе, посвященной реакции населения Франции на популяризацию идей психоанализа в середине прошлого столетия. Симптоматично, что эта пионерская работа обратилась к использованию обширного языкового материала: 1610 статей из 210 журналов и 2200 анкет [ср.: Moscovici 1976: 30 и сл.; Lahlou 1996].

Поначалу это направление было сосредоточено на изучении социальных форм представления *научного* знания [Moscovici 1976; 1995]. Позже круг интересов и объяснительный диапазон теории были расширены, и сегодня она воспринимается как учение о социальном опыте и знании, его конструировании, динамике и роли в общественной практике в целом [Flick 1995b: 70].

Исторически данная теория восходит к разграничению индивидуальных и коллективных представлений в социологии Эмиля Дюркгейма [1995: 208— 243; Durkheim 1912; ср.: *социальный ум* — Тард 1996: 112-158]. Он был «первым, кто обратил внимание на важную роль коллективных представлений в структуре нашего языка, наших институтов и обычаев, в то же время показав, насколько этот набор представлений составляет социальную мысль в дополнение к мысли индивидуальной» [Moscovici 1984a: 942]. С тех пор и в языке «мы различаем как индивидуально-психическое, так и *коллективно-психическое...* (курсив мой. — *М. М.*)» [Бодуэн

де Куртенэ 1963, II: 163].

Другим автором, предвосхитившим появление теории социальных представлений, сам С. Московичи называет Жана Пиаже, чья психология показала, как дети используют разные формы знания в процессе построения «своего мира» и осмысления действительности.

Третий источник: интеграция психоаналитической идеи Зигмунда Фрейда об *интериоризации,* объясняющей, как «содержание наполняет реальностью образы и символы, которые оставляют свой след в нашей жизни с самого детства» [Moscovici 1984a: 944].

Таким образом, от Э. Дюркгейма было унаследовано понимание роли знаний и представлений как *коллективных (социальных)* явлений, от Ж. Пиаже — аспекты *социального конструирования* значений и действительности, а от З. Фрейда — процесс, посредством которого *внешние* реалии из окружения человека становятся частью его *внутреннего* мира и мировоззрения.

68

С 1960-х годов теория социальных представлений фактически была и остается ведущей парадигмой в социальной психологии Франции, Италии, Испании, Португалии и Латинской Америки. В середине 80-х гг. интерес к этому направлению возникает и на Британских островах, где разгорелись академические дискуссии по его поводу [Billig 1988; McKinlay, Potter 1987], а позже — в ФРГ, США, Канаде, Австралии [см. обзоры: Breakwell, Canter 1993; Cranach e. a. 1992; Cranach 1995; Flick 1993; 1994; 1995a; 1995b; 1995c; Jodelet 1989 и др.].

Пожалуй, наиболее часто цитируемое определение данного понятия принадлежит Д. Жоделе: «Категория *социальное представление* обозначает специфическую форму познания, а именно, знания «здравого смысла», содержание, функции и воспроизводство которых социально обусловлены. В более широком плане социальные представления — это свойства обыденного практического мышления, направленные на освоение и осмысление социального, материального и идеального окружения... они обладают особыми характеристиками в области организации содержания, ментальных операций и логики. Социальная детерминированность содержания и самого процесса представления предопределены контекстом и условиями их возникновения, каналами циркуляции, наконец, функциями, которым они служат во взаимодействии с миром и людьми» [Jodelet 1984: 361—362; Донцов, Емельянова 1987: 33—34].

Социальные представления выступают как общий для членов социума интерактивно воспроизводимый процесс понимания явлений и способ коммуникации по их поводу [Flick 1995b: 74—75]. С. Московичи рассматривает *социальные представления* как сложную многоуровневую «систему действий, идей и ценностей, выполняющую двуединую функцию: во-первых, установить порядок, позволяющий индивидам ориентироваться в материальном и социальном мире и воздействовать на них; во-вторых, обеспечить членам сообщества возможность общения, снабдив их кодом для социальных обменов, наименования и классификации различных аспектов жизни, индивидуальной и групповой истории» [цит. по: Flick 1995b: 74]. Чтобы «превратить незнакомое в знакомое» [Moscovici 1984b: 24], важны два процесса: *анкоринг* («заякоривание» — англ. *anchoring,* фр. *anchorage)* и *объективизация (objectification).*

2.4.2 Анкоринг

Этот механизм служит для того, чтобы «поставить на якорь» странные идеи, свести их к привычным категориям и образам, поместить их в уже знакомый контекст [Moscovici 1984b: 29]. Действие силы, с помощью «которой народ подводит все явления душев-

69

ной жизни под известные общие категории», Бодуэн де Куртенэ [1963, I: 58] сравнивал «с силою тяготения в планетных системах».

Суть данного процесса заключается в интегрировании новых феноменов — впечатлений, отношений, объектов, действий — в рамки уже существующего мировоззрения и известных категорий, что позволяет сократить до минимума пугающее воздействие всего нового, неизвестного [ср.: *uncertainty reduction theory* — Berger, Bradac 1982; Berger 1996; *anxiety-uncertainty management theory —* Gudykunst 1985; 1997; Gudykunst e. a. 1985].

«Адресом» мыследеятельности в этом процессе выступают заданные категории, в структуру которых вписываются новые феномены, а также прототипы категорий, с которыми эти феномены сравниваются. Для их классификации используются две стратегии: от частного к общему и от общего к частному. В первом случае различия между феноменом и прототипом

категории снимаются посредством абстрагирования от частных характеристик данного феномена: «каждый человеческий ум систематизирует, обобщает» [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 206]. Во втором случае подчеркиваются несоответствия между феноменом и его прототипом с целью выявления того дифференциального признака, который и формирует данное отношение.

«Заякорить» — это значит какое-то явление «классифицировать и дать ему имя» [Moscovici 1984b: 32], что имеет следующие последствия:

(а) получив свое имя, человек или предмет может быть описан и наделен определенными характеристиками, качествами, тенденциями и т. д.;

(б) благодаря этим характеристикам и тенденциям данный человек или предмет отличается от массы других;

(в) он уже становится объектом конвенции среди тех, кто принимает и разделяет эту конвенцию [Moscovici 1984b: 34].

Последний аспект подчеркивает конвенционализацию опыта в качестве коллективной сущности, что отличает анкоринг от когнитивных моделей категоризации, классификации или типизации. Именно об этом пишет Майкл Биллиг «Существует принципиальное отличие двух подходов: когнитивного и социальных представлений. Социально-когнитивные психологи обычно рассматривают категоризацию в плане индивидуального функционирования. Теория социальных представлений изучает именно социальное функционирование анкоринга. Объект представления — социальный объект, анкоринг вовлекает индивида в мир культурных традиций группы, одновременно меняя эти традиции. В определенном смысле представления происходят из жизни групп» [Billig 1988: 6]. Здесь в неявной форме содержится еще одно отличие от когнитивного процесса классификации: анкоринг — процесс, в ходе которого значения и смыслы интерпретативно приписываются, предицируются

70

феноменам [см.: Jodelet 1989]. По Московичи, без этого не бывает ни восприятия, ни мыследеятельности. По мере интеграции новых знаний, явлений и объектов в структуру существующих категорий, последние меняются и обновляются. Процесс конструирования и классификации явлений не ограничен рамками одного индивида: он имеет социальную природу [Flick 1995b: 76].

2.4.3 Объективизация

Второй механизм превращения незнакомого знания в будто бы знакомое сводится к преобразованию абстрактного в «нечто почти конкретное», т. е. к перенесению того, что мы держим «в уме», на какой-либо объект во внешнем физическом мире [Moscovici 1984b: 29]. М. Биллиг лаконично передал его суть: «перевод эзотерической научной теории в обыденную речь» [Billig 1988: 7]. Этот процесс обычно активнее, чем анкоринг [ср.: Баранов, Сергеев 1988a].

По С. Московичи, процесс объективизации осуществляется в следующем порядке: сначала «извне» поступает иконическая сущность неясной идеи или предмета, и концепт переходит в образ; затем они соотносятся со структурой «фигуративного ядра» *(a pattern of figurative nucleus)* — комплексом образов, символизирующим комплекс идей [Moscovici 1984b: 38], или «прототипом».

Центральными компонентами процесса объективизации являются отбор и деконтекстуализация элементов теории, формирование *фигуративного ядра* и *натурализация* его компонентов, что имеет два главных следствия. Во-первых, абстрактное низводится до конкретного, и «то, что *воспринимается,* замещает то, что мыслится» [«what is *perceived* replaces what is conceived» — Moscovici 1984b: 40]. Во-вторых, как только *фигуративное ядро* входит в сферу нашего повседневного знания, мы вольно или невольно стремимся подтвердить его, стараемся приладить эту схему к новым действиям и восприятиям, опыту, впечатлениям. Так происходит социальное конструирование феномена.

Социальные представления суть результат интеракции. Именно в интерактивных процессах социальные представления рождаются, модифицируются, обмениваются и распространяются по социальным группам: они конституируют социальные группы и определяют их границы [Flick 1995b: 83]. С. Московичи утверждает, что социальные представления отличаются от других форм репрезентаций двояко. Во-первых, это явление более социальное, чем когнитивное. Во-вторых, данная категория рассматривается не как панкультурная, а как конкретно-историческая, отражающая специфику ряда

71

современных обществ: именно в этом смысле С. Московичи говорит об «эре социальных представлений». С другой стороны, М. Биллиг отмечает универсальность анкоринга: «Какой бы культурный контекст мы ни взяли, в нем всегда будут стереотипы и когнитивные схемы. Поэтому анкоринг не ограничивается рамками определенных обществ» [Billig 1988:6]. Теория социальных представлений «исключают саму идею мышления или восприятия без анкоринга» [Moscovici 1984b: 36].

Процесс объективизации всегда остается чувствительным к широкому контексту, поскольку невозможен без присутствия прототипов, используемых для преобразования незнакомого абстрактного знания в «знакомое» и «конкретное». Для М. Биллига объективизация — это безоговорочно специфический, особенный, конкретный процесс, «в котором абстрактное переносится в мир объектов» [Billig 1988: 7], чем вся теория социальных представлений кардинально отличается от социально-когнитивных рассуждений, оперирующих универсальными категориями типа «обработка информации» или «выработка схем» [*information processing; schema development* — см.: Fiske, Taylor 1991].

2.4.4 Конструирование представлений: мимезис

По мере того как методы ретроспективного нарративного анализа [Flick 1995b: 85; 1994] получали распространение в теории социальных представлений, рос интерес к проблеме соотношения коллективной репрезентации и того фрагмента реальности, который она представляет. В социальных науках, в той или иной форме использующих дискурс-анализ, возобновилась дискуссия по вопросу о природе репрезентативности [ср.: Eco e. a. 1988; Brandom 1994 и др.].

Метафора *отражения* мира все чаще уступает место *конструированию.* Отметим, что теория социальных представлений фактически с самого момента своего возникновения приняла идею социального конструкционизма (см. 2.3). Необходимо избавиться от мысли о том, что представления способны заключаться в имитации средствами мысли и языка фактов и предметов, обладающих собственными значениями вне дискурса, вне коммуникации, где о них идет речь, поскольку «социальной или психологической реальности *как таковой* нет, ясного образа событий или личностей просто не существует независимо от человека, создающего этот образ» [Moscovici 1988: 230].

Большой интерес по-прежнему вызывает вопрос о том, что же все-таки происходит между репрезентацией и тем фрагментом реальности, который она представляет, каким образом объясняется процесс конструирования действительности в социальном представлении.

72

Поскольку многие исследования социальных представлений в качестве эмпирического материала используют тексты, в частности, интервью, анкеты, транскрипты речи, документы, тексты СМИ [см.: Lahlou 1996], Уве Флик [Flick 1995b: 90] предлагает позаимствовать у литературоведов понятие *мимезис*, призванное заполнить некоторый концептуальный вакуум в той части теории социальных представлений, которая смыкается с теорией социального конструкционизма. Переосмысление схоластического термина предложил Поль Рикёр [1990; Ricoeur 1981], понимающий мимезис как *метафору* действительности, отсылающую к миру реальности не для того, чтобы копировать его, а для того, чтобы предписать новое прочтение: мы создаем собственные версии *реальности,* объединяющие метафорические аспекты освоения *действительности* с интерпретацией ее содержания [см.: Рикёр 1990; Лакофф, Джонсон 1990; Абрамов 1996; Murphy 1996].

Мимезис, таким образом, подчеркивает обоюдонаправленный характер конструирования «реальности»: как с точки зрения создания индивидом собственных версий, так и с точки зрения их интерпретации и понимания. У П. Рикёра мимезис имеет три аспекта: мимезис, — предварительное понимание того, чем является человеческое действие с его семантикой, символизмом и темпоральностью; мимезис$_2$ заключается между истоком и исходом текста, на этом уровне мимезис может быть определен как конфигурация действия; мимезис$_3$ знаменует собой пересечение мира текста и мира слушателя или читателя [Ricoeur 1981: 20—26]. Опыт действования сначала преобразуется в репрезентативную конструкцию, и лишь затем она подлежит интерпретации.

2.4.5 Социальные представления и критический анализ

73

Рожденная в социальной психологии, теория социальных представлений интегрирует все три «переворота» в развитии этой дисциплины за последние десятилетия [см.: Flick 1994; 1995a; 1995b; 1995c]: исторический, когнитивный и дискурсивный. Теория социальных представлений не редуцирует свою программу до индивидуального когнитивизма. Подобно конструктивизму, она признает относительность своих объектов — социальных знаний и практики, а также результатов исследования, обусловленных широким культурно-историческим контекстом. Отметим, что теория социальных представлений использует объяснительный потенциал теории социального конструкционизма.

Теория социальных представлений помогает решить проблему языковых репрезентаций (являющих собой частный случай социальных представлений), которую довольно подробно анализировал Л. В. Щерба, усмотрев трудность

в совмещении их индивидуального характера с социальной ценностью языка. Ни *Völkerpsychologie* Вундта, ни *собирательно-индивидуальное* Бодуэна де Куртенэ, напоминающее «среднего человека» Дильтея [1996; Dilthey 1977], не разрешают этих затруднений [Щерба 1974: 27]. Если от языка перейти к дискурсу, роль этой теории возрастает. Теория социальных представлений дает гуманитарным дисциплинам и особенно лингвистике возможность лучше понять соотношение психического и социального в акте речи. Можно сказать, что это шаг вперед и по сравнению с традиционными фреймовыми построениями искусственного интеллекта. Дискурс-анализу полезно взять на вооружение ряд положений этой теории.

Общая тенденция развития гуманитарного цикла в этом направлении подтверждается бурным развитием (прежде всего в Европе) *критического дискурс-анализа* [*critical discourse analysis* — см.: Fairclough 1989; 1992; 1995; van Dijk 1993; Caldas-Coulthard, Coulthard 1996 и др.], изучающего отношения подчинения, неравенства, дискриминации, разные идеологические и политические представления, выраженные в языке и дискурсе, их общую манипулятивность [ван Дейк 1989; 1994; Шейгал 2000; Кирилина 1999; Lakoff 1990; Dant 1991; Parker 1992; Cameron e. a. 1992; Lemke 1995; Diamond 1996; Wodak 1996]. Здесь можно выделить три направления:

- первое, основанное на постструктурализме Мишеля Фуко [1996a; 1996b; Foucault 1971; 1980], представлено в работах Нормана Фэйрклау [Fairclough 1989; 1992; 1995] в русле британской традиции, идущей от социальной семиотики языка М. Хэллидея [Halliday 1978];
- второе, сформулированное в работах Рут Водак [1997] и венской группы, использует ряд идей франкфуртской школы, особенно критической теории Юргена Хабермаса [Habermas 1981; 1985] и модель социолингвистики Бэзила Бернстайна [Bernstein 1971];
- третье направление возглавляет Тойн ван Дейк [1989: 111—304; 1994; van Dijk 1993; 1996; 1997c], строя социокогнитивную модель представления в дискурсе расовых, этнических и других предубеждений.

Все эти направления (а в последнее время к ним готовы присоединиться исследовательские группы, работающие во Франции, Финляндии, России и других европейских странах) большое внимание уделяют как институциональному дискурсу, текстам массовой коммуникации, так и бытовым разговорам, интервью с информантами. И хотя критический дискурс-анализ прямо не заимствует у теории социальных представлений ее аппарат и понятия, идейная и методологическая связь прослеживается достаточно хорошо.

74

2.5. ДИСКУРСИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Тогда
Из глубины молчания родится
Слово,
В себе несущее
Всю полноту сознанья, воли, чувства,
Все трепеты и все сиянья жизни.
М. ВОЛОШИН «Подмастерье»

2.5.1 Преодоление кризиса психологии

Одним из оснований традиционной психологии является идея о том, что эта дисциплина принадлежит к естествознанию, по крайней мере, именно так

складывалась ее история с момента зарождения, каковым принято считать открытие психологической лаборатории В. Вундтом в 1879 г. в Лейпциге. Достаточно ярко это было выражено в психологии *старой парадигмы* — эпохи господства бихевиоризма и экспериментальных методов [Harré, Gillett 1994: 2—3]. Правда, практически с момента возникновения высказывались и другие точки зрения на статус, цели и методы психологии, так что подобная критика так же стара, как и сама наука [см.: Bühler 1927; Dilthey 1884; Giorgi 1970; 1995; Politzer 1928; Sullivan 1984].

Суть критики сводима к требованию преодоления общего кризиса социальных наук, который со всей полнотой выражен в традиционной психологии, где забвение специфики обладающего сознанием человека как объекта исследования сказалось особенно пагубно (см. 1.2). Тем не менее, сегодня традиционная психология широко утвердилась как социальный институт во многих сферах жизни. Налицо несоответствие между внешним успехом психологии и ее внутренним содержанием: «общество склонно верить в незаслуженно высокий статус и престиж психологии, не подкрепленные ее лишенным единства и внутренней логики содержанием» [Giorgi 1995: 24].

И все же многими исследователями осознается извечная несовместимость естественнонаучной методологии, принятой психологией в качестве единственно истинной философии науки, и свойствами психологических явлений, реально происходящих в повседневной жизни людей. Этим объясняются попытки найти новые формы психологической теории, реализовавшиеся, например, в ***психологике*** [*psychologic —* Smedslund 1988; 1991; 1995] или работах по ***диалогической психологии*** [*analogical psychology* — Shotter 1995; ср.: Baxter, Montgomery 1996], впитавшей идеи позднего Л. Витгенштейна [1985], М. М. Бахтина [1979; 1995], В. Н. Волошинова [1929] и Л. С. Выготского [1934;
75
1982]. Наиболее заметным и интересным для лингвистов явлением безо всякого сомнения стала ***дискурсивная психология,*** взявшая на вооружение методологию дискурс-анализа. Говоря словами И. А. Бодуэна де Куртенэ [1963, II: 102], поворот в развитии науки можно описать следующим образом: «до сих пор на разные проявления общественной жизни часто смотрели материалистически: теперь очередь за психологией и вместе с нею за наукою *par excellence* психологическою, какою является языкознание». Дискурсивная психология [*discursive psychology* — Edwards, Potter 1992; Harré, Gillett 1994; Harré, Stearns 1995; Smith e. a. 1995a; 1995b] как принципиально новый подход активно разрабатывается в Европе и Северной Америке большой группой авторов.

2.5.2 Эволюция когнитивизма в психологии

Важнейшим событием в развитии психологии и целого ряда наук стала так называемая ***когнитивная революция*** 60-х годов [см.: Кубрякова и др. 1996: 69—72]. Когнитивизм как принцип научного описания был реакцией на господство сциентизма и бихевиоризма, особенно в американской психологии, поскольку в Европе всегда существовали самостоятельные школы и авторы, как, например, Жан Пиаже в Швейцарии или гештальт-психология в ФРГ.

Бихевиоризм, как известно, принципиально не занимался процессами динамики смыслов в «черном ящике» сознания, призывая наблюдать лишь *объективно* фиксируемые внешние стимулы и реакции, тем самым лишая интроспекцию права на научную доказательность. Развитие экспериментальной психологии во многом унаследовало эти недостатки. Методологически данная парадигма восходит к картезианскому дуализму [см.: «дуализм как основа непостижимости проблем разума, как основание натуралистической психологии» — Гуссерль 1994: 96]. Кстати, одним из первых критиков бихевиоризма стал Н. Хомский, опубликовав знаменитую рецензию на книгу Б. Скиннера *Verbal Behavior* [Chomsky 1959].

Когнитивизм, наоборот, активно интересуется вопросами влияния «внутренних» факторов. На смену метафизическому представлению о человеке приходит ментализм. Под влиянием развития компьютерного моделирования, когнитивная парадигма широко применяет аналогию в передаче, обработке и хранении информации между вычислительной машиной и человеческим сознанием. Естественно, на этом этапе Когнитивизм в психологии главным

образом опирается на достижения в рамках построения искусственного интеллекта и нейробиологии [см.: Eysenck 1993]. Именно этот период отмечен широким внедрением в прагматику и семантику речевого общения когнитивных категорий «фрейм», «план», «сценарий», «схема» и т. д.

76

Каждый раз когнитивизм проявляется по-своему: когнитивизм Ноэма Хомского или Рэя Джэкендоффа не похож на когнитивизм психологии или нейробиологии 70-х годов и уж совсем не похож на современный культурный когнитивизм Анны Вежбицкой [1997; 2001], возвращающей в новом качестве проблематику гипотезы Сепира—Уорфа [ср.: Stillings e. a. 1987; Otero 1994; Wierzbicka 1992; 1996; 1997; Jackendoff 1983; 1992; 1997]. Когнитивные подходы к языку не замыкаются в рамках постгенеративной психолингвистики [Kasher 1989; Hörmann 1976; Vaina, Hintikka 1984; Altmann 1990; Altmann, Shillcock 1993; Steinberg 1993].

Большинство когнитивных подходов ограничивалось рамками отдельно взятого человека. Обращение к интроспекции, противопоставляемое установкам позитивизма, только усугубило этот крен. Развитие комплекса когнитивных наук подошло к тому пределу, за которым уже было невозможно дать исчерпывающие ответы на многие вопросы, исследуя когнитивную природу лишь одного индивида. Требовалась когнитивная интерпретация социальных процессов.

Ситуация разрешилась в 70-х годах рождением ***социально-когнитивной теории*** [*social cognition —* Fiske, Taylor 1991; Donohew e. a. 1988]. Она возникла не на пустом месте: гештальт-психология, руководствуясь восходящим к философии Канта принципом целостности восприятия, уже давно разработала феноменологический метод, который и стал одним из оснований социально-когнитивных исследований

Робкое проникновение идей гештальт-психологии в еще только формирующуюся социально-когнитивную парадигму началось в начале 50-х годов. На раннем этапе большое внимание уделялось так называемому «психологическому полю», или субъективному восприятию индивидом социального окружения (что уже шло вразрез с позитивистским критерием объективности). Причем психологическое поле должно было рассматриваться в комплексе как единое целое, как сложная «конфигурация сил». Чтобы определить природу этих сил, необходимо было включить в анализ две пары факторов: личность и ситуацию (не зная хотя бы одного из них, невозможно предсказать или интерпретировать поведение), а также когницию и мотивацию (как функции, производные от первой пары факторов). Весьма характерно, что приблизительно в это же время в теории коммуникации, психо- и социолингвистике, семантике и лингвистической прагматике заметно повышается эвристическая роль понятий «ситуативный контекст», «субъект» и «языковая личность», появляется несколько разных теоретических моделей контекста.

Серьезные монографии по социально-когнитивной теории появились только в 80-х годах Именно этот момент стал поворотным в научной эволюции

77

когнитивизма. Когнитивистское истолкование социальных проблем личности серьезно изменило судьбу многих направлений. Однако хроническая сосредоточенность этого подхода на изучении индивидуального восприятия социальных реалий так и не позволила социально-когнитивной теории преодолеть ограниченность «старой» психологии, оставив без должной интерпретации процессы деятельности и общения, в которых участвует личность. Видимо, это послужило одной из главных причин, объясняющих, почему до сих пор нет общепризнанной когнитивной теории взаимодействия и речевой коммуникации.

Этим во многом обусловлена неудовлетворенность семантики и прагматики языкового общения моделями и идеями, которые современная психология может предложить языкознанию для более глубокого анализа коммуникативной функции языка и изучения дискурса, хотя в последнее время наметились сдвиги в этом направлении: использование ряда идей традиционных направлений вкупе с новыми или малоизвестными теориями, часть которых была кратко охарактеризована выше, позволяет заполнить пробелы в осмыслении языка и дискурса, особенно их двойственной природы как индивидуально-психического и как социально-культурного феномена.

2.5.3 Истоки и основания дискурсивной психологии

Свое философское обоснование дискурсивная психология нашла в феноменологии.

Интерпретацию социального дал символический интеракционизм. Будучи наиболее социологическим из всех социально-психологических теорий, интеракционизм в последнее время оказывает растущее влияние на психологические науки, особенно в свете синтеза идей Дж. Г. Мида, Л. С. Выготского и Л. Витгенштейна [Gergen 1991; Rundle 1990; Harré 1992; Josselson, Lieblich 1993; Shotter 1993; Strauss 1993]. Одним из главных тезисов направления, помещающего символические интеракции в центр анализа, стал вывод о том, что мотивы, установки, эмоции, образы «Я» и «Других» — это результаты общения, конструкты, постоянно (вос)производимые в процессах коммуникации и интеракции, «творения дискурса... атрибуты коммуникативной деятельности, а не самоценные ментальные сущности» [*discursive productions... rather than mental entities* — Harré 1992: 526; см. развитие этого положения в теории координированного управления смыслом — Pearce, Cronen 1980; социальном конструкционизме и дискурсивной психологии — Burr 1995; Pearce 1994a; 1995; Shotter 1993; Shotter, Gergen 1994].

Развитию дискурсивной психологии, претендующей на статус *второй когнитивной революции,* ознаменовавшей собой *дискурсивный переворот*

78

[Harré, Gillett 1994: 18; Harré 1995], предшествовал ряд важных изменений в социальных науках.

Во-первых, явно возрос интерес традиционной когнитивной психологии к явлениям социального и культурного порядка. Причем ее привлекает не только и не столько проблематика узко понимаемой социальной психологии. Все чаще ее интересуют когнитивные явления в широком социокультурном контексте, воплощенные как во внутренних «движениях души», так и во внешнем мире эмпирических объектов, культурных артефактов, специфических форм поведения, в том числе коммуникативных (например, обычаев и ритуалов). Симптоматично стремление переосмыслить с когнитивных позиций общую этнографию и этнографию речи в частности. Учитывая генетическую связь американского конверсационного анализа с этнометодологией, нетрудно увидеть в этих тенденциях предпосылку возникновения дискурсивной психологии.

Во-вторых, важным фактором развития современной науки оказалось распространение и растущая популярность идей Льва Семеновича Выготского, психологическая теория социализации которого для многих ученых стала центральным концептом, трактующим язык как основной культурный медиум мышления и деятельности, включенный в систему социальной жизни общества, что в свою очередь тесно связано уже с изысканиями в рамках когнитивной антропологии. Тем самым когнитивно-психологические и когнитивно-антропологические проблемы все чаще решаются посредством анализа языкового общения. К тому же включение культурного компонента в когнитивный анализ речевой коммуникации и жизнедеятельности человека дает некоторым ученым право заявлять о возникновении или, точнее, возрождении «культурной психологии» [ср.: Шпет 1996; Вежбицкая 1997: 376— 404; Much 1995; Shweder, Sullivan 1993; Wierzbicka 1992; 1997]. Сегодня и анализ языка все чаще обретает отчетливую культурную направленность [ср.: Касевич 1996; 1997; Маслова 1997; Гудков 2000; Тер-Минасова 2000; Вежбицкая 2001; Bonvillain 1993; Hanks 1996; Wierzbicka 1992; 1996; 1997].

В-третьих, важнейшей предпосылкой всего «дискурсивного переворота» или «новой когнитивной революции» стало развитие коммуникативной лингвистики, склонной рассматривать язык как дискурс и исповедующей деятельностный принцип, провозглашенный еще Вильгельмом фон Гумбольдтом. К тому же «была признана связь языковых особенностей с мировоззрением и настроением людей» [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 8].

В целом, тенденции последних десятилетий неуклонно сближали когнитивную и социальную психологии (вовлекая соответствующие интересы антропологии и этнографии) и все больше подталкивали исследователей к

79

изучению повседневной деятельности людей через язык, дискурс [ср.: Дридзе 1980; Potter, Wetherell 1987; Nelson 1985; Parker 1992]. Добавим, что до сих пор подобные изыскания оставались на периферии современной когнитивной науки, по-прежнему увлеченной лабораторными экспериментами и мечтой об искусственном интеллекте.

2.5.4 Дискурс-анализ в новой психологии

Выходом из этой почти тупиковой ситуации стало обращение к *дискурс-анализу.* Нормальная повседневная человеческая речь, а не языковая способность в понимании Н. Хомского стала предметом исследования на пути к познанию когнитивных процессов. *Дискурс* в этом направлении рассматривается как социальная деятельность в условиях реального мира, но не как абстрактно-теоретический конструкт или продукт лабораторного эксперимента. Ниже приводятся психологически релевантные особенности дискурс-анализа, выдвигающие его на роль методологического инструмента новой парадигмы [см.: Edwards, Potter 1992: 28—29; Potter, Wetherell 1995]:

1. Дискурс-анализ исследует устные и письменные формы речевой коммуникации в естественных условиях «реального мира». Языковым материалом служат письменные тексты и выполненные в соответствии с принятыми нормами и правилами транскрипты устных дискурсов, включая интервью с информантами. Этим дискурс-анализ отличается от работ в русле теории речевых актов и формальной прагматики, а также от большинства исследований в рамках экспериментальной психологии и социологии, обращающихся к текстовому материалу. К тому же дискурс-анализ предполагает охват более широкого круга теоретических вопросов и самого языкового материала по сравнению с конверсационным анализом.

2. Дискурс-анализ самым тщательным образом исследует предметно-содержательную сторону языковой коммуникации, уделяя, пожалуй, больше внимания ее социальной организации, чем формально лингвистической. Этим он качественно отличается от лингвистики текста или анализа диалога, как правило, ориентированных на выработку слабо учитывающих содержание схем (например, описывающих формальную связность текста или диалога).

3. Дискурс-анализ идейно держится «на трех китах» — трех важнейших категориях: действие, (по)строение *(construction)* и вариативность. Когда люди что-нибудь говорят или пишут, они тем самым совершают социальные действия. Конкретные свойства этих социальных действий определяются тем, как устный дискурс или письменный текст *построены,* с помощью каких именно лингвистических ресурсов, отобранных говорящим или пишущим из всего многообразия языковых средств, функциональных стилей, риторических
80
приемов и т. п. С одной стороны, весьма интересен сам процесс построения дискурса. С другой стороны, поскольку устный дискурс или письменный текст вплетены в живую ткань социальной деятельности и межличностного взаимодействия, их вариативность воплощает особенности различных социально-деятельностных контекстов и намерений авторов.

4. Одной из центральных характеристик дискурс-анализа является интерес к риторическим, аргументативным структурам в любых типах текста и жанрах речи: от политических дебатов до бытовых разговоров. Главной целью риторического анализа в данной парадигме становится стремление понять, как для того, чтобы раскрыть природу и коммуникативное предназначение какой-либо одной дискурсивной версии событий или положения дел, нам приходится иметь дело с реальными и/или гипотетическими конкурирующими положениями дел и версиями социальных миров, эксплицитно или имплицитно доказывать несостоятельность альтернативных вариантов и правомочность своего собственного [см.: Баранов, Сергеев 1988b; Billig 1987; van Eemeren, Grootendorst 1992; Myerson 1994].

5. Наконец, дискурс-анализ все более явно приобретает когнитивную направленность, стремление посредством изучения речи решать вопросы о соотношении и взаимодействии внешнего и внутреннего миров человека, бытия и мышления, индивидуального и социального. Кстати, это уже проявилось в пересмотре целого ряда базовых психологических категорий: установка, восприятие, память, обучение, аффект и эмоции. Дискурс-анализ с особым интересом изучает такие когнитивные феномены, как знания, верования и представления, факт, истина и ошибка, мнение и оценка, процессы решения проблем, логического мышления, аргументации [см.: Crimmins 1992; Donohew e. a. 1988; Bicchieri, Dalla Chiara 1992; Schank, Langer 1994; Sperber, Wilson 1995 и др.].

В рамках дискурсивной психологии разработано несколько аналитических моделей [например *DAM: discursive action model* — Edwards, Potter 1992].

Дискурсивная психология отнюдь не лишена недостатков и противоречий. Как и теория социальных представлений, она, сосредоточиваясь на изучении дискурса, решительно отходит от традиционной когнитивной парадигмы как главного направления социальной психологии.

Принципиально отказываясь от привычной когнитивной проблематики, уделяя максимум внимания речи, дискурсивная психология в то же время нередко игнорирует некоторые аспекты мышления, а также процессы социального распределения и конструирования знания, упускает из виду факт существования мышления до, после и параллельно с речепроизводством. В отличие от дискурсивной психологии исследовательские позиции теории социальных представлений

81

характеризуются интеграцией анализа знаний и представлений непосредственно с изучением социальной деятельности: теория социальных представлений дополняет внутренние реальности (мышление и знание) внешними (дискурсом и коммуникацией). Поэтому с психологической точки зрения она выглядит более сбалансированной, хотя дискурсивная психология сегодня все же ближе лингвисту, изучающему языковое общение.

* * *

Закончив обзор научной картины мира, вернее, тех немногих фрагментов многоцветной мозаики, по которым в общих чертах угадывается замысел целого, следует признать, что в социальных теориях и современных тенденциях их развития наблюдается определенная общность, вызванная, во-первых, феноменологическими истоками их взглядов, во-вторых, признанием социокультурной обусловленности научного знания, следовательно, его относительности, и, в-третьих, приоритетом качественного, интерпретативного анализа.

Коммуникация понимается как *конститутивный* элемент культуры, деятельности и социальных отношений, а не только как простой обмен информацией и репрезентативное отражение внешней действительности, объектов в мире «вещей». Это находит логическое продолжение в признании принципа *социального конструкционизма,* т. е. дискурсивного возведения индивидами и человеческими сообществами социально-психологических миров. В связи с этим подчеркивается *интерсубъективность* общения, его социокультурный характер, интерактивность и символическая обусловленность «общих» или «разделенных» смыслов *(shared meanings).* Также вызывают интерес особенности конструирования социальных представлений в языке и дискурсе, риторические аспекты общения и дискурсивно-психологические подходы к анализу уникального феномена Человека.

Глава 3. ДИСКУРС-АНАЛИЗ КАК ПАРАДИГМА В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

3.1. AB OVO — ЧТО ТАКОЕ «ДИСКУРС»

'Doing discourse analysis' certainly involves 'doing syntax and semantics', but it primarily consists of 'doing pragmatics'.

G. BROWN, G. YULE [1983: 26]

В первом разделе третьей главы рассматриваются различные подходы к определению *дискурса* в отношении к родственным категориям *текст, речь, монолог, диалог* и т. д., а также излагаются некоторые теоретические и практические аспекты анализа языкового общения в условиях конкуренции формальных и функциональных подходов к языку и коммуникации.

3.1.1 Функционализм *vs.* формализм

Дискурс-анализ, как одно из ведущих междисциплинарных направлений, изучающих языковое общение, явился своеобразной реакцией на соссюровский, а позже — хомскианский редукционизм предмета языкознания. Во второй половине XX в. интересы языкознания отчетливо переместились в сферу языковой коммуникации, что воплотилось в появлении ряда «двойных» дисциплин (когнитивной, психо-, социо-, прагма- и прочих лингвистик).

Если в начале XX века лингвистику прежде всего занимал вопрос *Как устроен язык*?, то во второй его половине и особенно в последней трети больше внимания уделяется вопросу *Как функционирует язык?* Невозможность дать ответ на этот последний вопрос с позиций имманентной лингвистики предопределила расширение ее предмета и общую тенденцию к пересмотру философско-онтологических оснований всей дисциплины. К концу века заметно восстановление в правах интуиции и интроспекции, что, безусловно, объясняется ростом внимания к *человеческому фактору, субъективности* в лингвистике. Говоря о перспективах развития науки о языке, А. Е. Кибрик [1995: 219] прогнозирует переход от дискретной лингвистики, опирающейся на классическую аристотелевскую логику понятий, к науке, построенной на логике прототипов и размытых множеств; на смену таксономической, сосре-
83
доточенной на вопросе *КАК?,* приходит объяснительная *ПОЧЕМУ-*линвистика. В этой связи по-новому мыслится спор формализма и функционализма.

Дискуссия о формализме и функционализме [*functionalism* vs. *formalism debate* — см.: Nuyts 1995: 293; Schiffrin 1994: 20—23; Leech 1983: 46] имеет две стороны, на практике, как правило, взаимосвязанные: во-первых, сталкиваются два трудно совместимых взгляда на лингвистические исследования (методологический аспект), во-вторых, обсуждаются различные точки зрения на природу самого языка (теоретический аспект).

Формализм исходит либо из утверждения об отсутствии у языка собственных точно определяемых функций, либо из теории о полной независимости формы от функции, ключевые понятия здесь: *autonomy* и *modularity* [Newmeyer 1988a; 1991]. Поэтому в своей методологии формализм настаивает на анализе структурных особенностей «языка в себе», не отягощенном изучением «языка в общении».

Принцип функционализма, опираясь на метафору «языка-инструмента», исходит из семиотического понимания языка как системы знаков, которая *служит* или *используется* для достижения каких-либо целей, выполнения каких-то функций. Методология функционализма предполагает изучение и структуры, и функционирования языка с целью выявления соответствий между ними. Теоретически функционализм основывается на признании взаимозависимости между формой и функцией, учете влияния употребления языка на его структуру.

В разные периоды функционализм был присущ многим лингвистическим и не только лингвистическим направлениям, например, он практически всегда присутствовал в психологии языка [Bühler 1934]. Формализм как научный принцип «явно моложе» [Nuyts 1995: 294]. Формализм, о борьбе с которым говорил Л. В. Щерба [1974: 75], намечая линии «перестройки старой грамматики», характерен для теорий, имеющих позитивистскую ориентацию, методологически ассоциированных с американским структурализмом (в отличие от большинства

европейских школ структурализма). В 60—70-х годах прошлого века формализм оказал влияние на психологию языка своей критикой функционализма за его альянс с бихевиоризмом, со своей стороны предложив ментализм генеративной грамматики, хотя в психологии языка формализм по-настоящему так и не состоялся.

Генеративной лингвистике и многим другим направлениям середины века было присуще стремление к разработке строгих исследовательских процедур, основанных на логике формальных критериев, допускающих алгоритмическую верификацию. Автономности и ментализму формальных теорий функционализм противопоставил изучение языка в широком социокультурном контексте.

84

функционализм придерживается следующих принципов или «аксиом», формирующих «грамматику языковых игр» сторонников данного подхода [ср.: Кобрина 1981; Бондарко 1984; Givón 1995; Nuyts 1995]:

- язык — это социально-культурная деятельность;
- структура языка обусловлена когнитивной или коммуникативной функцией;
- структура не произвольна, а мотивирована, иконична;
- постоянно имеют место изменения и вариативность;
- значение зависит от контекста, оно неатомично;
- категории размыты, «менее чем дискретны»;
- структура — гибкая, адаптивная система, а не застывшее формирование;
- грамматики постоянно возникают и видоизменяются;
- грамматические правила допускают отклонения.

Все эти принципы справедливы, но лишь в известной мере и «только в определенных контекстах» [Givón 1995: 9]. Пафос данного манифеста направлен не столько против формальных методов исследования, сколько против связанного с ним редукционизма. Ведь голое отрицание постулатов Соссюра и Хомского приводит к обратному редукционизму (отрицая полную произвольность и немотивированности грамматики, функционализм готов вывести ее полную мотивированность, иконичность и т. д.). Так функционализм, временами откровенно скатываясь к релятивизму, загадочным образом «превращается в карикатуру Хомскианства» [Givón 1995: xvii]. Чтобы избежать этого, дискурс-анализ, будучи представителем функциональной парадигмы, органично интегрирует достижения и данные всей предшествующей формально-структурной лингвистики. Причем для этого у него есть свои особенные предпосылки: сама история возникновения дискурс-анализа как самостоятельного научного направления в изучении языка и языкового общения говорит о его глубоких формальных и структурных корнях.

3.1.2 Формальное и функциональное определение дискурса

Категория *дискурс,* одна из основных в коммуникативной лингвистике и современных социальных науках, как и всякое широко употребляющееся понятие, допускает не только варианты произношения (с ударением на первом или втором слоге), но и множество научных интерпретаций, и поэтому требует уточнений, особенно в отношении к смежным терминам *текст, речь* и *диалог.*

Само определение такой категории, как *дискурс,* уже предполагает некоторую идеологическую ориентацию, собственную точку зрения на изучение

85

языка и языкового общения. Дебора Шифрин [Schiffrin 1994: 20—43] выделяет три основных подхода к трактовке этого понятия [ср.: Brown, Yule 1983; Stubbs 1983; Macdonell 1986; Crusius 1989; Burton 1980; Maingueneau e. a. 1992; Nunan 1993; van Dijk 1997b; 1997a].

Первый подход, осуществляемый с позиций формально или структурно ориентированной лингвистики, определяет дискурс просто как «язык выше уровня предложения или словосочетания» — «language above the sentence or above the clause» [Stubbs 1983: 1; ср.: Schiffrin 1994: 23; Steiner, Veltman 1988; Stenström 1994: xi и др.]. «Под дискурсом, следовательно, будут пониматься два или несколько предложений, находящихся друг с другом в смысловой связи» [Звегинцев 1976: 170] — критерий смысловой связности вносит заметную поправку, но сохраняет общую тенденцию.

Многие разнообразные формально-структурные лингвистические школы объединяет сосредоточенность на анализе функций одних элементов языка и «дискурса» по отношению к другим в ущерб изучению функций этих элементов по отношению к внешнему контексту.

Формалисты обычно строят иерархию составляющих «целое» единиц, типов отношений между ними и правил их конфигурации. Но чрезмерно высокий уровень абстракции подобных моделей затрудняет их применение к анализу естественного общения.

Второй подход дает функциональное определение дискурса как всякого «употребления языка»: «the study of discourse is the study of *any* aspect of language use» [Fasold 1990:65]; «the analysis of discourse, is necessarily, the analysis of language in use» [Brown, Yule 1983: 1; ср.: Schiffrin 1994: 31]. Этот подход предполагает обусловленность анализа функций дискурса изучением функций языка в широком социокультурном контексте. Здесь принципиально допустимыми могут быть как этический, так и эмический подходы. В первом случае анализ идет от выделения ряда функций (например, по Р. О. Якобсону) и соотнесения форм дискурса (высказываний и их компонентов) с той или иной функцией. Во втором случае исследованию подлежит весь спектр функций (не определяемых априорно) конкретных форм и элементов дискурса.

Д. Шифрин предлагает и третий вариант определения, подчеркивающий взаимодействие формы и функции: «дискурс как высказывания» [*discourse as utterances —* Schiffrin 1994: 39—41; ср.: Clark 1992: xiii; Renkema 1993: 1; Drew 1995: 65]. Это определение подразумевает, что дискурс является не примитивным набором изолированных единиц языковой структуры «больше предложения», а целостной совокупностью функционально организованных, контекстуализованных единиц употребления языка. В этом случае вызывают затруднение различия подходов к определению *высказывания* [ср.: Арутюнова 1976: 43; Бенвенист 1974: 312; Леонтьев 1979; Бахтин 1979: 263; Степанов 1981:

86

291; Колшанский 1984: 85; Падучева 1985: 4; Слюсарева 1981: 67; Сосаре 1982: 81; Адмони 1994; Чупина 1987: 42; Сергеева 1993; Лурия 1975: 33; *энонсема —* Борботько 1981: 27; Blakemore 1992; Brown, Yule 1983: 19; Levinson 1983: 18; Sperber, Wilson 1995: 9 и др.].

3.1.3 (Устный) дискурс, (письменный) текст и ситуация

Соотношение понятий *дискурс, текст* и *речь* дискутируется давно и с неизменным интересом [например, см. Бисималиева 1999]. Эти категории требует краткого комментария и в данной работе. Иногда их разграничивают по оппозиции ***письменный текст*** vs. ***устный дискурс,*** что неоправданно сужает объем данных терминов, сводя их к двум формам языковой действительности — использующей и не использующей письмо [ср.: Гальперин 1981: 18; Гиндин 1981: 29; Москальская 1981; Дридзе 1984; Тураева 1986; Филиппов 1989; Реферовская 1989; *written text* vs. *spoken discourse* — Coulthard 1992; 1994]. Такой подход весьма характерен для ряда формальных подходов к исследованию языка и речи.

На основании этой дихотомии некоторые исследователи склонны разграничивать ***дискурс-анализ*** (объектом которого, по их мнению, должна быть лишь устная речь) и ***лингвистику*** (письменного) ***текста:*** «there is a tendency... to make a hard-and-fast distinction between discourse (spoken) and text (written). This is reflected even in two of the names of the discipline(s) we study — discourse analysis and text linguistics» [Hoey 1983/4: 1]. Такой подход просто не срабатывает в целом ряде случаев, например, доклад можно рассматривать одновременно и как письменный текст, и как публичное выступление, т. е. коммуникативное событие, хотя и монологическое (в традиционных терминах) по своей форме, но тем не менее отражающее всю специфику языкового общения в данном типе деятельности [Goffman 1981]. О неадекватности строгого разграничения дискурса и текста пишет и сам Хоуи: «it *(the distinction. — М.* М.) may at times obscure similarities in the organisation of the spoken and written word» [Hoey 1983/4: 1].

В начале 70-х годов была предпринята попытка дифференцировать понятия *текст* и *дискурс,* бывшие до этого в европейской лингвистике почти взаимозаменяемыми, с помощью включения в данную пару категории *ситуация.* Так, дискурс предлагалось трактовать как «текст *плюс* ситуация», в то время как текст, соответственно, определялся как «дискурс *минус* ситуация» [Widdowson 1973; Östman, Virtanen 1995: 240]. В этом нашла выражение общая тенденция к пониманию дискурс-анализа как широкого подхода к изучению языковой коммуникации, для которого характерны, с одной стороны, повышенный интерес к более продолжительным, чем предложение, отрезкам речи

87

и, с другой стороны, чувствительность к контексту социальной ситуации: Discourse analysis is «a rapidly expanding body of material which is concerned with the study of socially situated

speech... united by an interest in extended sequences of speech and a sensitivity to social context» [Thompson 1984: 74].

Термин *дискурс,* понимаемый как речь, «погруженная в жизнь», в отличие от *текста,* обычно не относится к древним текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно [ЛЭС: 137], хотя в последнее время наметилась тенденция к применению методологии дискурс-анализа и самого термина *дискурс* к языковому материалу разной культурно-исторической отнесенности, например Библейским текстам и апокалиптической литературе [Arens 1994; O'Leary 1994], а также произведениям литературы, текстам массовой культуры, психоанализу [см.: Гаспаров 1996; Миловидов 2000; Rimmon-Kenan 1987; Shotter 1993; Maingueneau e. a. 1992; Bracher 1993; 1994;Salkie 1995 и др.].

3.1.4 Дискурс/диалог/процесс *vs.* текст/монолог/продукт

Некоторые лингвисты трактуют ***дискурс*** как подчеркнуто *интерактивный* способ речевого взаимодействия, в противовес ***тексту,*** обычно принадлежащему *одному* автору, что сближает данное противопоставление с традиционной оппозицией ***диалог*** vs. ***монолог.*** Само по себе последнее разграничение довольно условно, потому что наиболее естественным проявлением языковой активности следует считать диалог (даже монолог по-своему диалогичен — он всегда обращен к адресату, реальному или гипотетическому, *alter ego* говорящего). О диалогичности языка, речи и сознания писали очень многие [ср.: Волошинов 1929; Бахтин 1979; 1995; Радзиховский 1985; 1988; Якубинский 1986; Бенвенист 1974; Выготский 1934; 1982; Hagège 1990; Burton 1980; Myerson 1994; Weigand 1994; Shotter 1995; Baxter, Montgomery 1996 и др.].

Дискурс-анализ изучает социокультурные, интерактивные стороны языкового общения, но из этого не следует вывод об ограниченности его интересов только лишь устным диалогом: практически любой фрагмент языкового общения, включая самый банальный письменный текст, может быть рассмотрен под этим углом зрения.

Во многих функционально ориентированных исследованиях видна тенденция к противопоставлению дискурса и текста по ряду оппозитивных критериев: *функциональность — структурность, процесс — продукт, динамичность — статичность* и *актуальность — виртуальность.* Соответственно, различаются структурный *текст-как-продукт* и функциональный *дискурс-*

88

как-процесс [*text-as-product, discourse-as-process* — Brown, Yule 1983: 24; *Textais-Struktur, Text-in-Funktion* — Hess-Lüttich 1979: 25].

Вариация на ту же тему, близкая третьему определению дискурса по Д. Шифрин, переходит в точку зрения на текст как на абстрактный теоретический конструкт, *реализующийся* в дискурсе [van Dijk 1977: 3; 1980: 41] так же, как предложение актуализуется в высказывании *(sentence* vs. *utterance).* Это один из способов теоретически связать форму с функцией. Другими авторами это отношение переносится на целый ряд категорий: грамматисты говорят об *узусе, предложении, локуции, тексте, когезии;* в то время как представители дискурс-анализа имеют дело с *употреблением, высказыванием, иллокуцией, дискурсом, когеренцией* [Coulthard 1977: 9]:

Таблица 4. Категории грамматики и дискурс-анализа

Grammarians:	usage	sentence	locution	text	cohesion
	↕	↕	↕	↕	↕
Discourse analysts:	use	utterance	illocution	discourse	coherence

По выражению Дж. Лича, *текст* реализуется в *сообщении,* посредством которого осуществляется *дискурс: «discourse* by means of *message* by means of *text»* [Leech 1983: 59]. Таким образом, в сложившихся рядах понятий *предложение* и *текст* отходят к первому, а ко второму, соответственно, — *высказывание* и *дискурс* [ср.: Stubbs 1983: 9; Werth 1984: 11; Mey 1993: 187]. Если принять, что первый принадлежит уровню языка, а второй — языкового общения, то подобное разграничение приобретает смысл и оказывается методологически полезным.

3.1.5 Дискурс = речь + текст

Другой способ решения проблемы, причем довольно распространенный, сформулировал В.

В. Богданов [1990а; 1993], рассматривая *речь* и *текст* как две неравнозначные стороны, два аспекта *дискурса.* Подобное решение встречается и у зарубежных авторов, например, это видно уже по титульному листу коллективной монографии *Analyzing Discourse: Text and Talk* [Tannen 1982; ср.: «discourse is either spoken or written» — Stenström 1994: xi; подробнее об этом см.: Cmejrkova e. a. 1994].

Не всякая речь поддается текстовому перекодированию, и далеко не любой текст можно «озвучить» [см.: Богданов 1990а: 3; Горелов 1987: 225—227]. Вследствие этого *дискурс* понимается широко — как все, что говорится и

89

пишется, другими словами, как *речевая деятельность,* являющаяся «в то же время и *языковым материалом»* [Щерба 1974: 29], причем в любой его репрезентации — звуковой или графической. *Текст* (в узком смысле) понимается как «языковой материал, фиксированный на том или ином материальном носителе с помощью начертательного письма (обычно фонографического или идеографического). Таким образом, термины *речь* и *текст* будут видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину *дискурс»* [Богданов 1993: 5—6]. Заметим, что все эти термины не образуют оппозиций и выраженных дихотомий.

Эта точка зрения, безусловно, заслуживает внимания, хотя бы уже потому, что здесь подчеркивается обобщающий характер понятия *дискурс,* снимается всякая ограниченность признаками *монологический/диалогический, устный/письменный.* Широкое употребление *дискурса* как родовой категории по отношению к понятиям *речь, текст, диалог* сегодня все чаще встречается в лингвистической литературе, в то время как в философской, социологической или психологической терминологии оно уже стало нормой. Подобной широкой трактовке отдается предпочтение и здесь.

На выбор термина *дискурс* в качестве центрального понятия, определяющего специфику парадигмы, влияют также метанаучные традиции: *дискурс-анализ* воспринимается как «открытая» теория и практика в отличие от европейской школы *лингвистики текста,* занимающейся практически только письменными текстами, и американского *конверсационного анализа,* интересующегося изучением лишь повседневной речи.

3.2. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСКУРСА

Слово означает для всех одно, но большинство людей живет так, как если бы каждый понимал его смысл по-своему.

ГЕРАКЛИТ

Хотя историю междисциплинарного исследования дискурса Т. А. ван Дейк [1989: 113—114] предлагает вести от античных трактатов по риторике и поэтике, современная «биография» дискурс-анализа начинается с середины 60-х годов. Тем не менее, до этого времени некоторые направления, школы и отдельные ученые, обращаясь к проблемам дискурса, готовили почву для возникновения и распространения новой парадигмы.

90

3.2.1 Дискурс-анализ: источники и составные части

Самим термином «дискурс-анализ» мы обязаны Зеллигу Харрису, который таким образом назвал «метод анализа связанной речи», предназначен-

ный «для расширения дескриптивной лингвистики за пределы одного предложения в данный момент времени и для соотнесения *культуры* и языка» [Harris 1952: 1—2].

Говоря об идейных предшественниках современного дискурс-анализа, нельзя не обратить внимание на признание многими учеными выдающейся роли ранних работ ***русских формалистов*** [ван Дейк 1989: 114; Renkema 1993: 118; Östman, Virtanen 1995: 240], в частности исследования Владимира Проппа [1928] по морфологии русской сказки, заложившего основы нарративного анализа. Вне этого контекста трудно даже представить появление довоенных публикаций М. М. Бахтина и В. Н. Волошинова. Через плодотворную научную деятельность Романа Якобсона эта традиция распространилась на Пражскую школу и европейский, а чуть позже — и американский структурализм. Вот еще один наглядный пример непротиворечивости формализма и дискурс-анализа.

Под этим же углом зрения следует рассматривать влияние европейского структурализма, реализовавшееся в ***структурной антропологии*** Клода Леви-Строса [1985; Lévi-Strauss 1958] и других представителей французской школы, оживившие связи антропологии с ***поэтикой* и**

семиотикой: большое внимание в их исследованиях уделялось анализу повествовательных структур мифов, литературных и обыденных сюжетов, как, например, в работах Ролана Барта [1994; 1996; Barthes 1974] и Цветана Тодорова [Todorov 1977]. Возрождение семиотики под влиянием Чарлза Морриса и Умберто Эко [1998; Eco 1976; 1986; Morris 1971; ср.: Гаспаров 1996; Миловидов 2000; Escudero, Corna 1984; Tobin 1990; Sebeok 1991; Leeds-Hurwitz 1993], дало различным школам лингвистики, антропологии, литературоведения, теории коммуникации и социологии общие принципы и универсальный метаязык, что обусловило развитие междисциплинарных связей [ср.: Орлова 1994; Ерасов 1996; Маслова 1997; Мечковская 1996; 1998; Гуревич 1997; Gee 1996 и др.].

Пока европейский структурализм занимался исследованием мифов, сказок, поэтических произведений и продукции средств массовой коммуникации, несколько иной подход к антропологии и этнографии в американской науке воплотился в исследованиях по ***лингвистической антропологии, этнографии устной речи*** *(ethnography of speaking)* и ***этнографии коммуникации*** *(ethnography of communication),* предвосхитивших развитие дискурс-анализа благодаря трудам таких ученых, как Делл Хаймс [1975] и Джон Гамперц [1975; Gumperz, Hymes 1972; Gumperz 1971; ср.: Chock, Wyman 1986].

91

Несколько позже теоретические и исследовательские установки Дж. Гамперца претерпели изменения и его подход, наиболее полно выраженный в [Gumperz 1982a], получил наименование ***интерактивной социолингвистики*** [Schiffrin 1994: 97—136]. К этому же направлению принадлежат работы Эрвина Гоффмана [Goffman 1967; 1971; 1972; 1974; 1981]. Антропологизм Гамперца и социологизм Гоффмана на удивление удачно дополняют друг друга: оба в фокус внимания помещают межличностную интеракцию с использованием языка, в основе интерпретации которой лежит категория ситуативно обусловленного смысла [развитие их идей в лингвистике см.: Brown, Levinson 1987; Schiffrin 1987; Tannen 1989; Spencer-Oatey 1996 и др.].

Еще одним источником современного коммуникативного дискурс-анализа была феноменологическая ***микросоциология*** **и** ***социология языка*** *(sociology of language),* представленная такими разными учеными, как уже упоминавшийся выше Эрвин Гоффман, а также Арон Сикурель и Гарольд Гарфинкель [Goffman 1967; 1971; Cicourel 1973; Garfinkel 1967]. С именем последнего тесно связана ***этнометодологическая*** традиция в социологии (сосредоточенная на анализе структур обыденного, повседневного разговорного общения и интерпретациях, лежащих в его основе), из чего развился ***конверсационный анализ*** [англ. *conversation analysis*; нем. *Konversationsanalyse* — Schegloff, Sacks 1973; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; Kalimeyer, Schütze 1976; Goodwin 1981; Henne, Rehbock 1982; Atkinson, Heritage 1984; Button, Lee 1987; Schegloff 1987; 1988; Goodwin, Heritage 1990; Boden, Zimmerman 1991; Watson, Seiler 1992; Sacks 1995; Psathas 1995 и др.].

Большое влияние на дискурс-анализ с 60-х гг. оказывала ***социолингвистика,*** уделявшая значительное внимание явлениям лингвистической вариативности, обусловленной социальными факторами (класс, пол, этнический тип и т. п.). Под влиянием работ Сюзан Эрвин-Трипп [1975] и Уильяма Лабова [1975; Labov 1972a; 1972b; 1973; 1977; Белл 1980; ср.: Карасик 1992; Мечковская 1996; Lincoln 1989 и др.] анализ функционирования и вариативности языка в реальной жизни привел к изучению разных типов дискурса, например, общения родителя и ребенка, врача и пациента, судебного заседания и т. п. При этом анализ вариативности практически смыкается с интерактивной социолингвистикой, антропологией языка и этнометодологией, воплощаясь в изучении отдельных социальных типов дискурса [ср.: Sinclair, Coulthard 1975; Ehlich, Rehbein 1975; Labov, Fanshel 1977; Ervin-Tripp, Mitchell-Kernan 1974; Ehlich 1980; Saville-Troike 1982; Garvey 1984; Trudgill 1984; Tannen 1984b; 1986; Fisher, Todd 1986; Moerman 1988; Burke, Porter 1991; Bhatia 1993; Stygall 1994; Eder e. a. 1995].

Поскольку речь зашла об антропологии языка, нелишне вспомнить работы Бронислава Малиновского и Джона Руперта Ферса и их роль в изучении

92

дискурса. ***Культурно-социологическая*** теория первого, выросшая из анализа «примитивных» языков [Malinowski 1923; 1972], выявляет взаимосвязь языка и культуры, обусловленную социальной и биологической природой человека, причем важной формой поведения считается фатическое *(phatic communion).* Малиновский одним из первых соединил изучение речевой коммуникации с методами антропологической и этнографической полевой

работы. Ферс, как и вся Лондонская школа структурной лингвистики, испытав влияние идей Э. Дюркгейма, Ф. де Соссюра, Э. Сепира, К. Леви-Строса и отчасти — бихевиоризма, признавал необходимость функционального изучения языка, личности и общества; обусловленность значения и смысла ситуационным контекстом. В это же время, что примечательно, в психологии развернулась дискуссия Эббингхауса — Бартлетта, в которой последний [Bartlett 1932] доказал, что в точном запоминании и понимании нарратива огромное значение имеют то, что сегодня называется когнитивными схемами *(schemata),* тема дискурса и *культурный фон.*

Функциональный структурализм Ферса стал фундаментом, на котором сформировались взгляды М. А. К. Хэллидея [Halliday 1978], в свою очередь оказавшего влияние на ***Бирмингемскую школу*** дискурс-анализа [Coulthard 1977; 1985; 1992; 1994; Coulthard, Montgomery 1981; Sinclair, Coulthard 1975; Edmondson 1981] и ***критический дискурс-анализ*** [ван Дейк 1994; Водак 1997; Fairclough 1989; 1992; 1995; van Dijk 1993; 1996; 1997с; Caldas-Coulthard, Coulthard 1996; Wodak 1996; Gee 1996; см.: Шейгал 2000], унаследовавший глубокий интерес к социально-культурным аспектам языка.

Своеобразно предвосхитил пришествие дискурс-анализа и Кеннет Ли Пайк [Pike 1996], которому *volens nolens* приходилось со своими коллегами по *Summer Institute of Language* заниматься структурами «больше предложения» в процессе перевода Библии на различные языки.

Следующим направлением, крайне важным для становления дискурс-анализа, были работы по ***аналитической философии,*** сложившиеся позже в ***теорию речевых актов*** Джона Остина [1986; Austin 1962] и Джона Роджерса Сёрля [1986; Searle 1969; 1992; Searle e. a. 1980; ср.: Sadock 1974; Cole, Morgan 1975; Wunderlich 1976; Lanigan 1977; Bach, Harnish 1979; Evans 1985; Verschueren 1980; 1987; Wierzbicka 1991;Nuyts 1993;Geis 1995], а также ***«логику речевого общения»*** Герберта Пола Грайса [1985; Grice 1971; 1975; 1978; 1981] и ***«риторическую прагматику»*** Джеффри Лича [Leech 1980; 1983]. Они создали концептуальную структуру *прагматической* теории языка, соотносящей языковые объекты с социальными действиями, причем проблематика речевых актов наряду с понятиями референции, пресуппозиции, импликатуры на долгое время стала неотъемлемой частью прагматики языка [см.: Schlieben-Lange 1975; Allwood

93

1976; Cole 1978; 1981; Gazdar 1979; Parret 1980; 1983; 1993; Parret, Sbisa 1981; Levinson 1983; Eluerd 1985; Verschueren 1985; 1987; Haslett 1987; Givón 1988; Reyes 1990; Davis 1991; Flader 1991; Blakemore 1992; Escandell Vidal 1993; Escudero, Corna 1993; Mey 1993; Arens 1994; Moeschler, Reboul 1994; Fonseca 1994; Grundy 1995; Thomas 1995; Yule 1996; Segerdahl 1996 и др.].

Психолингвистика, когнитивная психология **и** ***искусственный интеллект,*** переориентировавшиеся в 70-е гг. с генеративных моделей на обработку текста *(discourse processing),* стали еще одним источником идей для дискурс-анализа. Возник интерес к процессам восприятия, запоминания, репрезентации, хранения в памяти и воспроизведения текстовой информации. Моделирование знаний в системах искусственного интеллекта предоставило формальный аппарат для анализа контекстуальной информации, участвующей в интерпретации дискурса в виде фреймов и сценариев. Здесь прежде всего следует отметить работы таких ученых, как Марвин Минский, Вальтер Кинч, Томас Бал-мер, Роджер Шенк, Роберт Абельсон и др. [ван Дейк, Кинч 1988; Минский 1979; Шенк 1980; Schank, Abelson 1977; Ballmer 1980; 1985; Lehnen 1980; Schank 1982; 1986; 1990; Altmann 1990; Carberry 1990; Schank, Langer 1994; Weaver e. a. 1995]. Любопытную роль в развитии этого направления сыграло создание в Йельском университете так называемой *«Goldwater machine»,* успешно имитировавшей идеологически обусловленное речевое поведение известного политического деятеля, претендента на президентский пост Барри Голдуотера. Наконец, сама лингвистика уже вышла за рамки предложения: ***грамматика*** **и** ***лингвистика текста*** *(text grammar, text linguistics),* представленные работами Тойна ван Дейка [1978; 1989; van Dijk 1977; 1980; 1981; 1985], Вольфганга Дресслера [1978; Dressler 1978], Роберта де Богранда [Beaugrande 1980], Зигфрида Шмидта [1978; Schmidt 1978] и других [см.: Breuer 1974; Kalverkämper 1981; Fritz 1982], стали еще одним мощным источником развития интегральной теории дискурса.

Важной вехой в становлении лингвистики текста в 60-х гг. стал исследовательский проект в университете г. Констанц [*Konstanz project*], целью которого была выработка грамматики и лексикона для порождения брехтовского текста [см.: van Dijk e. a. 1972]. Вслед за этим Я.

Петефи создает свою семантико-прагматическую теорию TeSWeST [*TextStruktur-WeltSTruktur*—Petöfi 1978; 1980]. Высокоуровневый семантический анализ, выявление смысловых макроструктур в работах Т. ван Дейка сочетается с поиском комплексной текстуальности 3. Шмидта, выявлением текстообразующих корреляций с фонологическими и синтаксическими структурами в теории когезии [Halliday, Hasan 1976], тематическими прогрессиями Ф. Данеша, а также процессуальными моделями Р. де Богранда и синтаксисом текста В. Дресслера. Данные достижения и связи

94

лингвистики текста со стилистикой, риторикой и машинным моделированием были переработаны и интегрированы дискурс-анализом.

В отличие от Европы в Великобритании и США лингвистика текста фактически не прижилась, хотя разработка грамматики дискурса Роберта Лонгейкра [Longacre 1983; см.: Hwang, Merrifield 1992] и функциональной грамматики дискурса, автором которой является Толми Гивон [Givón 1979; 1988; 1995], осуществляются в близком направлении. Надо отметить еще одну европейскую школу — *анализ диалога,* особенно его представителей в Германии и Финляндии [Canisius 1986; Carlson 1983; Fritz, Hundsnurscher 1994; Weigand 1994; Moilanen e. a. 1994; Hundsnurscher, Weigand 1995; Dascal 1985; ср.: Девкин 1981; Чахоян 1979; Комина 1984; Жалагина 1988; Романов 1988]. В отечественной науке получила развитие ***коллоквиалистика:*** лингвистический анализ устной разговорной речи [см.: Скребнев 1985; Сиротинина 1983; Лаптева 1976; Земская и др. 1981; Бойкова и др. 1988; Филиппов 1989].

3.2.2 Подходы к изучению языкового общения

Краткий обзор предыстории парадигмы показал, что дискурс-анализ не случайно характеризуется сочетанием методологии и теории, обязанных своим происхождением многим различным направлениям и дисциплинам.

В традиции изучения языкового общения можно выделить ряд школ и направлений, имеющих собственное теоретическое лицо и уже утвердившихся в роли самостоятельных исследовательских практик, обладающих своей методологией. К тому же все эти подходы, часть из которых была перечислена выше, отличаются не только историей своего развития, но и географическим ареалом распространения.

Поскольку многие европейские исследователи, обратившиеся к анализу языковых структур «выше предложения», сохранили традиционный интерес к проблемам стилистики, герменевтики, риторики и эстетики, то их увлечение изучением конкретных текстов, часто литературных, оказалось вполне естественным. В англо-американской академической традиции связь дискурс-анализа с литературой если и была, то самая незначительная. Зато там этнографические и философские основания определили исключительный интерес к анализу естественной звучащей речи в социально-когнитивном контексте.

Большинство обзоров среди основных подходов к изучению дискурса (в широком смысле) и прагматики языка в целом выделяет следующие [ср.: Verschueren e. a. 1995; Schiffrin 1994]:

• теория речевых актов (Дж. Остин, Дж. Р. Сёрль, Дж. М. Сейдок, П. Коул, Д. Вундерлих);

95

• логико-прагматическая теория коммуникации (Г. П. Грайс, Дж. Лич, Дж. Газдар, С. Левинсон, П. Браун);

• конверсационный анализ (Г. Сакс, Э. Щеглов, Г. Джефферсон, Д. Циммерман, Дж. М. Аткинсон, Ч. Гудвин, Г. Хенне, Г. Ребок, К. Элих, Й. Ребайн);

• лингвистический анализ диалога (М. Даскал, Ф. Хундснуршер, Э. Вайганд, Г. Фриц, Л. Карлсон);

• лингвистический дискурс-анализ (Бирмингемская школа: Дж. Синклер, М. Култхард, Д. Брэзил, Д. Гиббон);

• лингвистика текста (В. Дресслер, Р. де Богранд, Т. ван Дейк, 3. Шмидт) и грамматика дискурса (Р. Лонгейкр, Т. Гивон);

• критический дискурс-анализ (Н. Фэйрклау, Р. Лаков, Р. Водак, Т. ван Дейк);

• социолингвистический анализ вариативности (У. Лабов, С. М. Эрвин-Трипп);

• интерактивная социолингвистика (Дж. Гамперц, Э. Гоффман);

• этнография коммуникации (Д. Хаймс, Дж. Гамперц, Дж. Филипсен);

• модели репрезентации дискурса в теории искусственного интеллекта (Р. Шенк, Р. Абельсон);

• когнитивные и психолингвистические модели обработки и понимания дискурса (Т. А. ван

Дейк, В. Кинч).

Как видно из этого далеко не полного списка — существуют и другие подходы, как, например, *типологический дискурс-анализ* [Myhill 1992], — некоторые школы, послужившие предпосылками формирования дискурс-анализа как междисциплинарного [см.: van Dijk 1997b; 1997a] научного направления, развиваются вместе с ним и фактически стали его составными частями. Другие, наоборот, «ушли в тень». Третьи сами возникли не так давно. Одной из задач данной работы является критический синтез идей этих направлений с элементами научной картины мира, изложенными в главах 1 и 2.

3.2.3 Дискурс-анализ *vs.* конверсационный анализ

Отметим, что наибольший интерес для нашего исследования представляют именно те направления, которые уделяют достаточно много внимания речевой коммуникации, ее социокультурным, интерактивным и когнитивным аспектам, «смычке» социального и психологического в коммуникативном взаимодействии — в дискурсе. Оставив более детальный разбор многих теоретических положений и исследовательских приемов названных выше школ на потом, сосредоточимся на двух из них, тем более, что их соотношение вызывает острые споры.

Одно из них продолжает линию, идущую от Ферса и Лондонской школы функционального структурализма через социальную семиотику М. Хэллидея

96

к Бирмингемской группе исследователей, за которой, собственно, и закрепилось само название *дискурс-анализ* [Coulthard 1977; 1985; 1992; 1994; Coulthard, Montgomery 1981; Sinclair, Coulthard 1975]. Это направление представлено многими публикациями, но, пожалуй, больше всего оно ассоциируется с именами Джона Синклера и Малколма Култхарда, стоявшими во главе проблемной группы по исследованию английского языка в университете г. Бирмингема (English Language Research Group, University of Birmingham), хотя к этой школе порой примыкают исследования, выполненные в других традициях, как, например, основанная на теории речевых актов работа Виллиса Эдмондсона [Edmondson 1981] или социолингвистические вариации Майкла Стабза [Stubbs 1983].

Бирмингемская модель дискурс-анализа была разработана в результате проекта «The English Used by Teachers and Pupils» (сентябрь 1970 г. — август 1972 г.), спонсором которого выступил Совет по исследованиям в области социальных наук *(Social Science Research Council).* Изучая речевое взаимодействие учителей и учеников на уроках, авторы проекта пытались найти ответы на вопросы о том, как связаны соседние высказывания в потоке речи, кто и как управляет ходом общения, как меняются роли говорящего и слушающего, как вводятся новые темы и как заканчиваются старые, как, какими языковыми данными можно доказать существование единиц, превосходящих высказывание и т. д. [Sinclair, Coulthard 1975: 4]. Школьный урок представлял собой довольно удачный языковой материал, лишенный хаоса и спонтанности обыденной повседневной речи, что позволяло легче выделять структурные единицы дискурса.

Это направление в изучении языкового общения основано на солидном лингвистическом фундаменте, чем оно резко отличается от *конверсационного анализа,* как отмечалось выше, своим происхождением обязанном социодраматической концепции Э. Гоффмана и радикальной форме социологии — этнометодологии Г. Гарфинкеля. Конверсационный анализ был впервые разработан в пионерских исследованиях Гарви Сакса в начале 60-х годов в университете штата Калифорния [Sacks 1995]. Географически и сегодня конверсационный анализ сосредоточен главным образом в США, хотя немало оригинальных исследований выполнено в Германии, Италии, в 90-х годах этот подход переживает бум во Франции [ср.: Henne, Rehbock 1982; Kerbrat-Orecchioni 1990; 1992; 1994; 1996; Maingueneau 1991; Kerbrat-Orecchioni, Plantin 1995; Orletti 1994].

Рабочей гипотезой, с которой Г. Сакс начал анализ телефонных звонков в центр предотвращения самоубийств Лос-Анджелеса, было предположение о структурной организации самых обычных разговоров, которую можно

97

изучать посредством многократного наблюдения, прослушивания записанных эпизодов естественного речевого общения. Постепенно его вниманием все больше овладевали механизмы и правила мены коммуникативных ролей и особенности линейного

структурирования разговора в аспекте социальной организации взаимодействия. Позже был расширен круг анализируемого речевого материала, сформировался новый метод его изучения, уточнены теоретические положения.

Помимо Гарви Сакса это направление также тесно связано с именами Эмануила Щеглова и Гэйл Джефферсон, которым мы обязаны не только посмертным изданием полного текста лекций Сакса *«Lectures on Conversation»* [Sacks 1995] (как не вспомнить историю с *Курсом* Соссюра), но и всесторонним развитием конверсационного анализа, в частности, ставшей классической работой о мене коммуникативных ролей, а также расширением объема и характеристик эмпирического материала, привлекаемого к исследованию [см.: Schegloff, Sacks 1973; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; Schegloff 1987; 1988; Button, Lee 1987; Taylor, Cameron 1987; Boden, Zimmerman 1991; Psathas 1995].

«Нелингвистичность» конверсационного анализа обусловила его непростые отношения с дискурс-анализом. Одни принципиально отрекаются от лингвистического дискурс-анализа [Levinson 1983], у других оба этих подхода фигурируют как два равноправных, самостоятельных метода [ср.: Drew 1995; Potter, Wetherell 1995]. В то же время конверсационный анализ нередко рассматривается в качестве одного из частных подходов в рамках интегральной теории и практики изучения дискурса [Schiffrin 1994; Malmkjær 1995: 101]. Некоторые авторы, пытаясь уйти от даже подразумеваемого противопоставления, избегают пользоваться обоими терминами, предпочитая нейтральные *discourse studies* [Renkema 1993] или *spoken interaction* [Stenström 1994].

Дискурс-анализ и конверсационный анализ отличаются и теоретически, и методологически, хотя и имеют много общего. Оба направления отталкиваются от структуры, а не от функций. Оба направления весьма похоже выделяют сегменты дискурса. В то же время дискурс-анализ незаслуженно считается методом дедуктивным, выводящим гипотезы из «грамматики дискурса», а конверсационный анализ — индуктивным, где гипотезы могут появляться лишь из наблюдения эмпирического материала [*rule* or *grammar driven* vs. *data driven* — Mey 1993: 195].

Следуя этой логике, С. Левинсон делает вывод о методологическом и теоретическом приоритете конверсационного анализа, с ходу отвергая дискурс-анализ как «fundamentally misconceived» [Levinson 1983: 288]. Сегодня объяснение этому видится в многозначности термина «дискурс-анализ»: С. Левинсон скорее всего говорит о структурно-формальной традиции изучения дис-

98

курса, связанной с синтаксически ориентированной грамматикой текста, которая понимается как речеактовое дополнение к традиционной грамматике, надстраивающееся выше уровня предложения. Но и в этом случае его критика выглядит необоснованно резкой: «it (discourse analysis. — *M. M.*) is no more 'misconceived' than is 'classical' transformational grammar» [Mey 1993: 195].

Дискурс-анализ в бирмингемской версии не отрицает конверсационного, а скорее включает его [Coulthard 1985: 59], оговаривая этнометодологические отличия последнего от собственного «лингвистического» подхода. Экстралингвистические истоки конверсационного анализа не должны быть препятствием на пути к интеграции этого подхода в модель анализа языкового общения, особенно если вспомнить, что это не первая и не последняя традиция в изучении речевой коммуникации, возникшая за пределами лингвистики (ср.: теория речевых актов, этнография коммуникации и т. д.).

В пользу интеграции конверсационного анализа в междисциплинарный дискурс-анализ говорит само соотношение категорий «дискурса» *(discourse)* и «разговора» *(conversation):* разговор — это лишь частный случай дискурса, но не наоборот. Понятно, что вследствие этого нельзя говорить о *конверсационном анализе* как о синониме *дискурс-анализу.* При этом надо помнить, что и дискурс-анализ (в широком смысле) не сводим к традициям одной лишь Бирмингемской школы.

3.2.4 Уточнение определения

Уже в первом сопоставлении различных подходов наглядно проявляется многозначность самого термина «дискурс-анализ», отчасти обусловленная неоднозначностью исходного понятия «дискурс». Встречается по крайней мере три его употребления, в связи с чем иногда возникает опасность терминологического многозначия, некорректной подмены смыслов:

1) дискурс-анализ (в самом широком смысле) как интегральная сфера изучения языкового

общения с точки зрения его формы, функции и ситуативной, социально-культурной обусловленности;

2) дискурс-анализ (в узком смысле) как наименование традиции анализа Бирмингемской исследовательской группы;

3) дискурс-анализ как «грамматика дискурса» (Р. Лонгейкр, Т. Гивон), близкое, но не тождественное лингвистике текста направление.

В данной работе понятие «дискурс-анализ» употребляется преимущественно в первом, самом широком значении. Второе значение, где необходимо, уточняется, а третье замещается сочетанием *грамматика дискурса.*

Широкое, интегрирующее определение *дискурс-анализа* соответствует широкому толкованию *дискурса,* принятому в 3.1, и понятию *discours,* кото-

99

рое обозначил Г. Гийом [1992: 36—39], критически разбирая соссюровскую формулу *langage = langue + parole. Discours,* как *построение речи,* он ввел в качестве четвертого элемента, сместив смысл в понятии *речь* в сторону акта физического *говорения (parole effective),* отличая ее от идеальной речи *(parole-idée)* на уровне языка *(langue),* который существуют в людях в форме возможности *(puissance),* только *in potentia* [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 75—77].

В социальных науках за пределами языкознания «дискурс-анализ» обозначает методологию исследования в русле постструктурализма, постмодернизма [см.: *Порядок дискурса* — Фуко 1996b: 47—96; 1996a; Foucault 1971], а также герменевтики [*Слово как дискурс* — Рикёр 1995: 129—136]. Видимо, пока нет необходимости особо оговаривать такие случаи, поскольку их с полным основанием можно включить в объем термина *дискурс-анализ* в первом, наиболее широком смысле. Тогда можно согласиться с обобщающим пониманием дискурс-анализа как междисциплинарной области знания, в которой наряду с лингвистами участвуют социологи, психологи, этнографы, литературоведы, стилисты и философы [ЛЭС: 137].

3.3. МЕТОДОЛОГИЯ ДИСКУРС-АНАЛИЗА

Truth is stranger than fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities; truth isn't.

M. TWAIN, «Pudd'nhead Wilson's New Calendar»

Вопросы использования тех или иных методик и приемов сбора обработки и транскрипции лингвистического материала помимо своего прикладного, практического значения, важны теоретически, потому что дискурс-анализ выступает не только как теория языкового общения, но и как инструмент познания, возможности которого выходят за узко лингвистические рамки.

3.3.1 Общие проблемы сбора материала

Как ни странно, но многие авторы обходят стороной проблемы сбора материала и его обработки, транскрипции, сегментации, сопоставления и описания, как и технические вопросы работы с информантами, хотя это один из основных этапов исследования, во многом определяющий его результат. Возможно, для кого-то эти проблемы не выглядят принципиально важными. Возможно, мода на методологические дебаты отошла после того, как Н. Хомский подверг резкой критике эмпирические увлечения полевой работой в период с 1920-х по 1950-е годы, а его влияние на развитие лингвистики, в частности американской, переоценить трудно. И только этно- и социолинг-

100

вистические изыскания сохранили пиетет по отношению к этой теме, где прежде всего надо отметить позицию У. Лабова [1975; Labov 1972a].

Сегодня можно констатировать отсутствие единой системы общепризнанных и общепринятых методик, правил и процедур сбора, представления и описания языкового и прежде всего — речевого материала. Даже исследования именно языкового общения порой не могут предъявить сколь-либо серьезного эмпирического подтверждения, в них просто-напросто отсутствует корпус текстов. Многие работы легко обходятся «искусственными» примерами, придуманными самим авторами. Лишь в рамках социолингвистики, конверсационного анализа и дискурс-анализа встречаются работы, содержащие детальные транскрипты коммуникативных событий [Schegloff, Sacks 1973; Stubbs 1983; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; Coulthard 1985; Sinclair, Coulthard 1975; Boden, Zimmerman 1991; Sacks 1995], в последнее время их число постепенно растет.

Общее решение проблемы отбора материала состоит в преимущественном анализе ***транскриптов*** аудио- и видеозаписей речевых событий в комплексе с разнообразными ***этнографическими наблюдениями*** [об этнографических подходах к изучению речи и коммуникации — Орлова 1994: 85; Emerson e. a. 1995], дополненными данными как естественного (например, пассивного наблюдения), так и экспериментального (активного) характера [Stubbs 1983:218].

Означает ли это категорический отказ от использования в качестве языкового материала текстов массовой коммуникации, художественной литературы и т. п.? Абсолютно нет. «Лингвисты глубоко правы в том, что, разыскивая норму данного языка, обращаются к произведениям хороших писателей, обладающих очевидно в максимальной степени... оценочным "чувством" или "чутьем языка"» [Щерба 1974: 37]. Тексты средств массовой коммуникации, различных субкультур в наши дни представляют особый интерес для исследований языка в социокультурном аспекте. Все зависит от конкретных целей и задач: не для всякого анализа хорош литературный материал; просто надо отдавать себе отчет в том, что строить только на нем изучение, скажем, разговорной речи по меньшей мере некорректно.

Одним из трудных, но преодолимых препятствий на пути исследователя оказывается *проблема технической записи* корпуса текстов. Особенно это касается записи речи в общественных местах, где уровень помех (шум толпы, шарканье ног, эхо, отражающееся от стен и т. п.) превосходит полезный сигнал. Оптимальной ситуацией можно считать запись общения в малой группе (до 7—8 человек), когда микрофон находится либо в центре помещения, либо У одного из участников взаимодействия. Видеозапись с разных точек позво-

101

ляет систематически и в полном объеме учитывать нелингвистические аспекты общения и ситуативный контекст.

Следующим вопросом, имеющим большое значение, как с теоретической, так и с практической точек зрения, стал вопрос о необходимом и достаточном ***объеме речевого материала.*** Главным фактором, определяющим объем, следует признать *цель* анализа [см.: Лабов 1975; Labov 1972a]. Совсем не обязательно набирать необъятную статистику или базу данных, сам по себе валовой эмпирический продукт не гарантирует успеха в дискурс-анализе. Оптимальный объем данных лишь должен обеспечить корректность анализа и достоверность выводов. Качественный, интерпретативный анализ практикует в отдельных случаях идиографический подход, позволяющий строить анализ на единственном, отдельно взятом случае.

3.3.2 Общие проблемы транскрипции

Перенос звукового образа дискурса с аудио- или видеоносителя на бумагу ***(транскрипция)*** отнимает довольно много времени и ничуть не меньше места: достаточно упомянуть, что речевое событие продолжительностью 45— 50 минут (например, один урок) может «съесть» 30 страниц стандартного текста (конечно, если это не была контрольная по математике). Сложность и многоуровневость транскрипции лишь добавляют работы. Если доводить транскрипцию до уровня подробной фонетической записи с отображением каких-то аспектов интонации, то пятиминутный сюжет может обойтись в добрых 25—30 часов исследовательского времени.

Транскрипция сама по себе является очень чувствительным моментом, самым существенным образом влияющим на весь ход анализа записанного фрагмента общения. Не секрет, что разные исследователи произведут отличные друг от друга транскрипции одной и той же аудиозаписи. Расхождения будут не только в сфере переноса интонации, пауз, границ реплик, перебивания, что, как правило, естественно, но даже в определении словарного состава.

Из того, что известно о сложных когнитивных процессах, происходящих в сознании человека, осуществляющего транскрипцию, на него, как и на всякого пользователя языка, положиться нельзя: «The transcriber, considered as a language user, is *"often quite unreliable"»* [MacWhinney, Snow 1990: 457]. Исследования показали, что в процессе транскрипции человек непроизвольно искажает дискурс, переставляет, пропускает и подменяет какие-то элементы, неверно «слышит» его [O'Connell, Kowal 1995a: 103]. Это еще раз демонстрирует интерпретативный и во многом субъективный характер исследования уже на уровне транскрипции устного дискурса.

102

Самый обыкновенный разговор выглядит весьма сложным и неудобным для чтения, будучи перенесен на бумагу в своем первозданном виде, безо всякого редактирования. Коммуниканты обычно не замечают этой сложности в устном общении, она проявляется только в транскрипте, под рукой лингвиста, кодирующего такие «атрибуты» диалога, как *фальстарты, хезитации, коррекции,* а также фиксирующего эллиптичность, наложение в потоке речи слов одного говорящего на слова другого и т. п.

«Наша устная речевая деятельность на самом деле грешит многочисленными отступлениями от нормы. Если бы ее записать механическими приборами во всей ее неприкосновенности, мы были бы поражены той массой ошибок в фонетике, морфологии, синтаксисе и словаре, которые мы делаем. ... Мы нормально этих ошибок не замечаем — ни у себя, ни у других: "неужели я мог так сказать?"... Всякий нормальный член определенной социальной группы, спрошенный в упор по поводу неверной фразы его самого или его окружения, как надо правильно сказать, ответит, что "собственно надо сказать так-то, а это-де сказалось случайно или только так послышалось"» [Щерба 1974: 36]. Но для дискурс-анализа учет ускользающих от внимания «опривыченных» в условиях устного общения «ошибок» и их кодификация очень важны. Соответственно целям и задачам конкретного исследования необходимо с самого начала определить степень детализации транскрипции, решить, какие аспекты дискурса можно игнорировать, а какие — наоборот, выделить.

Зависимость метаязыка транскрипции от теории или методологических установок, а главное — от целей и задач любого исследования так велика, что вряд ли целесообразно стремиться к созданию нотационной системы, годной на все случаи жизни: «We ourselves find it difficult to consider such a field-wide standard as a desideratum» [O'Connel, Kowal 1995a: 95]. Однако некоторую преемственность или унификацию все же хотелось бы видеть (по крайней мере в обозначении свойственных всякой устной речи признаков: мены коммуникативных ролей, запинок, ошибок, пауз и т. д.).

Стандартизация предстает в виде главнейшей задачи также в свете компьютеризации форм транскрипции устного дискурса, создания баз данных, облегчающих доступ к таким «текстам» и дальнейшую работу с ними всем желающим. Первые опыты такого рода уже имеются: London-Lund Corpus, Lancaster Spoken English Corpus, PIXI Corpora, Birmingham Collection of English Text (BCET). Corpus of Spoken American English (CSAE) обеспечивает в интерактивном режиме компьютерный доступ через сеть не только к транскриптам, но и к звуковым оригиналам. И все-таки общепризнанной нотационной системы так и не создано.
103

3.3.3 Парадокс наблюдателя

Другой известной трудностью этнографического сбора лингвистических данных является так называемый ***парадокс наблюдателя.*** Нам-то хочется узнать, как люди разговаривают, не будучи «под колпаком» у исследователя. Если информанты знают или подозревают, что за ними наблюдают, то их речь обычно становится менее непринужденной, происходит сдвиг в сторону более формального стиля общения. В связи с этим труднее всего собирать данные о фамильярном и интимном общении. Можно, конечно, производить записи «скрытой камерой», например, бытовых, деловых и прочих разговоров, в том числе и бесед по телефону. Но в этом случае вмешиваются моменты этического и юридического свойства, заметно ограничивающие возможности анализа, а иногда просто налагающие *veto.*

С другой стороны, совершенно *свободного,* непринужденного, абсолютно естественного общения не существует вообще, всякий раз говорящий учитывает *социальный контроль* со стороны участников взаимодействия и соответственно приспосабливает свою речь к условиям конкретной ситуации общения. Реакция на исследователя с магнитофоном — это лишь частный случай такой адаптации. Погоня за абсолютно естественным языковым материалом — это «методологическая химера» [Stubbs 1983: 225].

То, что исследователь получает в результате записи, когда общающиеся знают о ней, дает представление об особенностях дискурса в определенных условиях дискомфорта, а не о *чистом, нормальном* диалоге, типичном для данной ситуации. Можно, конечно, попробовать выделить и изучить только изменения в речевой деятельности информантов, обусловленные эффектом присутствия наблюдателя. Но простое механическое *вычитание* этих черт все равно не передает общей картины нормального разговора. Лучший выход из положения — дать коммуникантам время, чтобы они просто привыкли к микрофону (сначала можно ставить его,

не включая запись). Примечательно, что в стрессовых ситуациях участники общения также иногда «не замечают» микрофона, находясь под прессом другой доминанты.

Парадокс наблюдателя имеет и обратную сторону, не менее коварную: восприятие и осмысление полученного материала оказываются не такими простыми этапами анализа для самого интерпретатора. Как правило, ученый, говорящий на том же языке и привыкший к тому же набору вариантов и способов языковой коммуникации, что и испытуемые, многие важные моменты речевого общения просто *пропускает,* потому что они для него настолько же естественны и принимаются им как должное, как норма, а усвоенную норму бывает очень трудно выделить. *Отклонения от нормы* когнитивно заметнее, поэтому-то и привлекают повышенное внимание случаи нарушения норм в

104

общении или случаи нетипичного общения, например, общения людей с частично или полностью потерянным зрением как друг с другом, так и с вполне здоровыми людьми. По той же причине Л. В. Щерба [1974: 33] писал об исключительной важности «отрицательного языкового материала», т. е. неудачных высказываний с пометкой «так не говорят», позволяющих уловить и запечатлеть норму.

3.3.4 Репрезентативная выборка и триангуляция

Для решения проблемы сбора достаточного и необходимого количества достоверной языковой и сопутствующей информации предлагается проводить ***репрезентативную*** или ***теоретическую выборку*** [*theoretical sampling* — Stubbs 1983: 230 и сл.]. Само понятие выборки подразумевает случайность «забора образцов». Однако случайность такого поиска часто оказывается относительной (например, простой опрос по телефону уже ограничивает круг информантов людьми определенного социального статуса — теми, у кого есть телефоны и кто в течение дня, как правило, находится дома).

Исследователь условно разбивает всю совокупность своих потенциальных информантов по «теоретическим» категориям и делает выборку из каждой из них, зондируя таким образом качественно отличающиеся группы информантов, получая необходимые и достаточные сведения о реальном функционировании языка в различных социумах, что в итоге позволяет воссоздать целостную языковую картину в рамках всей общности.

При этом необходимо помнить, что результаты подобной теоретической выборки в обследовании какой-то одной ситуации лучше всего подтвердить сравнением с данными, полученными в результате анализа этой же ситуации другими методами, с других точек зрения. Иногда такой подход называется «триангуляцией» [*triangulation* — Stubbs 1983: 234] — здесь явно усматривается научная метафора, построенная на аналогии между многогранностью треугольника и изучением разных аспектов, разных сторон ситуации общения с разных точек зрения. Для коммуникативного дискурс-анализа наиболее полезно сочетание данных этнографического, социологического, психологического анализа. Данный подход, в частности, является обязательным условием в исследовательских традициях конструктивизма.

Количественные методы следует дополнять качественными и наоборот. Нельзя исключать интерпретации записанных речевых событий самими участниками общения, эти интроспективные данные не должны отбрасываться по причине *субъективности* или *непрофессиональности.* Каждый из методов и приемов сбора языковых данных, взятый по отдельности, таит в себе опас-

105

ность искажения реальной картины и даже потенциально ошибочен, но в своей совокупности они позволяют максимально подойти к самому корректному анализу предмета исследования — речевого общения. Поэтому исследования, ориентированные на широкий анализ языкового общения с точки зрения взаимодействия формы и функций, просто обречены на междисциплинарный статус, так как в них всегда приходится использовать целый комплекс методик, а также понятийно-теоретический аппарат и имеющиеся данные смежных наук. К тому же нужны своего рода «фильтры», обеспечивающие отбор только наиболее релевантных для анализа языка экстралингвистических факторов. В модели, развиваемой в данном исследовании, в качестве частных методик анализа и вершин в системе триангуляции выступают подходы, описанные во второй и отчасти первой главе. Многосторонняя верификация необходима практически для всех наук социального характера.

3.4. СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ УСТНОГО ДИСКУРСА

Verba volant, scripta manent.

Как уже отмечалось, создать универсальную систему транскрипции устного дискурса никому еще не удалось: «записывать «тексты» может всякий; хорошо записывать тексты уже гораздо труднее...» [Щерба 1974: 32].

3.4.1 Общие критерии и принципы транскрипции

Существует два общих подхода к проблеме транскрипции: от теории к практике и наоборот — от практики к теории. Первый подход свято верит в метафору Элинор Окс *«Transcription as Theory»* [см.: Ochs 1979a;Du Bois 1991: 71; O'Connel, Kowal 1995b: 651], вследствие чего очень строго подходит к разработке основополагающих принципов, процедур выделения категорий дискурса, соответствующих нотационных символов и алгоритмов анализа. Особенно это свойственно школам, связанным с компьютерной обработкой транскриптов и ориентированным лингвистически. Другой подход вроде бы не занимается проблемами транскрипции вообще и уж точно не делает из нее теории, не изобретает систем основополагающих принципов и категорий, да и символы выбираются не всегда единообразно, порой приблизительно, часто заменяются или просто отбрасываются, если их утилитарная ценность не оправдывает ожиданий. В то же время есть определенный нотационный «каркас», представленный в форме традиции или практики, а также легенды обозначений где-то в приложениях к исследованиям. Этот подход типичен для конверсационного анализа и этнометодологии.

106

В обоих случаях надо помнить, что транскрипт недопустимо превращать в самодостаточную сущность, фетишизировать его — он неизменно вторичен. Истинным же предметом анализа остается разговор в естественных условиях социальной жизни: «...Nor should it be thought that transcripts are the data of conversation analysis as such. The data is naturally occurring conversation as a feature of social life» [Button, Lee 1987: 9; O'Connel, Kowal 1995b: 653]. И даже аудио- или видеозапись является транскрипцией «в широком смысле», приближающей исследователя к самому дискурсу [O'Connel, Kowal 1995 a: 97].

Для оценки нотационных систем некоторые авторы используют следующий набор «критериев»: *manageability, readability, learnability, interpretability* — транскрипт должен быть прост в обращении, чтобы его было легко составлять, изучать, читать и интерпретировать (человеку и компьютеру). На самом деле эти критерии не могут быть ни универсальными, ни практически определенными [O'Connel, Kowal 1995a: 96].

Научное предназначение нотационной системы состоит не в том, чтобы быть «легкой для чтения», а в том, чтобы ей было удобно пользоваться *(usability).* В этом случае для составителя транскрипта главным ее достоинством является четко определенное, однозначное отношение между элементами дискурса и знаками транскрипции. Для анализа важно, чтобы транскрипт содержал всю совокупность обозначений, указывающих на распределение, частотность и релевантность тех или иных компонентов социальной жизни.

До адресата или потребителя научной информации транскрипт может дойти в трех видах: на него может быть всего лишь сделана ссылка, может быть представлен какой-то его фрагмент (часто как иллюстрация) и, наконец, он может быть приведен полностью (в форме приложения или как-то иначе). Ни в одном из этих случаев нельзя установить некий стандарт «читабельности». Что и как дать в транскрипте целиком и полностью зависит от того, что этим хочет сказать автор, кому он хочет это сказать и с какой целью. Что касается пригодности транскрипта для машинной обработки, то это скорее вопрос программной *совместимости (compatability)* с метаязыком нотационной системы, а не «читабельности» как таковой.

Аналогично перечисленным выше «критериям», Дж. Дю Буа провозглашает пять максим транскрипции [Du Bois 1991: 78]:

1) *Category definition:* верно определи категории;
2) *Accessibility*: сделай систему доступной;
3) *Robustness:* сделай транскрипцию здравой;
4) *Economy:* сделай транскрипцию емкой;
5) *Adaptability:* сделай систему адаптивной.

107

С одной стороны, эти максимы сформулированы так, что с ними трудно не согласиться или

умышленно нарушить их, но, с другой стороны, эти формулировки настолько обтекаемы и общи, что их ценность с точки зрения построения конкретной системы транскрипции оказывается сомнительной. Дю Буа создал свою систему **DT,** соответствующую своим максимам, однако он не доказал преимуществ своей системы именно по этим пяти максимам.

Исходя из общего критерия работоспособности, полезности нотационной системы, рядом авторов были приняты следующие принципы транскрипции [см.: O'Connell, Kowal 1994: 102 и сл.; O'Connell, Kowal 1995a: 98—104; O'Connell, Kowal 1995b: 654—655]:

1. *Избирательность (Parsimony).* Транскрипции подвергаются лишь те компоненты дискурса, которые предполагается анализировать, следовательно, читателю в транскрипте должно быть представлено только то, что релевантно с точки зрения анализа, что придает ему осмысленность.

2. *Конвенциональность (Conventionality).* Графемы используются только для сегментного представления лексических единиц, а знаки препинания в их обычной функции стандартных символов для разделения структурных единиц и уточнения их значения.

3. *Лексическая целостность (Lexical Integrity).* Целостность слов не должна нарушаться никакими другими условными обозначениями (что резко повышает эффективность работы с транскриптом, и в плане его составления или анализа, и в плане восприятия, той самой «читабельности»).

4. *Объективность (Objectivity).* Субъективные восприятия, оценки и категоризации со стороны составителя транскрипта не должны подаваться как объективные измерения.

5. Однозначное соответствие (One-to-One Correspondence). Одному символу нотационной системы должно соответствовать только одно свойство устного дискурса и наоборот — один элемент речевой коммуникации (одна ее категория) должен быть обозначен только одним символом.

6. *Приоритет описаний (Description).* Паралингвистические вокальные проявления нефонологического характера, например смех или плач, следует описывать, а не обозначать условными символами.

7. *Раздельность (Separation).* Описания, интерпретации, пояснения и комментарии должны быть графически отделены и ясно отличимы от самого «текста» фонологического, вербального ряда транскрипта.

К слову, ни одна из известных нотационных систем всецело не отвечает требованиям взятых вместе семи принципов, имеющих по сути дела априорный статус.

108

Принцип конвенциональности легко соблюсти в отношении буквенных графем, но что касается знаков пунктуации, то здесь есть немало проблем: привнесение знаков пунктуации в их привычной функции, в которой они используются в письменных текстах, повышает субъективность анализа, вызывает много споров (поставить точку или запятую). Устный дискурс — это поток «слов» в «просодическом пространстве». Сочетание определенным образом сочлененных слов с паузами, интонацией, громкостью позволяет решать о функциях фразы в отношении дискурса. Поэтому вслед за Дж. Дю Буа нам можно выделить два аспекта анализа интонации: *функциональный* и *фонетический* [Du Bois e. a. 1993: 52—57] и переосмыслить традиционные знаки пунктуации с точки зрения функционального аспекта интонации дискурса, в частности, продолжения *(transitional continuity):* точка обозначает комплекс интонационных контуров («алломорфов интонации», по выражению Дю Буа) и пауз с функцией ***завершенности*** *(final);* запятая — комплекс интонационных контуров и микропауз с функцией продолжения или ***незавершенности*** *(continuing, «more to come»*); знак вопроса — в ***апеллятивной*** функции *(appeal)* обращения за поддержкой или подтверждением высказывания.

Просодическое прочтение знаков пунктуации свойственно многим [ср.: Du Bois 1991; Du Bois e. a. 1993; Chafe 1993: 43; Gumperz, Berenz 1993: 121; Schiffrin 1987; 1993: 431—432; Tannen 1989 и др.]. Но только с выделением не просто «интонаций», а *функциональных* просодических категорий мы можем добиться определенной универсальности транскрипции, потому что сами по себе интонационные «алломорфы» часто варьируются, а фонетический аспект интонации необходимо обозначать отдельно (когда в этом есть надобность). Например, в английском языке обычным выражением функции завершенности являются сильная нисходящая интонация плюс пауза, апеллятивной — сильная восходящая интонация, а незавершенность «обслуживается» рядом контуров: незначительным понижением или

повышением тона и нисходяще-восходящей интонацией, обычно в сочетании с очень короткой паузой, причем каждый них отличается своим прагматическим содержанием. В русском языке будут другие контуры, но три функции — завершенности, продолжения и апелляции так же легко выделить.

Интересная дискуссия развернулась по поводу четвертого принципа — *объективности.* В качестве «яблока раздора» можно взять такую простую, но очень ответственную операцию, как категоризация паузы [см. противоречивый анализ примера Э. Щеглова: Levinson 1983: 328; O'Connel, Kowal 1995 а: 100—101]. Одними паузы оцениваются чисто субъективно как (*не*)*значительные,* другими они хронометрируются с точностью до десятых долей секунды. Технически это сегодня вполне возможно. Но и полученная «объективно»

109

точная длительность паузы не снимает проблемы. Дело в том, что слушающий не измеряет абсолютную долготу паузы в речи. Восприятие этой величины на самом деле субъективно и относительно — оно зависит от многих факторов, например, ожидаемой ее долготы и темпа предшествующей речи. Пауза в 0,3 с. в разных условиях кажется одному и тому же человеку то длиннее, то короче. Нормы варьируются и социокультурно: англичане на стыке реплик обычно держат паузу (ожидают этого от других) дольше, чем американцы [см.: Edwards 1993: 23; Tannen 1984a]. Значит, «объективные» количественные методы не всегда оправданы. Исследователь, владеющий языком и нормами общения в данном социуме, производит эту оценку интуитивно, как и сами участники общения. Так интроспекция вновь доказывает свои методологические права. Только в измененной редакции, учитывающей высказанные замечания и аргументы, можно принять второй и четвертый принципы из приведенного выше списка.

имеет ощутимый интерпретативный, этнографический крен, но и она готова к машинной обработке;

• в дополнение ко всему перечисленному выше есть немало вариаций на тему названных выше систем Г. Джефферсон и Дж. Гамперца и Н. Беренц, что ничуть не удивляет, учитывая объем полевой работы, проделанной этнометодологией и социолингвистикой; в качестве примеров можно привести две системы Д. Таннен [Tannen 1989] и Д. Шифрин [Schiffrin 1987].

Кстати, DT, HIAT, и London-Lund Project давно получили мощное программное обеспечение и тоже «пересели на машины». Есть специальная система и для детской речи [см.: Bloom 1993]. Самым неудобным для компьютера и поныне остается метаязык транскрипций конверсационного анализа.

Если посмотреть на перечисленные системы в свете максим Дж. Дю Буа и общих принципов транскрипции по Коваль и О'Коннел, то легко убедиться, что принцип избирательности нарушается теми, кто хочет в транскрипте достичь уровня избыточности реального речевого общения, «present the multifaceted flux of discourse in a way that is as accessible to the analyst as it is to the participant» [Du Bois 1991: 97; O'Connel, Kowal 1995a: 99]. Во-первых, это утопия и утопия опасная, так как она ведет к подмене живого дискурса как предмета исследования его транскриптом. Во-вторых, это противоречит максиме экономии и настолько перегружает транскрипт, что эффективность работы с ним радикально падает. Этот упрек в разной степени можно адресовать этнометодологии и HIAT.

Принцип конвенциональности нередко нарушается коллегами Г. Джефферсон и ею самой (пример из [Jefferson 1984: 349]):

3.4.2 Существующие нотационные системы

Из применяющихся сегодня нотационных систем некоторые уже имеют относительно долгую историю (HIAT, традиции транскрипции речи в конверсационном анализе, интерактивной социолингвистике Дж. Гамперца):

• единственная в этом обзоре система для немецкого языка — ***HIAT*** — Конрада Элиха и Йохема Ребайна [*Halbinterpretative Arbeitstranskription* — Ehlich, Rehbein 1976; 1979; Ehlich 1993; в английским переводе Д. Гиббона, сохраняющем акроним — *Heuristic Interpretative Auditory Transcription*];

• традиция «драматической» записи в ***конверсационном анализе*** и ***этнометодологии,*** сложившаяся во многом благодаря Гэйл Джефферсон [Jefferson 1979; ср.: Atkinson, Heritage 1984: ix—xvi; Button, Lee 1987: 9—17; Boden, Zimmerman 1991: 278—282; Psathas 1995: 70—78];

• нотационная система, принятая в ходе европейского проекта *Survey of English Usage,* больше известного под именем ***London-Lund Project,*** осуществляемого при непосредственном участии Яна Свартвика, Роналда Кверка [Quirk 1992; Svartvik 1992] и отчасти Дж. Лича;

• система транскрипции дискурса Джона Дю Буа [Du Bois 1991; Du Bois e. a. 1993], именуемая *DT (Discourse Transcription),* предельно алгоритмизированная, нацеленная на работу с компьютером; У. Чейф предложил дополнение к DT для анализа просодических единиц [Chafe 1993];

• Джон Гамперц и Норин Беренц [Gumperz, Berenz 1993] разработали свою нотационную систему, естественным образом выросшую из традиции ***этнографических исследований речи*** в социальных институтах городов. Их система

110

```
M:  eh Not the floo:r one ehh:: h euh he h-heh-he h
                          [      [         [
G:                        e h h h e:h     he:h
```

Достаточно беглого взгляда, чтобы уловить в этом примере двусмысленность элемента *he.* Дю Буа и Гамперц вроде бы лояльны по отношению к буквам алфавита, но допускают вольности с пунктуационными знаками. И Гамперц, и Элих верны принципу лексической целостности, а вот Дю Буа легко нарушает его паралингвистическими символами, например, смеха — gra@ndmo@the@r [Du Bois 1991: 87], что затрудняет работу с транскриптом и искажает восприятие речи, создает иллюзию шести слогов в последнем примере. Это также противоречит принципам приоритета описания и раздельности. Конвенциональность нередко нарушается символом удлинения — floo:r [Jefferson 1984: 349; Tannen 1989]. Отметим, что и в этом случае релевантным оказывается удлинение слова, сегмента или слога [Gumperz, Berenz 1993;

111

Schiffrin 1987], а не звука. Применение символа к слову (кроме случаев необходимой индивидуализации) сохраняет его целостность, делает систему транскрипции более корректной и удобной для компьютерной обработки. Так или иначе, каждая система — это все же компромисс, и чем-то их авторы жертвуют вполне сознательно.

3.4.3 Запись вербальных компонентов

Системы транскрипции использовались в разных сферах деятельности (религия, право, медицина, образование) чуть ли не с момента появления письма, так что транскрипция устной речи «не относится ни к разряду новейших изобретений, ни к узко научным приемам» [O'Connel, Kowal 1995b: 647]. Транскрипции, как правило, подлежала одна вербальная составляющая общения, но и вербальный компонент может быть представлен разными способами (пока без указания на другие аспекты речи: интонацию, паузы, длительность звуков и слов, темп речи, громкость, придыхание, смех, плач, а также всевозможные экстралингвистические явления).

Стандартная орфография, соответствующая норме литературного языка, обеспечивает простоту и быстроту восприятия и обработки текста, однако при этом не могут быть зафиксированы потенциально значимые отклонения от нормы:

A: Her doctor never called again, you know?
B: No? Isn't this funny?
A: Yes. I mean it's not good enough, you know.
B: It isn't. ... Let me see, last night was it?

«Литературная» буквенная транскрипция *(literary transcription* — [Ehlich 1993]), хорошо знакомая по приемам характеризации речи в художественной литературе, учитывает типичные отклонения в произношении, например диалектные или разговорные *ye, wanna, gotta, gimme* вместо *your, want to, got to, give me,* при этом данная форма остается понятной всем, даже «непосвященным»:

A: Her docta never called again, ye know?
B: No? Ain't this funny?
A: Yep. I mean it's not good enough, y'know.
B: It isn't. ... Lemme see, last night was it, uh?

Псевдофонетическая транскрипция [*eye dialect* — O'Connel, Kowal 1995b: 648; Edwards 1993: 20; ср.: Macaulay 1991; Preston 1985 и др.] гораздо менее системна, но дает возможность учитывать

большее число отклонений, например: *uv* вместо *of*, *b'cuz* вместо *because, askedche* вместо *asked you.* К недостат-

112

кам этого способа относятся двусмысленность обозначений, непоследовательность кода, а также снижение впечатления в целом посредством возбуждения «пейоративных стереотипов» у читателя [Gumperz, Berenz 1993: 96 и сл.], что лишь усугубляется импрессионизмом английской орфографии: «eye dialect... is an impressionistic extension of English spelling» [Edwards 1992: 368]:

A: Huhr doctuh never call'd again, yeh know?

B: Noah? Ahn't thih funneh?

A: Yeahp. Ah mean it's not good enough, yih'no.

B: Ih tisn't. ... Lemme see las' nite wuz id uhh?

Фонетическая транскрипция обеспечивает самую точную и подробную передачу устной речи, но использование МФА требует специальной подготовки, усложняет обработку текста (многие символы отсутствуют на клавиатуре компьютера, хотя сейчас ведутся работы по внедрению транскрипции на базе MRPA — *Machine Readable Phonetic Alphabet*), да и сам МФА не был предназначен для больших фрагментов речи; этот способ можно использовать эпизодически — в тех случаях, когда особенное произношение сегмента имеет значение для общей интерпретации дискурса, в остальных же случаях пользоваться одним из перечисленных выше приемов [Du Bois e. a. 1993: 73—74].

Сравнивая эти четыре способа транскрипции, легко заметить отсутствие четкой границы между вторым и третьим и большую дистанцию, отделяющую их от первого и последнего. Первый способ может иметь преимущество при компьютерной обработке корпуса текстов, последний — при анализе устного дискурса на малоизвестных языках, особенно не обладающих письменностью. У. Чейф, защищая удобства первых двух методов транскрипции, мотивирует свой отказ от написаний типа *wuz* и *thuh* вместо *was* и *the* тем, что они не фиксируют ничего нового сверх того, что и так уже известно о произношении этих слов в разговорной речи [Chafe 1993: 34]. Дж. Гамперц и Н. Беренц по тем же причинам отвергают написание типа *b'cuz,* но выступают в пользу различения *-ing* и *-in'*, *want to* и *wanna,* так как последние отражают варианты, коррелирующие с определенными стилями речи [Gumperz, Berenz 1993: 97].

Не увлекаясь импрессионизмом псевдофонетического варианта, что почти всегда свойственно конверсационному анализу, признаем буквенную ***литературную транскрипцию*** более предпочтительным способом передачи устного дискурса, хотя для выделения важных индивидуальных особенностей, значимых отклонений от нормы возможно использование *eye dialect.* Степень как индивидуализации, так и стандартизации вербального аспекта дискурса в транскрипте зависит от исследовательских установок автора, его

113

целей, в чем косвенно сознается У. Чейф: «For my purposes, I am not interested in the fact that the *d* in the *and* in this example was not pronounced, that the pronunciation of *was* was phonetically obscure, or that the sequence *with them* contained only one dental fricative. Such pronunciations are normal for spoken English» [Chafe 1993: 34]. Для данного исследования и сформулированных выше целей анализа эти аргументы выглядят приемлемыми и убедительными.

3.4.4 Запись невербальных компонентов и общая композиция

Просодический компонент в его полном объеме и главное — динамике отобразить не удается практически никогда. Высота тона, интонационный контур, растягивание слогов и слов, как правило, передаются с помощью графических или буквенных символов, располагающихся между вербальными сегментами, за исключением ряда нотационных систем, где информация такого рода помещается параллельно вербальной [HIAT и HIAT 2].

Этот компонент важен для интерпретации дискурса, он несет большую семиотическую и психологическую нагрузку: высота, мелодика, темп и ритм речи, громкость — все идет в ход при формировании смыслов в условиях устного общения. Хотя и здесь исследователь сам решает в соответствии с целями и спецификой материала, сколь подробно отражать это в транскрипте. ***Паралингвистический*** элемент коммуникации имеет общее свойство с вербальной составляющей: использование артикуляционно-физиологического аппарата человека, его голоса и дыхания. Паралингвистические проявления в одних случаях могут быть выделены

в самостоятельные сегменты (говорящий на мгновение прекращает речь, чтобы, например, рассмеяться или вздохнуть), в других — они накладываются на вербальный сигнал (когда кто-то говорит, смеясь). Главная нотационная проблема сводится к неадекватности передачи с помощью статических графических символов динамических изменений ряда параметров, т. е. вариативного процесса с целым набором переменных.

Экстралингвистические элементы трудно систематизировать: кроме мимики, кинесики и проксемики сюда попадают практически все обстоятельства и события, сопровождающие акт общения. В этом кроется большая методологическая опасность: с одной стороны, если фиксировать все или почти все, анализ речи просто растворится в описании ситуации, но с другой стороны, всякое ограничение экстралингвистического компонента вовлекает фактор субъективности, так как сам исследователь в оценке кусочков общей картины приписывает им разную роль в коммуникативном процессе, причем не всегда правильно (неизбежны сбои в механизме каузальной

114

атрибуции). Осторожная избирательность представляется наиболее оптимальной стратегией.

В специальной литературе встречается три варианта общей композиции транскрипта, отображения временной динамики речи в двухмерной статике бумаги и дисплея: *вертикаль, колонки,* и *партитура* [Edwards 1993: 10—12].

Вертикаль — это, пожалуй, самая распространенная форма, со всей очевидностью реализующая принципы построения текста драматургического произведения:

A: Her docta never called again, [ye know?]
B: [No?] Ain't this funny?
A: Yep.

Вертикальная композиция имеет свои преимущества и недостатки, как и любая другая. К недостаткам этого способа Э. Окс относит «иллюзию равномерного участия» обеих сторон в диалоге [Ochs 1979a]. Следующая форма, форма **колонок,** более наглядно представляет эту асимметрию, но не всегда удобна для транскрипции больших объемов дискурса, особенно многостороннего диалога:

A:	**B:**
Her docta never called again,	
ye know?	No?
	Ain't this funny?
Yep.	

Третий способ композиционной организации транскрипта считают самым оригинальным, он лучше соотносит явления речи с другими компонентами общения, развивающегося во времени. В его основу легла музыкальная метафора — **партитура** [Edwards 1993: 10—11; Renkema 1993: 107 и др.]:

A: Her docta never called again, [ye know?] Yep.
B: [No?] Ain't this funny?

Этот вариант взят за основу в HIAT и HIAT 2, он также был использован другими учеными [ср.: Fishman 1978: 402; Tannen 1984b; Eckert 1993: 60—61]. Преимущество метода партитуры состоит в размещении на «нотном стане» всех типов информации о разных аспектах коммуникативного акта: транскрипция лингвистической составляющей общения дана параллельно просодической, паралингвистической и экстралингвистической. Но это преимущество может обернуться и недостатком: полнота передачи неязыковой информации влечет за собой перегруженность такого типа транскрипции. Если же перейти к избирательному отображению неречевых компонентов общения,

115

то данный способ теряет все свои преимущества перед другим, более интерпретативным методом, фиксирующим лишь релевантные (с точки зрения исследователя) явления. Формула одного из таких «других» способов напоминает ремарки в тексте драмы, но не до, а после высказывания [о влиянии драматургии на развитие нотационных систем см.: Du Bois 1991; Edwards 1993: 8; Renkema 1993: 108].

Драматургическая метафора «работает» как в оформлении транскрипта, так и в общей направленности анализа, восходящего к социодраматическим, феноменологическим интерпретативным подходам. Поэтому основными способами организации транскрипта

считаются вертикальная система расположения реплик и представление экстралингвистической информации в форме выделенного комментария «в тексте» *(interspersed).* Этот формат отвечает требованиям традиции транскрипции, получившей наименование *«Running Text»,* кратко — ***RT,*** в соответствии с которой отношение времени в динамике общения (включая вербальные и невербальные компоненты) преобразуется в пространственное отношение по принципу: что предшествует в процессе речи, располагается левее и/или выше в транскрипте [Edwards 1993: 12—13].

RT в контексте данного исследования имеет неоспоримое преимущество, потому что позволяет лучше отобразить коммуникативное событие в целом. Другие форматы [***UPC*** — *Utterance Plus Clarification* или ***SPS*** — *Segment Plus Specification* — Edwards 1993: 12—17] свои преимущества полнее раскрывают на уровне кодификации высказывания и его сегментов.

3.4.5 Система «ТРУД»: транскрипция устного дискурса

Как уже отмечалось выше, нотационная символика должна удовлетворять ряду принципов. К тому же выбор символа должен быть оправдан его распространенностью в других сферах словесности в приблизительно той же функции (многоточие для паузы, тире для прерывания) или же его мнемическими характеристиками: \ для обозначения нисходящей интонации, а / для восходящей [см.: *mnemonic marking* — Edwards 1993: 8—9; Gumperz, Berenz 1993: 100]. Все это должно обеспечить быструю и однозначную реакцию читающего транскрипт, а значит, повысить эффективность работы без предварительного специального обучения. Авторский вариант нотационной «азбуки» не без умысла решено назвать ***ТРУД*** (ТРанскрипция Устного Дискурса). Вербальные компоненты ТРУД кодирует «литературной» транскрипцией с элементами псевдофонетики *eye dialect;* главная композиционная форма — вертикальное размещение реплик и комментария (колонки используются там, где общение в группе распадается на параллельно протекающие обмены); основной формат — **RT**.

116

Категория	**Символ**
Идентификация говорящего и реплики *(turn)*	**A1:**
Идентификация слова *(word)*	пробел
Идентификация фразы *(intonation unit)*	строка
Обрыв слова *(truncated word)*	-
Обрыв фразы *(truncated intonation unit)*	—
Продолжение без паузы, подхват *(latching)*	=
Наложение речи 2 и более человек *(overlay)*	[ ]
Одновременное начало реплик *(turn-initial overlay)*	[[
Параллельные обмены *(parallel exchanges)*	‖ слева
Просодия завершенности *(final)*	.
Просодия продолжения *(continuing)*	,
Просодия апеллятивная *(appeal)*	?
Эмоциональный тон *(animated; booster)*	!
Интонация нисходящая *(fall)*	\
Интонация ровная *(level)*	–
Интонация восходящая *(rise)*	/
Интонация восходяще-нисходящая *(rise-fall)*	Λ
Интонация нисходяще-восходящая *(fall-rise)*	V
Ударение слабое и сильное *(accent)*	underline
Выделение слабое и сильное *(emphasis)*	ALL CAPS
Удлинение слабое и сильное *(lengthening)*	I: know::
Сокращение *(shortening)*	superscript
Невокализованная пауза < 0,5 с. *(short pause)*	..
Невокализованная пауза > 0,5 с. *(long pause)*	...
Пауза с указанием длительности *(measured pause)*	(0.8)
Вокализованная короткая пауза *(short pause filler)*	uh, um, uhm
Вокализованная долгая пауза *(long pause filler)*	eh, er, erm
Громко, до крика *(in a loud voice, nearly shouting)*	**bold**
Тихо, до шепота *(in a soft voice, nearly whispering)*	*italics*
Убыстрение темпа *(tempo acceleration)*	>>>
Замедление темпа *(tempo deceleration)*	<<<
Паразыковые явления, сопровождающие речь	# sobbing #
Паразыковые явления, прерывающие речь	{laughter}
Экстралингвистический комментарий	@ phone @
Неразборчивая речь (догадка: сегмент)	di(d)
Неразборчивая речь (догадка: слово)	(did)
Неразборчивая речь (догадка: количество слогов)	$$$
Ввод фонетической и стандартной транскрипции	{[word])

117

***

Главным итогом главы стало широкое определение дискурса, учитывающее взаимообусловленность его формы и функций, его принадлежность к социокультурной ситуации, его риторическую и идеологическую (в широком смысле) наполненность.

Соответственно, дискурс-анализ понимается как широкое междисциплинарное направление, возникшее на почве синтеза достижений и методов многих лингвистических и социальных дисциплин, постоянно обменивающееся своими идеями. Дискурс-анализ не сводим ни к узко структурному анализу речи в духе Бирмингемской школы, ни к конверсационному анализу в традициях этнометодологии, ни к лингвистике текста и т. д. Главной тенденцией развития современного дискурс-анализа в эпоху постструктурализма и постмодернизма является его общая интерпретативная направленность.

Признавая главенство функционального подхода к изучению дискурса, необходимо тщательное исследование его формальной стороны в отношении к данным функциям и наоборот. Сочетание различных подходов к рассмотрению одного феномена, или метод

триангуляции, позволяет глубже исследовать дискурс, соотнося этнографические, социологические и психологические данные с языковыми, дополняя качественный анализ количественным.

В соответствии с теоретическими принципами транскрипции разработана нотационная система ТРУД, которая, вобрав критически переработанный опыт теории и практики транскрипции устного дискурса, остается цельной, адаптивной, достаточно простой системой, не требующей особой подготовки пользователя и годной к компьютерной обработке.

Глава 4. АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ДИСКУРСА: ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ В СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

4.1. СМЫСЛ В ДИСКУРСЕ: КОМПОНЕНТЫ И КАТЕГОРИИ

«The question is», said Alice, «whether you *can* make words mean so many different things.»
«The question is», said Humpty Dumpty, «which is to be master — that's all.»
LEWIS CAROLL «Through the Looking Glass»

Вслед за сказочным персонажем мы принимаем «коммуникатороцентрический» подход [о *коммуникаторо-* и *текстоцентрических* подходах см.: Сусов 1979], и вследствие этого ставим в центр определения базовых категорий, описывающих смысловую ткань дискурса, *homo loquens,* а не языковые единицы ***per se****.*

4.1.1 Пропозиция

Пропозиция — это термин с долгой историей, обозначавший в логике суждение, а в лингвистике — предложение. Ныне специфика его употребления определяется традицией, во многом обязанной идеям Готлоба Фреге [1977; Frege 1892; 1918], отделившего мысль от акта ее утверждения говорящим.

```
{I} a.  John gave me the book.
        Джон дал мне (эту) книгу.
    b.  Will John give me the book?
        Даст ли Джон мне (эту) книгу?
    c.  John, give me the book.
        Джон, дай мне (эту) книгу.
    d.  I believe that John gave me the book.
        Полагаю, что Джон дал мне (эту) книгу.
    e.  John must have given me the book.
        Джон должно быть дал мне (эту) книгу.
```

Все эти высказывания содержат одну пропозицию, иначе — семантический инвариант, способный получать истинностное значение: [(BUY) John, book, '1st person'] или [(ДАТЬ) Джон, книга, 'первое лицо']. В состав пропо-

119

зиции входят термы или актанты, способные к референции: *книга, Джон* и местоимение, указывающее на первое лицо, а также предикат *дать,* способный приобретать модальные и видо-временные характеристики. В общих чертах, все то, чем различаются дискурсивные реализации одной пропозиции {I-a}, {I-b}, {I-c}, {I-d} и {I-e}, называется *коммуникативными* или *пропозициональными установками* [*communicative* or *propositional attitudes* — Richard 1990]. Семантико-синтаксическая структура пропозиции, как правило, считается изоморфной структуре факта [ЛЭС 1990: 401].

Пропозиция актуализуется в высказывании, приобретая при этом логико-семантические значения *истинности/ложности.* Так в семантику дискурса включаются ***условия истинности*** *(truth conditions)* данного высказывания. Этот подход к значению опирается на отношение «язык — действительность», что восходит к логикам Тарского и Монтегю [ср.: Дэвидсон 1986; Tarski 1944; Montague 1974; Davidson 1984; Carston 1988; Gazdar 1979; Jackendoff 1983 и др.]. В наиболее общем смысле семантика естественных языков покоится на двух «китах»: *истинность/ложность* и *интенция/конвенция*; для последней пары определяющим является отношение «язык — сознание».

Ранние генеративные грамматики способствовали разработке третьего — *трансляционного* — подхода к семантике естественного языка. Его многообещающий синтез с требованиями принципа истинности/ложности привел к модели, широко используемой в логико-инференционных представлениях языкового общения, в частности, в теории релевантности [ср.: Джонсон-Лэрд 1988; Шпербер, Уилсон 1988; Johnson-Laird 1983; Jackendoff 1983; 1992; Blakemore 1992; 1995; Carston 1988; Sperber, Wilson 1995 и др.]. Нацеленная на анализ процесса интерпретации высказываний, эта модель включает психологический уровень логико-семантических репрезентаций в «языке мысли» и соответствующие им структуры естественного языка, причем данные репрезентации соотносятся с реальностью через условия истинности/ложности. Такая программа наиболее развернуто представлена работами Джерри

Фодора по философии языка и сознания [Fodor 1983; 1987].

В рамках названных и некоторых других, преимущественно когнитивистских, подходов пропозиция признается особой формой репрезентации знаний, базовой когнитивной единицей хранения информации, играющей главную роль в порождении и интерпретации дискурса, в том числе в составе когнитивных схем, фреймов, сценариев и ситуационных моделей [Кубрякова 1991; Кубрякова и др. 1996: 137—140; Панкрац 1992: 15; Anderson, Bower 1973; Fodor 1983; Schank 1982a; van Dijk, Kintsch 1983; van Dijk 1995]. Еще Рене Декарт [1950: 352] указывал, что содержание души необходимо пропозиционально.

120

Отметим, что большинство этих подходов теоретически построено или на информационно-кодовой модели коммуникации, или, в лучшем случае, на ее поздней инференционной модификации, т. е. в паре *информация* vs. *коммуникация* отдают приоритет первой, в связи с чем в ряде случаев ощущается их методологическая ограниченность.

4.1.2 Референция

Референция традиционно описывается в лингвистической литературе как «отнесенность актуализованных (включенных в *речь*) имен, именных выражений (именных групп) или их эквивалентов к объектам действительности (референтам или денотатам)» [ЛЭС 1990: 411]. Проблеме референции посвящено много работ, поскольку это без преувеличения важнейшее понятие для теории значения в лингвистике, логике, философии, семиотике [см.: Арутюнова 1976; Петров 1979; Падучева 1985; Сусов 1990; Кубрякова и др. 1996: 160; Hofmann 1993: 180—200; Kleiber 1981; 1990; Widdowson 1996: 61ff; Yule 1996: 17ff и др.].

Традиционный взгляд на природу референции как на отношение между словами и объектами до сих пор используется в языкознании, например в лексической семантике. Но на смену ему уже относительно давно пришел *интенциональный* подход к референции: не слово, а говорящий *намеренно* указывает на объект, употребляя нужное языковое выражение, таким образом «он вкладывает референцию в это выражение, совершая акт референции» [Lyons 1977: 177]. Референтность не есть качество, присущее языковому выражению как таковому — это человек использует выражение, соотнося его с референтной ситуацией, *реальным* или *возможным миром* в соответствии со своей интенцией. Распознание этого намерения адресатом замыкает отношение ***интерсубъективности***: адресат соотносит языковое выражение с теми же образами и объектами, что и говорящий. Просто прочитав {I-a}, мы еще не знаем, кто кому и какую именно книгу дал, — мы лишь знаем, что:

1) одного человека, о ком идет речь, зовут Джон;

2) ему предицируется действие *дать* (в прошедшем времени изъявительного наклонения, констатируя свершившийся факт);

3) объектом названного действия является один предмет, относящийся к классу книг;

4) предицируемое действие направлено на другого человека, который и сообщает об этом.

Только исполнитель данного контекстуально обусловленного акта речи/ письма, опираясь на «общее знание» коммуникантов, может соотнести дескрипции *Джон* и *мне* с двумя конкретными людьми, равно как и *книга* при-

121

обретает реальность единственной книги только в акте референции, совершаемом говорящим или пишущим. В том случае, если слушающему объекты референции остаются неизвестны, а интерсубъективность не достигается, то все это действие оказывается неудачным. Заметим, что даже самая несложная идентифицирующая референция трех объектов в {I} осуществляется по-разному: *книга* выполняет ***денотативную*** функцию, *Джон* — ***номинативную,*** а местоимение первого лица *мне* — ***дейктическую.***

Современное состояние теории референции характеризуется ее растущей прагматизацией: помимо категории общего фонда знаний сюда вошли коммуникативные установки говорящего, его интенции, отношение высказывания к контексту и т. д. Так, в случае **идентифицирующей** референции и говорящий, и адресат предварительно знают обо всех объектах референции. По отношению к фонду знаний коммуникантов также выделяются **интродуктивная** (вводит известный говорящему, но новый для адресата объект, например: *Есть у меня книга)* и **неопределенная** референция (когда объект неизвестен ни говорящему, ни слушающему: *Возьми какую-нибудь книгу).*

Чтобы как-то совместить прагматическую, т. е. интенциональную концепцию референции с традиционной, логик Сол Аарон Крипке предложил различать *референцию говорящего* и

семантическую референцию [Kripke 1979; см.: Levinson 1983: 60 и др.]. Первая определяется факторами, имеющими прагматическую природу: интенцией и контекстом, вторая — языковой конвенцией. Но и этот подход не решил проблем, так и не выйдя за рамки отношения «субъект — языковой знак — объект», игнорируя межсубъектность языкового общения.

Теория дискурс-анализа, принятая в данной работе, рассматривает референцию не как всего лишь *однонаправленное действие* говорящего или пишущего [ср.: Brown, Yule 1983: 28], игнорирующее интерпретативный шаг со стороны слушающего, а именно как *коллективное действие* всех участников общения, использующее конвенциональные языковые знаки для указания на актуализуемый реальный или гипотетический «мир» с целью установления и/или поддержания интерсубъективности, которая сама является незыблемым основанием референции — важнейшего элемента языковой коммуникации. Акт референции должен рассматриваться как *совместное действие,* один из аспектов проявления коммуникативного сотрудничества [*referring as a collaborative process* — Clark, Wilkes-Gibbs 1986; Clark, Marshall 1981], позволяющий нам распознавать личностно обусловленные смыслы в социальном контексте. Такой подход к референции позволяет глубже осмыслить ее нетривиальную роль с позиций интеракционной модели коммуникации.
122

4.1.3 Экспликатура

Для продолжения разговора о *значении* и *смысле* в дискурсе, не вдаваясь в философско-методологические дискуссии [ср.: Павилёнис 1983; Щедровицкий 1995: 545—576; Васильев 1990: 81; Никитин 1988] напомним о разграничении конвенционального *буквального значения* языкового выражения или, по Г. П. Грайсу [Grice 1971], *meaning*$_n$ *(natural meaning)* и выводимого *meaning*$_{nn}$ *(non-natural meaning), подразумеваемого смысла* этого же выражения в дискурсе — того, что говорящий «имеет в виду». Можно сказать, что проведенная Грайсом грань между тем, что «говорится» *(saying)* и тем, что «подразумевается» (*implicating*), определяет облик современной прагматики языка. Причем если для второго аспекта содержания был придуман новый термин *импликатура* (см. ниже), то первый аспект как-то выпал из теоретических построений Грайса и иже с ним. Тем не менее, он *(saying)* играет важнейшую роль в коммуникации. Поэтому в поздних инференционных теориях прагматики языкового общения не только уточняется статус понятия *импликатура,* но и вводится парная категория *экспликатура,* а процессам вывода эксплицитно выраженного значения и смысла уделяется намного больше внимания. Важным оказывается теоретически сбалансированное отношение между тем, что эксплицировано и имплицировано в дискурсе *(explicated* vs. *implicated*; *explicitly* vs. *implicitly communicated),* а не наивное отношение между тем, что «говорится», и тем, что «подразумевается», с привычным креном в сторону последнего [Carston 1988: 155; ср.: Федосюк 1988; Дементьев 2000].

Экспликатура как теоретическое понятие выделяется рядом исследователей [см.: Carston 1988; Blakemore 1992: 57ff; 1995: 444ff; Sperber, Wilson 1995: 176ff и др.]. Как правило, уникальная мысль, конкретное суждение или *актуализованная пропозиция* (в полном соответствии с намерением говорящего) не может быть выражена только посредством значений единиц языка в составе определенного высказывания. Этим объясняется недостаточность информационно-кодовой модели коммуникации и необходимость инференционных механизмов, привлекающих дополнительные сведения из внутреннего (когниция) и внешнего (перцепция) контекста для интерпретации высказывания. Хотя «выраженная в высказывании пропозиция» *(proposition expressed)* не кодируется полностью лингвистически, ее извлечение прямо зависит от языковых значений произнесенных слов. ***Выраженное*** эксплицитно в высказывании *суждение* — это результат наполнения смыслом семантической репрезентации в соответствии с намерением автора: «fleshing out a linguistically encoded representation in the intended way» [Blakemore 1995:444; Sperber, Wilson 1995: 182], что, собственно, и называется ***экспликатурой.***
123

Для подобного определения важным оказывается смысл понятия «эксплицитность» и его техническая дефиниция: «содержание, сообщаемое высказыванием *U,* ***эксплицитно,*** если и только если оно является проявлением и развитием *(development)* логической формы, выраженной в *U с* помощью языкового кода» [Sperber, Wilson 1995: 182]. Логическая форма языкового выражения — это и есть та обусловленная грамматикой семантическая репрезен-

тация, которая восстанавливается, извлекается автоматически в процессе декодирования высказывания.

Логическая форма высказывания не всегда исчерпывающе пропозициональна: слушающему обычно приходится дополнять, восстанавливать принятую форму до уровня полной пропозиции — в том виде, в каком ее намеревался передать говорящий. Общее пропозициональное содержание, передаваемое в коммуникации, покрывается экспликатурами и импликатурами. Первые всегда формируются посредством декодирования языкового выражения и выводов относительно контекста высказывания и конвенций общения. Обязательное присутствие формального или собственно языкового компонента и определяет их уровень эксплицитности.

Например, для высказывания [см.: Sperber, Wilson 1995: 176ff]:

It'll get cold soon.

одной из экспликатур в определенном контексте может быть

The dinner will get cold soon,

а вот передаваемая с помощью этой экспликатуры (но никак не первоначальной формы) просьба быстрее сесть за стол составляет импликатуру исходного высказывания. То, что обычно выпадает из поля зрения, — это то, как мы «извлекаем» экспликатуру из высказывания. Здесь следует обратить внимание на уточнение референции, снятие лексико-грамматической двусмысленности и омонимии, компенсацию эллипсиса, привязку дейктических выражений к ситуации речевого акта [*reference assignment, enrichment, disambiguation, resolution of vagueness, restoration of ellipsis* — Blakemore 1992: 65—88; Sperber, Wilson 1995], — прагматические механизмы контекстуализации.

4.1.4 Инференция

Инференции — это широкий класс когнитивных операций, в ходе которых и слушающим, и нам, интерпрета-

торам дискурса, лишенным непосредственного доступа к процессам порождения речи в голове или «душе» говорящего, приходится «додумывать за него». Такое *выводное* знание мы можем получить разными способами.

124

Формально-логические инференции — инференции в узком смысле — составляют один класс выводного знания. *Дедуктивные* инференции, основанные на том или ином типе умозаключения, встречаются в речи довольно редко. Для двух высказываний {II-a} и {II-b}, образующих две посылки классического силлогизма, логическая инференция совпадает с дедуктивным выводом {II-c}:

```
{II}  a.  If the phone doesn't answer, there's nobody home.
          Если телефон не отвечает, то дома никого нет.
      b.  The phone doesn't answer.
          Телефон не отвечает.
      c.  There's nobody home.
          Дома никого нет.
```

Порой логической инференции подлежит отсутствующая в экспликатуре первая или вторая посылка силлогизма, хотя в этом случае сам вывод может и не быть дедуктивным. Так, для приведенного Грайсом [1986: 221; Grice 1975: 44] в качестве примера конвенциональной импликатуры высказывания

```
{III} a.  He is an Englishman, he is, therefore, brave.
          Он англичанин, следовательно, он храбр.
```

логической инференцией, «надстраивающей» исходную посылку довольно тривиального силлогизма, будет суждение

```
{III}  b.  All Englishmen are brave.
           Все англичане храбры.
```

Такая инференционная интерпретация высказывания {III-a} выгодно отличается от объяснения, данного Грайсом, поскольку то, что он назвал конвенциональной импликатурой, фактически оказывается экспликатурой, т. е. развитием логической формы семантической репрезентации {III-a}. {III-b}, наоборот, адекватно объясняется в терминах импликатуры, логического следствия и пресуппозиции (см. ниже), причем такого рода инференционная интерпретация выглядит более обоснованной с когнитивной точки зрения. Высказывание {III-b} составляет пресуппозиционную импликатуру суждения {III-a}, что наглядно проявляется в

дискурсе, где реплика {III-с} обнаруживает тесную смысловую связь не с экспликатурой {III-а}, а с импликатурой, инференцией {III-b}, отрицая истинность последней и ставя под сомнение истинность всего силлогизма и экспликатуры {III-а}:

{III} a. — He is an Englishman, he is, therefore, brave.
c. — Not all Englishmen are brave.

125

{III} а. — Он англичанин, следовательно, он храбр.
с. — Не все англичане храбры.

К формальным инференциям относят *логическое следствие, семантическую пресуппозицию* и близкую им *конвенциональную импликатуру* по Г. П. Грайсу. Логические инференции обладают свойством *неустранимости (non-defeasibility)* под действием контекста.

Вероятностно-индуктивные инференции, в отличие от формально-логических, легко устранимы добавлением нового высказывания, т. е. *расширением* контекста [см.: Levinson 1983: 114]. Основаниями для таких прагматических инференций служат различные аспекты внешнего и внутреннего контекста, знания социокультурного характера, когнитивные структуры всех уровней, отображающие опыт деятельности в аналогичных ситуациях, элементы перцепции, нормы, правила и принципы языкового общения и взаимодействия в группах того или иного типа. Важную роль в данных процессах играют социально-когнитивные механизмы, как, например, каузальная атрибуция в следующем широко цитируемом примере [Sanford, Garrod 1981: 10; Brown, Yule 1983: 34]:

{IV} a. John was on his way to school.
Джон шел в школу.

К числу логических следствий *(entailments)* высказывания {IV} относятся следующие суждения: *Someone was on his way to school; Кто-то шел в школу; John was on his way to somewhere; Джон шел куда-то; Someone was on his way to school; Кто-то шел куда-то.* Не надо обладать особенной проницательностью, чтобы убедиться в малопригодности подобного рода схоластических выводов для развития дискурса, освоения его содержательной стороны, а также когнитивных процессов, моделирующих его порождение и интерпретацию. Чаще всего наиболее важными для анализа языкового общения, оказываются ***вероятностные индуктивные инференции*** [см. о вероятности и индукции: Рассел 1997: 427-449] типа

{IV} b. John is a schoolboy.
Джон — школьник.

Именно данная ассоциация, или, в когнитивно-психологических терминах — *атрибуция,* приходит в голову в первую очередь, однако стоит нам услышать продолжение:

{IV} с. Last week he had been unable to control the class.
На прошлой неделе он не справился с классом;

126

как мы тут же отказываемся от первоначальной инференции и заменяем ее новым выводом:

{IV} d. John is a schoolteacher.
Джон — школьный учитель.

Это своего рода закон развития дискурса: постоянная сверка выводов, интерпретаций, ассоциаций, *правдоподобных догадок* с вновь поступающей из самого дискурса и внешней ситуации общения информацией, их адаптация, модификация и в случае необходимости — устранение или замена. Этот тип когнитивной деятельности легко поддается экспериментальной проверке на достаточном числе информантов [Brown, Yule 1983: 34].

Вероятностная *(probabilistic)* инференция не осуществляется по правилам формальной логики, она постигается как «неформальная рациональная стратегия решения проблемы» [*an informal rational problem-salving strategy* — Leech 1983: 30—31]. Она может быть разбита на две стадии: формирование гипотезы и ее подтверждение. Как отмечает Дж. Фодор [Fodor 1983], пока еще нет психологически адекватной теории этого сложного процесса. И формирование гипотезы — творческий процесс, использующий «рассуждение по аналогии» *(analogical reasoning),* и ее проверка суть *глобальные* процессы, т. е. имеющие доступ ко всем типам знаний, в том числе к широкой контекстуальной информации. В отличие от них *локальные* процессы когнитивно ограничиваются информацией, выраженной в сообщении, как в дедукции {II}.

Говоря о связи *инференции* и *импликатуры,* большинство авторов подчеркивает отличия вероятностных инференций, с помощью которых «извлекаются» речевые неконвенциональные

импликатуры, от формально-логических инференций, простых семантических следствий: «Implicatures appear to be quite unlike logical inferences, and cannot be directly modelled in terms of some semantic relation like entailment» [Levinson 1983: 115—116]. Такого рода инференции недедуктивны, они выводятся по направлению к самому «вероятному» или «наиболее правдоподобному» объяснению [см.: *inference to aplausible explanation* — Bach, Harnish 1979: 92—93].

Можно напомнить, что построенная на инференционной модели остенсивной коммуникации теория релевантности Шпербера—Уилсон [1988] для объяснения порождения как импликатур, так и экспликатур главным инференционным механизмом объявляет дедукцию [Wilson, Sperber 1986; Sperber, Wilson 1982; 1995], хотя основаниями для дедукций все так же служат вероятностные по природе суждения, составляющие разные типы «когнитивных запасов» человека, либо хранящиеся в памяти, либо воспринимаемые непосредственно в процессе общения. Недооценка вероятностно-индуктивных инфе-
127
ренций стала одним из наиболее слабых мест логико-прагматических неограйсовых теорий, продолжающих картезианскую традицию в языкознании.

В рассуждениях об участии когнитивных структур в формировании инференций нельзя не отметить важнейшую роль ситуационных моделей в трехуровневой когнитивной репрезентации дискурса [*surface code/text base/ situation model* — Дейк, Кинч 1988; van Dijk, Kintsch 1983; van Dijk 1995]. Доказано, что абсолютное большинство инференций, генерируемых в процессе обработки дискурса, — компоненты ситуационной модели [Graesser, Zwaan 1995:117; Wilensky 1994; Long e. a. 1990; Johnson-Laird 1983; Singer 1990; Kolodner 1994].

4.1.5 Импликатура

Импликатуры как прагматический феномен привлекли к себе внимание после чтения Г. П. Грайсом цикла лекций в Гарвардском университете в 1967 г. (в рамках *William James lectures)* и последовавшей за этим серии публикаций [см.: Грайс 1985; Grice 1975; 1978; 1981; ср.: Sadock 1978; Leech 1980; 1983; Levinson 1983 и др.]. Импликатуры, по Грайсу, были призваны способствовать лучшему описанию *небуквальных* аспектов значения и смысла, которые не определялись непосредственно конвенциональной структурой языковых выражений, т. е. того, что подразумевается, на что намекается.

Конвенциональные импликатуры *(conventional implicatures)* в теории Грайса определяются значением использованных слов. В {III-а} говорящий *имплицировал* каузативное отношение двух качеств субъекта *(храбрость* и *принадлежность к английской нации)* конвенциональными языковыми средствами: порядком слов и союзом *therefore.* Некоторыми справедливо указывается на близость и даже совпадение категорий *конвенциональная импликатура* и *семантическая* (в частности *лексическая* или *структурная) пресуппозиция* [например, см.: Sadock 1978: 281—282]. В теории, принятой в данной работе, некоторые аспекты конвенциональной импликатуры подпадают под категорию

экспликатуры.

Коммуникативные импликатуры *(conversational implicatures)* в прагматических исследованиях языка вызывают куда более значительный интерес, чем конвенциональные. По Грайсу, они определяются коммуникативно значимыми отклонениями от предполагаемого и подразумеваемого соблюдения ряда основных принципов общения. Г. П. Грайс [1985] подробно разбирает один главный *Принцип Кооперации (Cooperative Principle):* «Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требуют совместно принятая цель или направление обмена коммуникативными действиями, в котором ты участвуешь» [Grice 1975: 45; Грайс 1985: 222]. Здесь тема интер-
128
субъективности представлена в форме тезиса о «совместно принятой цели и направлении» общения, что созвучно идее коллективной интенциональности Сёрля [*shared intentionality —* Searle 1992: 21; ср.: Dascal 1992: 49; Streeck 1992], хотя и не лишено оттенка картезианского логического рационализма, подразумевающего «идеального человека».

Принцип Кооперации реализуется в четырех категориях, которые Грайс вслед за Кантом называет максимами Количества, Качества, Релевантности и Способа. Каждая из этих категорий объединяет ряд частных постулатов [Грайс 1985; Grice 1975].

В идеальном общении партнеры соблюдают все названные постулаты и ожидают от других такого же соблюдения. Однако можно обойти тот или иной постулат: сделать это скрытно, обманув собеседника; открыто игнорировать постулаты и Принцип Кооперации; попасть в ситуацию конфликта постулатов; *эксплуатировать* какой-то постулат — нарушить его таким образом, что из этого слушатель инференционно *вычисляет* свою импликатуру (полагая, что только желание передать скрытый смысл заставило «по умолчанию» идеально кооперативного говорящего нарушить один из постулатов [см.: *Flouting a maxim; Violating a maxim; Infringing a maxim; Opting out of a maxim; Suspending a maxim* — Thomas 1995: 64ff]. Например:

{V} — I don't suppose you could manage tomorrow evening?
— How do you like to eat?
— Actually I rather enjoy cooking myself.
[J. Fowles]
— Вряд ли ты смог бы выбраться завтра вечером?
— Как ты хочешь поужинать?
— Вообще-то я люблю готовить сама.

Вторая реплика вместо прямого ответа, ожидаемого в случае идеально кооперативного общения, оказывается вопросом, формально совершенно не связанным с первой репликой. Нарушаются максимы Релевантности и Способа. Выводимая импликатура: *Да, (я могу завтра вечером).* Из третьей реплики аналогичным образом выводится: *Я приглашаю тебя поужинать к себе домой.*

В своей теории Г. П. Грайс лишь мельком касается влияния моральных и Других социокультурных факторов на дискурс. Дж. Лич восполнил этот пробел [Leech 1980; 1983; см.: Brown, Levinson 1978; 1987; Thomas 1995; Yule 1996; Arundale 1996 и др.], добавив Принципы Вежливости, Интереса и Полианны. Вежливость реализуется в наборе категорий *Такта + Великодушия, Хвалы + Скромности, Непротиворечивости, Симпатии* и оставленного под вопросом
129
Фатического постулата (учитывающего вежливые и невежливые коннотации молчания). В целом постулаты Вежливости нацелены на улучшение позиции адресата через уступки со стороны говорящего (такт и хвала в отношении других, скромность и великодушие со своей стороны, сближение своих позиций с адресатом в случае противоречия, минимизация антипатии и демонстрация симпатии).

Эти принципы и категории входят наряду с Принципом Кооперации в систему ***межличностной риторики*** [*interpersonal rhetoric* — Leech 1983: 149]. Нарушение этих постулатов также может генерировать импликатуры. По типичности/уникальности речевые импликатуры делятся на *стандартные* [*standard implicatures*— Levinson 1983: 104] или *обобщенные* и *индивидуальные* или *конкретные* [Грайс 1985; *generalized* vs. *particularized implicatures* — Grice 1975; 1978; Sadock 1978].

Речевые импликатуры характеризуются рядом признаков, отличающих их от других видов имплицитной информации в дискурсе [Грайс 1985; Grice 1975; 1978; Sadock 1978; Gazdar 1979; Levinson 1983; Mey 1993; Thomas 1995; Yule 1996 и др.]:

1) они *исчисляемы (calculable)* или, иначе говоря, выводимы из буквального значения высказывания и Принципа Кооперации;

2) они *устранимы* (*cancellable, defeasible*) под воздействием контекста или ко-текста последующего высказывания, в отличие от семантических пресуппозиций;

3) они характеризуются высокой степенью *неотделимости (non-detachability)* от смысла высказывания, опять-таки в отличие от пресуппозиции: в случае замены высказывания другим, схожим по смыслу, но отличным по форме, импликатура остается, что подчеркивает ее принадлежность прагматической стороне общения;

4) импликатура *неконвенциональна (non-conventional),* т. е. не является частью конвенциональных значений языковых форм.

Для импликатур, как и для пресуппозиций, важна проблема *проекций* [Levinson 1983: 142], так как импликатуры сложных высказываний не сводимы к сумме импликатур их частей.

В традиции интерпретативного дискурс-анализа импликатуры, как обладающие некоторыми особыми свойствами прагматические составляющие смысла, представляют особый интерес, чего, увы, не скажешь о рационально-логической концепции Грайса в целом. И адресату, и

исследователю импликатуры не даны в конкретной форме, они весьма *неопределенны (indeterminate),* так как основываются на *предположении* о желании говорящего передать небуквальный смысл, соблюдая постулаты Принципа Коммуникативного
130
Сотрудничества (кстати, сам Грайс позже был вынужден пересмотреть тезис **об** исключительной роли этого принципа). Поскольку нам доподлинно неизвестны интенции говорящего, степень его заинтересованности и искренности, то всякие выводы импликатур из фрагмента общения получают эпистемический статус интроспективных интерпретаций. При этом даже метафорически говорить об *исчислении* импликатур по меньшей мере некорректно. В отличие от грамматиста, оперирующего четко заданными в координатах бинарной логики правилами, аналитик дискурса оказывается сродни слушающему, чьи интерпретации чужих реплик могут быть, а могут и не быть адекватными [Brown, Yule 1983: 33].

4.1.6 Релевантность

Релевантность в системе максим Г. П. Грайса оказалась менее других эксплицированным понятием, за которым угадывается принцип локальной тематической когеренции или, иначе, семантического соответствия локальной теме предыдущего хода в дискурсе. Дэн Шпербер и Дьердре Уилсон на базе когнитивной теории значения Дж. Фодора [Fodor 1983; 1987] и инференционной модели остенсивной коммуникации построили свою теорию языкового общения, взяв его за основу вместо Принципа Кооперации ***принцип релевантности*** [Шпербер, Уилсон 1988; Blakemore 1992; 1995; Wilson, Sperber 1986; Sperber, Wilson 1982; 1995; Carston 1988 и др.].

В ходе речевой коммуникации участники общения извлекают из памяти, конструируют и обрабатывают изменяющееся множество пропозиций, формирующее основу для интерпретации вновь поступающей информации. Не каждое новое высказывание добавляет пропозицию к общему контексту, некоторые речевые действия, например, запреты или разрешения, наоборот, извлекают пропозицию из контекста, *снимают* ее. Такой подход получил наименование ***теории меняющегося контекста*** [*context-change theory* — Gazdar 1979; Ballmer 1980: 286; 1981; Levinson 1983: 276]. Логика меняющихся контекстов должна учитывать не только семантико-истинностные значения пропозиций, но и их постоянную динамику, взаимодействие с себе подобными, возможные результаты изменения пропозиционального состава контекста, неизбежные причинно-следственные связи и умозаключения, вероятностные инференции и образование выводного знания, что многими признается одним из главнейших свойств дискурса и когнитивности человека [*inferential reasoning* — Parret 1983: 99; ср.: Allwood 1976: 94; Bach, Harnish 1979: 4; Ballmer 1980; Sacks 1985].

Интерпретация дискурса не сводима лишь к распознаванию экспликатур, она вовлекает анализ выводов, получаемых в акте взаимодействия нового
131
знания с уже имеющимся. Важным понятием для теории релевантности стала категория ***контекстуальный эффект.*** Контекстуализацией Д. Шпербер и Д. Уилсон называют дедукции, которые основаны на взаимодействии новой информации ***P*** со старой информацией *C.* Добавим, что абсолютизация формально-дедуктивного механизма — главная слабость этой теории, ведь пропозиции из контекста чаще извлекаются индуктивно, по принципу вероятности.

К числу контекстуальных эффектов относятся импликация *(implication),* контекстуальное, зависимое усиление *(dependent, contextual strengthening),* независимое усиление *(independent strengthening),* иначе, — подтверждение *(confirmation),* ретроактивное усиление *(retroactive strengthening),* а также противоречие *(contradiction)* [Sperber, Wilson 1995: 108—116].

Релевантность — это «мягкая» производная от двух параметров [см.: Шпербер, Уилсон 1988: 218; Sperber, Wilson 1995: 125]:

1) суждение ***P*** тем релевантнее в некотором контексте *C,* чем больше его контекстуальные эффекты в данном контексте;

2) суждение ***P*** тем релевантнее в некотором контексте С, чем меньше усилия, когнитивно необходимые для его обработки.

Важно отметить, что оба названных параметра, да и сама релевантность фигурируют как «нерепрезентационные свойства ментальных процессов», т. е. это процессы, не нуждающиеся в репрезентации и тем более «вычислимости» в терминах абсолютно точных или

количественных суждений [Шпербер, Уилсон 1988: 219]. Соответственно, остенсивная коммуникация основывается на презумпции оптимальной релевантности, чем резко отличается от системы норм, которые можно соблюдать или нарушать, подобно постулатам Грайса. Презумпция релевантности — это не допускающее исключений обобщение о когнитивных принципах человеческой коммуникации и деятельности [см.: Blakemore 1995: 446ff]. В целях когнитивно-психологического обоснования динамики дискурса теория релевантности, безусловно, предпочтительнее логической прагматики Г. П. Грайса, но все-таки и она страдает от механицизма «картезианского человека», проступающего в обосновании исключительной роли формально-дедуктивных инференций в речевой коммуникации.

4.1.7 Пресуппозиция и логическое следствие

Пресуппозиция,

Пресуппозиция, как семантико-прагматический термин, имеет немало определений. Открытая в конце прошлого столетия все тем же Фреге [1977; Frege 1892; 1918] пресуппозиция была возвращена к научной жизни Петером Стросоном [1982] полвека спустя [ср.: Столнейкер 1985; Бейкер 1985; Keenan 1971; Stalnaker 1972; 1974; Karttunen 1974; Choon-Kyu Oh,

132

Dinneen 1979; Gazdar 1979; Levinson 1983; Mey 1993; Dinsmore 1981; Sperber, Wilson 1995; Yule 1996].

С текстоцентрической точки зрения пресуппозиция трактуется как частный случай инференции — как суждение, выводимое из данного высказывания по правилам истинности или уместности. С другой стороны, по своему определению эти суждения относятся к предварительным условиям реализации высказывания, что ближе коммуникатороцентрическому подходу дискурс-анализа.

Кратко, пресуппозиция рассматривается как такой смысловой компонент высказывания, истинность которого необходима, чтобы данное высказывание

а) не было семантически аномальным *(семантическая);*

б) было уместным в данном контексте *(прагматическая).*

Семантическая пресуппозиция — это особая разновидность *семантического следствия*

Семантическая пресуппозиция — это особая разновидность *семантического следствия.* Суждение Р считают *семантической пресуппозицией* суждения S, если как из истинности, так и из ложности S следует, что Р истинно. Ложность Р означает, что S не является ни истинным, ни ложным: ложность пресуппозиции ведет только к аномалии суждения S. Для высказывания {I-a} семантической пресуппозицией будет

{I} f. John exists.

Джон существует.

Высказывание {I-f} останется истинным и при отрицании {I-a}:

{I} g. John did not give me the book.

Джон не давал мне (этой) книги.

Семантическая пресуппозиция не подвергается действию и некоторых других операторов: *эпистемических* и *модальных,* т. е. суждение {I-f} истинно и для {I-d} и для {I-e}, соответственно.

Простые логические следствия *(entailments),* неполный ряд которых для {I-a} выглядит следующим образом:

{I} h. Somebody gave me the book.

Кто-то дал мне (эту) книгу.

John gave somebody the book.

Джон дал кому-то (эту) книгу.

John gave me something.

Джон дал мне что-то —

отличаются от семантической пресуппозиции тем, что ложность исходного высказывания влечет ложность следствия, т. е. для истинного суждения {I-a}

133

следствия {I-h} будут истинными, а для высказывания {I-g}, полученного из {I-a} с помощью оператора отрицания, — ложными (закон контрапозиции). Свойство сохраняться в контексте модальности также отличает семантические пресуппозиции от простых следствий:

следствия {I-h} не выводятся ни из {I-d}, ни из {I-e}, а пресуппозиция {I-f} для {I-d} и {I-e} по-прежнему истинна.

Логические следствия актуализованного высказывания делятся по степени их приоритетности *(ordered entailments)* на ***фоновые и выделенные*** [*background vs. foreground entailments* — Yule 1996: 33]. Это различие тесно связано с динамикой коммуникативного фокуса и соотношения старой и новой информации в дискурсе: если в реализации {I-a} просодически выделено *JOHN gave me the book* (хотя просодия — это лишь один из маркеров фокуса наряду с порядком слов), то актуальным следствием, «выдвигающимся на передний план» [Кубрякова и др. 1996: 21], будет *Somebody gave me the book.* Все остальные следствия остаются на «заднем плане» *(background).*

Семантические пресуппозиции не подавляются под воздействием контекста, они имеют свойство *неустранимости (nondefeasability)* и конвенциональны в том смысле, что закрепляются за языковыми единицами вне их актуализации: ведь определение {I-f} как семантической пресуппозиции {I-a} и {I-g} было произведено в *нулевом контексте.* Джеральд Газдар в связи с этим предлагает строго разграничивать ***потенциальные*** пресуппозиции *предложения* в нулевом контексте и ***актуальные*** пресуппозиции *высказывания* в реальном контексте [Gazdar 1979; Levinson 1983: 212; Yule 1996: 27 и др.]. Вот главные типы потенциальных семантических пресуппозиций:

Таблица 6. Потенциальные семантические пресуппозиции

Тип пресуппозиции	**Пример**	**Пресуппозиция**
Экзистенциальные	John sings	John exists
Фактивные	She regrets telling me	She told me
Нефактивные	He pretends to be rich	He is not rich
Лексические	She managed to drive	She tried to drive
Структурные	When did he die?	He died
Контрафактивные	If I weren't busy,	I am busy

Пресуппозиции, понимаемые как особые логические следствия, подчиняются правилам ***наследования*** или ***проекции*** [*inheritance, projection of the presupposition* — ср.: Gazdar 1979; Dinsmore 1981; Levinson 1983: 179; Heim 1991; Soames 1991; Yule 1996: 30], перехода от части предложения к целому, от при-
134
даточного к главному или от левого компонента речи к правому. Выделяются сентенциальные операторы, пропускающие все пресуппозиции — так называемые *дыры (holes);* не пропускающие их — *затычки (plugs);* а также *фильтры (filters),* то пропускающие исходные пресуппозиции, то нет. Пресуппозиции, таким образом, оказываются связанными в предложении с конкретными словами или какими-то элементами синтаксической структуры, что дает основание различать лексические и структурные пресуппозиции [*lexical* vs. *structural presuppositions* — Yule 1996: 28], а сами эти языковые средства — называть *активаторами пресуппозиций* [*presupposition-triggers* — Levinson 1983: 179].

Потенциальная семантическая пресуппозиция, понимаемая как особая разновидность следствия, вряд ли дает интерпретативному, качественному дискурс-анализу необходимый инструментарий. Не случайно поэтому, что исследования процессов языкового общения сегодня все чаще и охотнее обращаются к категории прагматической пресуппозиции, которая в отличие от своей семантической тезки ориентирована не на предложение, и даже не на высказывание, а на *коммуникантов.* «Пресуппозиция — это пропозициональная установка, а не семантическое отношение. Пресуппозиции в таком понимании имеются скорее у людей, чем у пропозиций или предложений. В общем ... любой участник речевого контекста (отдельное лицо, группа лиц, организация...) может быть субъектом пресуппозиции. В качестве ее содержания может выступать любая пропозиция» [Столнейкер 1985: 427].

Пресуппозиция когнитивно предшествует высказыванию, ее инференционная природа — это лишь атрибут интерпретации, в ходе которой пресуппозиция становится доступной для анализа. Например, как уже отмечалось, для примера {III-a} логической инференцией является {III-b}, что и составляет пресуппозицию высказывания {III-a}, так как без подразумеваемой истинности тезиса {III-b} исходное высказывание {Ш-a} просто теряет смысл. Таким образом, хотя пресуппозиция принадлежит говорящему, вывод о ней можно сделать на основании

высказывания. Об этом же, разграничивая пресуппозиции и следствия, пишет Джордж Юл [Yule 1996: 25]: «A **presupposition** is something the speaker assumes to be the case prior to making an utterance. Speakers, not sentences, have presuppositions. An **entailment** is something that logically follows from what is asserted in the utterance. Sentences, not speakers, have entailments».

Прагматическая пресуппозиция

Прагматическая пресуппозиция определяется в литературе трояко: первое направление обычно связывает прагматическую пресуппозицию с представлениями говорящего о контексте; второй подход — с понятием *общих* или *фоновых знаний;* третий соотносит эту категорию с условиями уместности и успешности высказывания [*appropriateness / felicity conditions* — Bach, Harnish 1979: 158—159].

135

Очевидно, что речь идет практически об одном и том же — представлениях коммуникантов о контекстуальных условиях [*context conditions* — van Dijk 1981: 54] актуализации высказываний в дискурсе и их интерпретации.

Прагматическая пресуппозиция *в* самом широком смысле понимается как отношение между говорящим и *уместностью* высказывания в контексте [Keenan 1971; Levinson 1983: 177], по форме: Р является прагматической пресуппозицией суждения S, если всякий раз, когда произнесение S коммуникативно уместно, автор высказывания S считает, что Р истинно и полагает, что его адресат также считает, что Р истинно [Stalnaker 1972: 387; 1974: 200—203; Auwera 1979: 251; Kevelson 1980: 56]. Уже в этом определении содержится значительный элемент интерсубъективности.

Набор всех пресуппозиций говорящего в данном контексте задает класс возможных миров, в которых эти прагматические пресуппозиции релевантны, чем, собственно говоря, определяются границы феноменологической ситуации. При этом прагматические пресуппозиции отнюдь не должны быть истинными, они обычно *считаются* таковыми: «are at least *believed* to be true» [Stalnaker 1972: 389]. «Пропозиция является пресуппозицией в прагматическом смысле, если говорящий считает ее истинность само собой разумеющейся и исходит из того, что другие участники контекста считают так же... По-видимому, пресуппозиции лучше всего рассматривать как сложные предрасположения, которые проявляются в речевом поведении» [Столнейкер 1985:427].

Прагматическая пресуппозиция, предопределяя уместность и/или успешность высказывания, опирается на информацию, данную в контексте и когнитивно освоенную коммуникантами [*given information* — Dinsmore 1981: 11—25; Stalnaker 1972; 1974; *common ground —* Werth 1984:53; *shared knowledge, background knowledge* — Gumperz 1982a: 84; *mutual knowledge* — Ballmer 1982: 11—12; Sperber, Wilson 1982; *mutual contextual beliefs* — Bach, Harnish 1979: 5; ср.: Кубрякова и др. 1996: 174]. Для успеха коммуникации необходим *общий когнитивный фонд,* иначе говоря, у участников в феноменологическом поле должен присутствовать общий набор пропозиций контекста — общий пресуппозиционный фонд, без которого их *совместная* деятельность порождения и понимания дискурса затруднена или просто невозможна из-за нарушения принципа интерсубъективности.

Но не следует понимать общий фонд знаний механически как какое-то количество информации, которым в равной степени располагают все участники общения. Интерсубъективность заключается не в этом. Ее установление или поддержание в каждом акте речи постоянно меняет пресуппозиционный фонд и зависит от него. Более корректным с точки зрения учета когнитивных

136

аспектов языкового общения при коммуникатороцентрическом подходе к анализу речи выглядит определение прагматической пресуппозиции как некоторого ряда предположений, допускаемых говорящим, относительно того, что адресат склонен ***принять на веру,*** т. е. без возражений: «assumptions the speaker makes about what the hearer is likely to accept without challenge» [Givón 1979: 50; 1988; Brown, Yule 1983: 29]. Эти предположения — то, что Грайс называет *непротиворечивой* [*noncontroversial* — Grice 1981: 190] информацией, совсем не обязательно входят в *общий* фонд знаний и верований коммуникантов до речевого акта, скорее, у участников диалога должна быть *общая предрасположенность* к восприятию такого рода информации.

В приведенном выше примере человек, произносящий {Ш-а}, предполагает, что {III-b} слушающим будет легко принято на веру, как само собой разумеющееся.

Данный взгляд на определение прагматической пресуппозиции асимметричен: он представляет динамическую ***пресуппозицию говорящего.*** Когда звучит *Мой дядя самых честных правил*..., проявляется разница в фонде знаний: говорящий знает заранее о существовании своего дяди, слушающий же вряд ли «знает» об этом (значит, это не входит в общий фонд знаний), он «узнает» о существовании дяди у говорящего только в момент речи, однако он склонен принять это на веру, как само собой разумеющееся. В психологическом плане этому соответствует сложный комплекс установок, экспектаций и антиципации (обоюдных установок на соблюдение принципов общения, антиципации говорящего по отношению к реакции слушающего и экспектаций последнего по отношению к непротиворечивости информации и т. д.). Именно такие случаи приводятся в качестве примеров ретроактивного усиления в теории релевантности [см.: Sperber, Wilson 1995: 115—117].

Существуют экспериментальные подтверждения того, что слушающие ведут себя так, как будто пресуппозиции говорящих обязаны приниматься [см.: Brown, Yule 1983: 30]. Если некий *homo ignarus,* незнакомый с историей и политическим устройством Франции, услышит сакраментальное *Король Франции лыс,* он еще может усомниться в особенностях прически монарха, но само его наличие будет принято на веру, на чем, кстати, построено немало розыгрышей и шуток.

Такая когнитивно обоснованная трактовка пресуппозиции и в прагматике, теории речевой коммуникации, и в дискурсивной психологии выглядит предпочтительнее, поскольку, преодолевая логицизм и позитивизм, она точнее интерпретирует роль имплицитного знания в речи.

137

4.2. ТЕМА ДИСКУРСА И ТЕМА ГОВОРЯЩЕГО

Неужто музе не хватает темы,
Когда ты можешь столько подарить
Чудесных дум, которые не все мы
Достойны на бумаге повторить.
В. ШЕКСПИР. Сонет № 38

Понятие темы, одно из центральных в изучении семантики и прагматики дискурса, во многих исследованиях незаслуженно девальвируется или же рассматривается как нечто само собой разумеющееся, как-то теряется в гуще новомодных терминов.

4.2.1 Тема дискурса как глобальная макроструктура

В многочисленных теоретических моделях категория *тема* получает разный статус и обладает разным объяснительным потенциалом. Начать хотя бы с того, что русское слово *тема* соответствует сразу двум английским терминам *theme* и *topic.* Первый входит в систему актуального членения предложения и текста *тема — рема (theme — rheme),* хорошо знакомую читателям. Второй иногда встречается в паре с понятием *комментарий (topic — comment)* приблизительно в том же смысле, что и *тема — рема,* хотя и не всегда; аналогичным образом он используется в сочетании с категорией *фокус (topic — focus)*; порой он вполне закономерно оказывается в одном ряду с терминами *содержание (content), предмет общения (subject).* Подобное нечеткое употребление во многом предопределяется принадлежностью понятия *тема* к тому кругу категорий, которые, на первый взгляд, не нуждаются в определении, будучи одной из аксиом лингвистики. Тем не менее, во всех вариантах интерпретации термина *тема* легко угадывается общее понятийное ядро.

Тема *(thema* — греч. *то, что положено (в основу))* в самом общем смысле — это *то, о чем идет речь,* или — более научно и менее широко — «то, относительно чего нечто утверждается в данном предложении» [ЛЭС 1990: 507], если только не понимать слово *утверждается* буквально. Практически все исследователи отмечают интуитивность определения *темы* [Brown, Yule 1983: 69; van Dijk 1981: 177—193].

Не может похвастаться терминологической строгостью пара понятий *тема—рема* в теории актуального членения предложения и текста, она часто определяется по логике порочного круга: *тема* — это все, что *не рема; рема* — это все, что *не тема* [ЛЭС 1990: 410; 507]. По-разному относятся исследова-

138

тели и к статусу темы в предложении: одни утверждают, что теме говорящий уделяет большое внимание, в то время как другие решительно отводят ей второстепенную роль, важной признавая только рему. С точки зрения дискурс-анализа этот спор беспредметен, потому что как тема, так и рема (иногда соответственно определяемые как *данная* и *новая* информация — *given* vs. *new information,* что не совсем корректно) важны для производства и для интерпретации высказываний в диалоге, хотя играют разную роль. В частности, они отличаются по признаку динамичности и статичности, по способу представления информации, по разной синтаксической и интонационной выделенности.

Тема дискурса *(dicourse topic)* представлена в виде *макропропозиции* [Brown, Yule 1983: 71] или *макроструктуры* [van Dijk 1981: 186], в отличие от темы отдельного предложения или высказывания, как правило, представленной именной группой подлежащего. Тема индивидуального высказывания в дискурсе обусловлена тем, как его информация распределяется *линейно,* в то время как тема дискурса указывает на то, как его содержание организовано *глобально, иерархически* [van Dijk 1981: 190; ср.: Дридзе 1984]. Тему высказывания

{VI} a. John Marcus Fielding disappeared.
Джон Маркус Филдинг исчез

определить весьма просто, ибо практически каждый нормальный носитель языка на вопрос *О чем это предложение?* ответит, что это предложение о Джоне Маркусе Филдинге: *This sentence is about John Marcus Fielding.* Можно указать на грамматические и интонационные средства выделения темы. Возьмем фрагмент побольше:

{VI} b. The commonest kind of missing person is the adolescent girl, closely followed by the teenage boy. The majority in this category come from working-class homes, and almost invariably from those where there is serious parental disturbance. There is another minor peak in the third decade of life, less markedly working-class, and constituted by husbands and wives trying to run out on marriages or domestic situations they have got bored with. The figures dwindle sharply after the age of forty; older cases of genuine and lasting disappearance are extremely rare, and again are confined to the very poor — and even there to those, near vagabond, without close family.

When John Marcus Fielding disappeared, he therefore contravened all social and statistical probability. Fifty-seven years old, rich, happily married, with a son and two daughters; on the board of several City companies (and very much not merely to adorn the letterheadings); owner of one of the finest

139

Elizabethan manor houses in East Anglia, with an active interest in the running of his adjoining eighteen-hundred-acre farm; a joint — if somewhat honorary — master of foxhounds, a keen shot ... he was a man who, if there were an -arium of living human stereotypes, would have done very well as a model of his kind: the successful City man who is also a country landowner and [in all but name] village squire. It would have been very understandable if he had felt that one or the other side of his life had become too time-consuming ... but the most profoundly anomalous aspect of his case was that he was also a Conservative Member of Parliament.

(J. Fowles)

Определяя тему фрагмента {VI-b}, можно тоже сказать, что он *о Джоне Маркусе Филдинге,* но достаточно ли будет в этом случае сформулировать тему одним лишь именем, точно так же, как и для высказывания {VI-a}? Опять же интуитивно, отвечая на вопрос *О чем этот рассказ?*, нормальный носитель языка скорее всего ответит:

{VI} c. John Marcus Fielding's disappearance was highly anomalous, both socially and statistically.

Исчезновение Джона Маркуса Филдинга было в высшей степени аномально социально и статистически.

Такая пропозиция как бы суммирует, резюмирует дискурс, оказывается кратким содержанием рассказа [*summary* — van Dijk 1981: 187]. Очевидно, что основную мысль текста можно оформить как-то иначе, но вряд ли полученные варианты будут сильно отличаться друг от друга по смыслу. Следовательно, существуют семантические *макроструктуры* и процедуры их выделения, раз мы можем интуитивно свести содержание рассказа к одному предложению. Тему дискурса и надо понимать как выражение семантической макроструктуры данного дискурса. Подобная макроструктура — это не абстрактно-теоретический концепт, у глобальной темы дискурса есть свой психологический коррелят, если точнее, — когнитивная схема,

предопределяющая планирование, продуцирование, восприятие и понимание дискурса, а также хранение полученной информации и ее воспроизведение [Дейк, Кинч 1988; van Dijk 1981; Carberry 1990; Bruner 1991; Renkema 1993; Berger 1996 и др.].

Таким образом, глобальная семантическая макроструктура опирается на *макропропозицию* наподобие той, что актуализована в высказывании {VI-с}. Такая макропропозиция, если нам позволительно привести сравнение из области современной биологии, — это своего рода генетический код глобальной организации смысла в дискурсе.

140

4.2.2 Линейность дискурса

О линейности дискурса в свое время писал еще Ф. де Соссюр [1977: 103]: «Означающее, являясь по своей природе воспринимаемым на слух, развертывается только во времени и характеризуется заимствованными у времени признаками: а) *оно обладает протяженностью* и б) *эта протяженность имеет одно измерение* — это линия».

Какими уникальными, выдающимися способностями ни обладал бы говорящий или пишущий субъект, он не в состоянии произнести, написать более одного слова в один и тот же момент времени. Дискурс закономерно *линеен,* у него всегда есть начало, продолжение (или продолжения) и конец, логический или не очень. Во всяком случае любой автор сталкивается с проблемой линейного расположения смысла, и ему каждый раз приходится решать извечный вопрос *С чего начать?*

Данная проблема не столь банальна и тривиальна, как может показаться неискушенному исследователю. Начало дискурса определяет тематическую, интенциональную (в философско-феноменологическом смысле) направленность на предметную сферу и возможные пути конструирования социального мира. Начало дискурса задает рамки его возможной интерпретации и определяет тональность, подобно музыкальному ключу и знакам альтерации на нотном стане. Вероятно, это психологическое свойство многих семиотических процессов, поступательно развертывающихся во времени. Слова, предваряющие последующие коммуникативные акты, становясь речевым контекстом, оказывают огромное влияние на восприятие и обработку дискурса слушающим. Начало дискурса вводит нас в определенный *возможный мир*, связанные с ним *культурные смыслы, знания, верования, общий пресуппозиционный фонд* [ср.: *presuppositional pool* — Brown, Yule 1983: 79—83], стимулирует инференционное прогнозирование в заданном им направлении, активирует соответствующие установки, ожидания слушающих относительно темы дискурса и его продолжения. Сравните:

{VII} a. I hate playing with him. He's so fast, you know.
Я не люблю с ним играть. Знаешь, он так быстр.
b. I enjoy playing with him. He's so fast, you know.
Мне нравится с ним играть. Знаешь, он так быстр.

Очевидно, что восприятие второго высказывания в качестве отрицательной оценки в {VII-a} и положительной в {VII-b} полностью зависит от предшествующего.

Не только содержание первого высказывания, но и способ его актуализации выполняют функцию контекстуализации. Это касается стиля, языкового

141

кода, диалекта, интонации, манеры письма — всего того, что Дж. Гамперц называет *ключами контекстуализации* [*contextualization cues* — Gumperz 1982a: 131] и что определяет порождение *контекстуальных эффектов* [Шпербер, Уилсон 1988; Sperber, Wilson 1995 и др.]. Формальное обращение, например, вызывает определенные ожидания, настраивает на официальный стиль общения, отличный от ситуации, в которой вполне естественным было бы фамильярное приветствие. Получив эту субкодовую информацию, слушающий выводит соответствующие ей прагматические инференции. Опираясь на изменившийся фонд знаний о взаимодействии, он готовится интерпретировать последующие высказывания и соответственно строить свои коммуникативные стратегии. Таким образом, начало дискурса задает *тональность* или *стиль общения,* его социокультурный и психологический континуум.

Линейность дискурса наивно-психологически подчиняется правилу так называемого *ordo naturalis* — «естественного порядка» [Brown, Yule 1983: 125], заставляющего, например, слушающего верить, что факт, упомянутый в разговоре раньше другого, на самом деле предшествовал этому другому в реальной жизни (если не было специальных индексов времени, перекрывающих это правило). Классический тому пример: *Veni, vidi, vici.* Никому из нас даже

не придет в голову, что события могли развиваться в каком-либо другом порядке, отличном от порядка слов.

Локальные темы семантически связаны друг с другом как *вертикально* (иерархически входя в одну макроструктуру), так и *горизонтально* (линейно, синтагматически).

Базовыми реляционными семантическими механизмами или ассоциативными когнитивными принципами, обеспечивающими горизонтальную синтагматическую связь высказываний, служат три отношения, о чем писал в 1737 г. Д. Юм [1995: 68]: «Таких качеств, из которых возникает эта ассоциация и с помощью которых ум переходит указанным образом от одной идеи к другой, три: *сходство, смежность* во времени и пространстве и *причина* и *действие».* Этими «мягко действующими» силами он объяснял схожесть многих языков [Юм 1995: 67; Crombie 1985].

Сходство обеспечивает функционирование таких языковых механизмов, как метафора, сравнение, контраст (сходство со знаком минус), антитеза, параллелизм, аналогия, хиазм, ирония, конъюнкция, дизъюнкция, эквивалентность и др.

Каузативные отношения реализуются в парах типа причина — результат, цель — средство, тезис — аргумент, условие — следствие, средство — результат, отношениях импликации и выводимости.

142

Смежность, как правило, регулирует набор соотношений пространственно-временных координат, как последовательность, одновременность, предшествование, локализация, пары типа ситуация — событие, общее — частное, абстрактное — конкретное, структура — компонент, а также родо-видовые и метонимические отношения [см.: Макаров 1990а: 33—37].

Эти отношения (отнюдь не всегда выделяемые в чистом виде) синтагматически и тематически связывают коммуникативные акты друг с другом и заметно отличаются от тема-рематических отношений. Сходство, смежность и причинность ассоциативно связывают мысли, пропозициональные когнитивные сущности.

В узком смысле *темой* можно назвать то, от чего говорящий отталкивается при порождении высказывания, чем он связывает данное высказывание с предыдущим дискурсом. Собственно, это и есть две главные функции темы с точки зрения таких апологетов актуального членения, как Франтишек Данеш [см.: Brown, Yule 1983: 133]. В языках с фиксированным порядком слов, например в английском, тема — это в большинстве случаев крайний левый элемент высказывания. Соответственно все, что остается, — *рема.* С позиций актуального членения высказывания и текста очень хорошо различимы функциональные особенности многих структурных вариантов, в частности синтаксических трансформов в отношении линейного развития дискурса:

{VIII} a. ***The President*** arrived at the airport.
Президент прибыл в аэропорт.
b. Journalists immediately surrounded ***him.***
Журналисты сразу окружили ***его.***
c. ***He*** was immediately surrounded by journalists.
Он был сразу окружен журналистами.

Очевидно, для исходного {VIII-a} более предпочтительным продолжением служит {VIII-c}, а не {VIII-b}; причем это можно доказать несложным экспериментом, попросив ряд информантов выбрать из двух вариантов лучший с точки зрения линейного развития дискурса, с точки зрения его «связанности». Видимо, {VIII-c} выгодно отличается от {VIII-b} тем, что использование страдательной конструкции позволяет сохранить тот же самый референт в позиции подлежащего, сохранить ***локальную тему*** дискурса, в отличие от *глобальной* [ср.: *discourse topic entity* vs. *global discourse topic* — Brown, Yule 1983: 137]. Графически выделенные слова, обозначающие главное действующее лицо в {VIII}, оказываются кореферентными, т. е. отсылают к одному и тому же объекту. Явление кореференции играет важную роль в обеспечении как формальной связанности дискурса, так и его смысловой связности.

143

Тема и рема, а также часто некорректно отождествляемые с ними *данное* и *новое,* суть отражение динамики когнитивных процессов. Отсутствие теоретической ясности в разграничении этих понятий и их языковых манифестаций может быть компенсировано посредством их переосмысления с точки зрения когнитивной психологии, где выделяются два

разных явления: ***внимание*** и ***активация*** [Кибрик А. А. 1995; Кубрякова и др. 1996: 11]. Между ними имеется каузальная связь: сосредоточив внимание на каком-то предмете, мы активируем его в сознании, иначе говоря, помещаем информацию о нем в рабочую память. Попробуйте посмотреть на горящую лампу (фокус внимания) и резко закрыть глаза — вы будете «видеть» ее очертание еще некоторое время (образ лампы активен в зрительной памяти). Аналогично осуществляется и более абстрактная когнитивная деятельность по обработке смыслов в языковом общении. Фокус *внимания* во многих языках обычно кодируется синтаксической позицией подлежащего, а высокая степень *активации* референта — использованием анафорических местоимений, как это и сделано в {VIII-с}, чем и объясняется его предпочтительность.

4.2.3 Тема говорящего

До сих пор, говоря о *теме дискурса,* мы по сути дела имели в виду его содержательную основу, являющуюся пересечением семантических сфер, принадлежащих высказываниям разных участников общения. Этот подход к интерпретации речи, несмотря на его кажущийся естественный характер, сопряжен с реальной опасностью упустить из виду те аспекты тематической организации коммуникативного взаимодействия, которые обусловлены индивидуальностью каждого из участников общения, вполне вероятно, имеющего не только свой взгляд на тему, но и свою *собственную тему.*

В естественном разговорном дискурсе реально существует и первична **тема говорящего,** т. е. каждого конкретного участника диалога в группе [Brown, Yule 1983: 88; Sacks 1995]. Изначально тема принадлежит не дискурсу как таковому, а человеку и лишь потом, по мере утверждения интерсубъективного статуса данной темы — дискурсу как социальной практике коммуникативной общности людей, социальному отношению, построенному в данный момент на этой теме. Само это отношение, если воспользоваться математической метафорой, выглядит как социальная функция от индивидуальной темы.

Здесь надо напомнить о примате коммуникатороцентрического подхода над текстоцентрическим в коммуникативном дискурс-анализе: в опыте для исследования нам дан письменный транскрипт, лишенный линейной динамики развития в масштабе реального времени в отличие от речи, где в каждый

144

конкретный момент есть один (в случае «наложения» реплик возможно и более одного) говорящий, совершающий один речевой акт на *свою* тему.

Рассмотрим пример, иллюстрирующий ввод новой темы в диалог одним из коммуникантов (авторский текст опускается). Фрагмент, взятый из повести А. Кристи, представляет начало разговора Бартлета (**В**) с полковником Мелчетом (**М**), занятым расследованием в момент появления первого и не склонным к обстоятельной беседе; Бартлет довольно робко предлагает тему, имеющую по его мнению важное значение, применяя сложную стратегию инициации:

{IX} **В 1:** Oh - er - I say - er - c-c-could I speak to you a minute?
M 2: Well, what is it - what is it?
B 3 : Well - er - probably isn't important,
4 don't you know.
5 Thought I ought to tell you.
6 Matter of fact, can't find my car.
M 7: What do you mean, can't find your car?
(A. Christie)

В1 еще не вводит темы Бартлета, являясь инициативным коммуникативным ходом, «только» открывающим общение и предполагающим ответную реакцию, как правило, разрешение. Разрешение, хоть и косвенное, последовало в виде хода **М2**, опять-таки в вопросительной форме, выражающей, во-первых, нетерпение (во многом благодаря редупликации), а во-вторых, запрашивающей тему предполагаемого общения. Но и после этого тема еще не эксплицирована: **В3** и **В4** ставят под сомнение релевантность и значимость будущей темы — видимо, в этом проявляются этикетные стратегии занижения говорящим своего коммуникативного статуса и статуса своей темы. Кроме того, можно объяснить данные высказывания индивидуальными особенностями их автора, в частности, нерешительностью. **В5** выражает отношение говорящего к предлагаемой теме, а именно ее важности для адресата. Наконец, коммуникативный ход **В6** вводит тему *пропажа автомобиля,* после чего следует

запрос о развитии данной темы **M7**, — требование экспликации темы и необходимых разъяснений, утверждающее релевантность темы, т. е. принятие ее адресатом, присвоение теме интерсубъективного статуса. Далее как раз и последовал диалог, развивающий тему *пропавшего автомобиля.* Фрагмент {IX} неплохо иллюстрирует тезис, подчеркивающий принадлежность темы говорящему, а не тексту в целом: в данном случае мы вправе вести речь о теме г-на Бартлета, послужившей отправной точкой для дальнейшего диалога. По крайней мере, тема не появляется сама по себе — это результат инициативы

145

одного из коммуникантов, предлагающего группе (будь это диада или более многочисленное объединение людей) *свою* тему для обсуждения.

Тема говорящего может по-разному относиться к глобальной теме дискурса и к локальной теме предыдущего участника общения. Дискурс порой развивается тематически гладко [*speaking topically* — Brown, Yule 1983: 84], когда элемент высказывания предшествующего говорящего становится *локальной темой* реплики следующего (включая разные варианты тематической прогрессии в диалоге). По этой модели, которую по-русски можно образно охарактеризовать как *«слово за слово»,* построено множество бытовых непринужденных разговоров и бесед. Как правило, общая тема в таких случаях достаточно *свободная,* а локальные темы возникают одна *за* другой или одна *из* другой, цельность всего дискурса при этом обеспечивается прагматически — типом деятельности.

Однако нетрудно вообразить и другую крайность: участник общения локально никак не связывает свою речь с репликой предшествующего говорящего, тем не менее оба они раскрывают разные аспекты единой, заранее заданной (возможно, кем-то другим или всей общающейся группой), *глобальной темы* дискурса. Примером могут служить выступления депутатов в парламентских дебатах, ответы учеников на уроке и т. п. Судя по типу групп и характеру общения, в подобных ситуациях тема довольно часто фиксируется институционально, и отклонения от нее караются санкциями со стороны группы или организации. Этот вариант соотношения темы говорящего с локальными и глобальной темами дискурса называют *«разговор на тему»* [*speaking on a topic* — Brown, Yule 1983: 84].

Как это обычно бывает в реальной жизни, наибольшую часть примеров представляют смешанные случаи: даже парламентарии нередко втягиваются в словесные перепалки с бытовым типом тематической организации, а в своих непринужденных беседах мы придерживаемся какой-нибудь одной общей темы.

Поскольку тема принадлежит в первую очередь говорящему и лишь потом — дискурсу, весьма распространенным и типичным явлением оказывается ввод новой темы на стыке репликовых шагов, особенно новым говорящим при мене коммуникативных ролей (в экстремальном случае при перебивании). Порой такая смена темы происходит очень резко, не будучи подготовленной непосредственно предшествующим ходом дискурса, *некогерентно* (в этом случае тематический «водораздел» совпадает с границами новой фазы диалога или трансакции), в отличие от плавного, так сказать, эволюционного развития глобальной темы в когерентной последовательности локальных тем.

146

4.3. КОНТЕКСТ ДИСКУРСА И КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ

I have said that knowledge motivates action, and that practice implies the execution of knowledge. Knowing is the beginning of action, and doing is the completion of knowledge.

WANG YANG-MING, Chinese philosopher, XV C.

С одной стороны, дискурс обращен «вовне»: к ситуации или ***внешнему контексту*** высказываний, типу деятельности в малой группе, включающему широкий спектр переменных: антропологических, этнографических, социологических, психологических, языковых и культурных. Всякий анализ языковых явлений в контексте принадлежит сфере *лингвистической прагматики.*

С другой стороны, дискурс обращен «вовнутрь» или к ***внутреннему контексту:*** к ментальной сфере общающихся индивидов, отображающей в том числе и факторы внешнего контекста, так как только став частью внутреннего мира человека, они могут влиять на его деятельность и общение.

4.3.1 Типы прагматического контекста

Категория ***контекст*** столь важна для коммуникативной лингвистики, что по ее значению и роли в теоретических построениях легко определяется то или иное направление в изучении языкового общения. Г. Парре [Parret 1983: 94—98] выделяет пять теоретических моделей контекста.

Речевой контекст или ко-текст

Речевой контекст или **ко-текст** [сам термин *ко-текст* стал довольно популярным с легкой руки Иегошуа Бар-Хиллела, см.: *co-text as a context* — Brown, Yule 1983: 46—50; Thomas 1995: 207ff; ср.: *discourse* vs. *non-discourse context* — Allwood 1976: 201 ; *linguistic* vs. *situational context —* Werth 1984: 36 и др.] используется в первую очередь в лингвистике текста, а также в конверсационном анализе и дискурс-анализе (в узком смысле). Отношения дискурса с ко-текстом не сводимы к *анафоре* и *кореференции,* названные выше направления стремятся реконструировать *когезию* и/или *когеренцию* (формальную связанность и смысловую связность, соответственно) дискурсов как макрограмматических единиц. Однако объяснить когезию и когеренцию текста как исключительно грамматические категории очень трудно. Отсюда и возникает необходимость соотнести их с социально-культурными и когнитивными процессами, т. е. с другими типами контекстуальности.

Экзистенциальный контекст

Экзистенциальный контекст *(existentional context)* обычно подразумевает мир объектов, состояний и событий, — все то, к чему отсылает высказывание

147

в акте референции. Здесь переход от семантики к прагматике происходит тогда, когда говорящий и слушающий(ие) в их пространственно-временной соотнесенности определяются как индексы, семиотические указатели на данный экзистенциальный контекст. Это вовлекает в анализ языковых выражений дейктические элементы языка и вплотную подводит исследователя к *семантике индексов (indexical semantics),* но семантика индексов — это лишь одно из направлений прагматики, рассматривающих отношение к экзистенциальному контексту.

Другой тип прагматики использует расширение категории *возможных миров (possible worlds).* Теория моделей и модальная логика разрабатывают формальные процедуры, с помощью которых определенный возможный мир может быть приписан какому-либо языковому или знаковому выражению в качестве сферы приложения. Но и эту точку зрения также нельзя признать безоговорочно, потому что возникает закономерное сомнение в том, как этот «возможный мир» может стать референтом высказывания без психического опосредования, без влияния таких способностей, как, например, воображение и концептуализация. Исследованиями значений и смыслов в экзистенциальных контекстах занимаются логическая семантика и прагматика.

Ситуационный контекст *(situational context),*

Ситуационный контекст *(situational context),* формирующий социологическое, а подчас этнографически и антропологически ориентированное, широкое социально-культурное направление прагматики, содержит набор факторов, частично определяющих значения языковых и прочих знаковых выражений. Ситуации как контексты представляют собой обширный класс социально-культурных детерминант, среди них: тип деятельности, предмет общения, уровень формальности или официальности, статусно-ролевые отношения, место общения и обстановка, социально-культурная «среда» и т. п. Это могут быть институциональные ситуации (в зале суда, на приеме у врача, на уроке в школе) и повседневные (в общественном транспорте, в магазине, дома), с их особенными правилами речевого общения, коммуникативными практиками и языковыми играми, когнитивными стереотипами. Эти факторы формируют коммуникативные свойства макротекстовых единиц, структуры аргументации в дискурсе и каналы конструирования социально-психологических образов «Я» и «Других».

Социология языка, этнография коммуникации и интерактивная социолингвистика много занимались типологией ситуационных контекстов, причем особое внимание они уделяли внутригрупповым, а чаще — диадическим статусно-ролевым отношениям, в частности, иерархиям с ярко выраженными проявлениями власти [см., например, Карасик 1992; Spencer-Oatey 1996], так

148

как это один из наиболее очевидных и важных факторов, определяющих смысл языковых и других знаковых выражений.

Акциональный контекст *(actional context)*

Акциональный контекст *(actional context)* представляет особый класс ситуаций, которые конституируются самими речевыми действиями — речевыми актами. Однако из теорий, отталкивающихся от идеи изучения акционального контекста, заметно предпочтительнее стандартной теории речевых актов выглядят инференционные концепции: межличностная риторика Дж. Лича, теории релевантности Д. Шпербера и Д. Уилсон, но и они не достигают объяснительного уровня интеракционной модели коммуникации. Языковое общение как обмен социальными действиями и взаимное (вос)производство интерсубъективности невозможны без координации (что слабо выражено в теории речевых актов).

Психологический контекст *(psychological context)*

Психологический контекст *(psychological context)* включает в прагматику ряд ментальных и когнитивных категорий, что предопределяется принятием деятельностной точки зрения на дискурс, согласно которой все речевые акты интенционально обусловлены. Интенции, верования и желания рассматриваются как психологические, когнитивные регулятивы, ответственные за программы действий и взаимодействий. Ментальная сторона деятельности сама по себе не так уж важна для прагматики — ее интересуют только легко распознаваемые и в определенном смысле *конвенциональные* интенции, верования, желания и т. д. Именно они создают психологический контекст дискурса, хотя психолингвистическими (в строгом смысле) эти явления назвать нельзя. Таким образом, психологический контекст, в своей прагматически релевантной части, не охватывает полностью всего многообразия мыслительных процессов и «движений души» *(«life of mind»),* он включает только те когнитивные процессы и регулятивы, которые реализуются в обусловленных структурой языка процедурах порождения и интерпретации совокупностей языковых выражений. Этот тип контекста изучается психологически ориентированной прагматикой, например, в этой связи можно назвать работу Марчело Даскала [Dascal 1983].

Дискурс-анализ теоретически строится на разных типах прагматических контекстов. Комплексная природа дискурса обусловливает учет всего набора многообразных факторов, влияющих на порождение и интерпретацию смыслов в обмене коммуникативными действиями. Было бы некорректно ограничить исследование только одним типом контекста, так как само по себе разграничение контекстуальности весьма условно — в реальности факторы разного рода всегда взаимодействуют.

149

4.3.2 Когнитивное представление контекста

Когнитивно прагматический контекст: знания, верования, представления, намерения в их отношении к коммуникантам, дискурсу, реальному и возможным мирам, к культурной ситуации, статусно-ролевым отношениям участников, способу коммуникации, стилю дискурса, предмету и регистру общения, уровню формальности интеракции, физическим и психологическим состояниям — всем аспектам контекстуальности [см.: Lyons 1977: 574; van Dijk 1977: 2ff; 1980: 82; 1981: 9; Leech 1980: 15; Brown, Yule 1983: 36; Levinson 1983: 22—23 и др.] можно представить в виде *набора пропозиций* [ср.: Панкрац 1992; Fodor 1983; Levinson 1983: 276], которые помимо актуализации в высказываниях фигурируют также в качестве разных компонентов «скрытого» коммуникативного содержания.

Подобная роль пропозиций обусловлена большим авторитетом в 70-х и 80-х годах когнитивной модели памяти как ассоциативной сети [*associative network* — Anderson, Bower 1973; Fiske, Taylor 1991: 296; Stillings e. a. 1987: 26], в которой *главным кодом* считается ***пропозиция.*** Эта теория опирается на ряд постулатов: события, факты и другие формы знаний могут храниться в памяти в виде наборов пропозиций, состоящих из сети узлов *(nodes)* — глаголов и имен, а также связей *(links)* между ними, т. е. отношений между идеями; связи между узлами получают свои «ярлычки» *(labels),* например, как это сделано в теории глубинных падежей. Ассоциативные связи между узлами тем прочнее, чем чаще происходит их активация *(activation).* Чем больше связей, тем больше создается альтернативных маршрутов вызова знаний из памяти *(alternative retrieval routes),* тем больше возможности самой памяти. В данной модели важнейшей идеей является разграничение долговременной и кратковременной памяти *(long-term memory — short-term memory).*

Позже место кратковременной памяти заняла оперативная или ***рабочая память*** [*working memory* — Baddeley 1986; Stillings e. a. 1987: 51—52; Eysenck 1993: 71—72 и др.], включающая наряду с оперативным командным центром *(central executive),* почти равнозначным ***вниманию,*** вербальную репетиционную систему *(articulatory loop),* «внутренний голос», и визуально-пространственную репетиционную систему *(visuo-spatial sketch pad)*, «внутренний глаз». Эта модель помогает избежать абсолютизации пропозиционального кода.

С середины 80-х годов в когнитивных науках большую популярность приобретают другие модели памяти и ***когнитивной архитектуры*** в целом [Кубрякова и др. 1996: 12; Anderson 1983; Stillings e. a. 1987: 17ff; Jackendoff 1997], дополняющие пропозициональную модель новыми элементами, кодами, уровнями, представлениями о когнитивных процессах. Одной из них стала модель ***«параллельно распределенной обработки»*** [PDP: *parallel distributed processing* —

150

McClelland e. a. 1986; Fiske, Taylor 1991: 309—311], в которой главное внимание уделяется микроуровню когнитивной активности, осуществляемой одновременно в разных плоскостях, из которых пропозициональная — одна из высших. Связи между узлами выступают как функторы, разрешающие, ослабляющие или усиливающие ассоциации, сам тип и сила которых зависят от интенсивности связей. Именно интенсивность связей хранится в памяти, что позволяет реконструировать какую-то структуру знания посредством активации лишь некоторых ее элементов, возбуждающей реверберацию связей и полную активацию.

Теория PDP, сразу построенная по принципу «параллельного процессора» в отличие от «последовательного процессора» старых моделей, позволяет взглянуть на знание не статически (в теории ассоциативных пропозициональных связей знание не меняется при переходе из долговременной памяти в кратковременную, оно дано как застывшая конфигурация), а динамически. PDP тем самым подчеркивает роль имплицитного присутствия знания в системе, и это тоже новое.

Теория PDP намного лучше объясняет динамику когнитивных моделей и схем, особенно — их взаимодействие посредством активации отдельных элементов, виртуально принадлежащих нескольким «смежным» когнитивным моделям, что часто происходит при тематическом развитии речи по принципу «слово за слово» (4.2.3). Эта теория объясняет роль инференций в речи и восприятие в неидеальных условиях, когда сообщение теряет часть своей «формы». Кстати, около 50% слов реальной речи мы не в состоянии адекватно распознать, если их *вынуть* из звукового потока и предъявить отдельно [Lieberman 1963]). Для когнитивного представления контекста PDP явно предпочтительнее. Но этим не отрицается роль пропозиций как базового кода репрезентации знаний, хотя дальнейшие мысли о когнитивных процессах надо воспринимать с поправкой на PDP.

Некоторые авторы предлагают условно разграничивать внутренний и внешний контекст как два аспекта одного и того же явления. *Внешний* контекст *(extrinsic context),* обращенный к фактам психологического или онтологического порядка, является *транссемиотическим,* иначе говоря, — тем основанием мысли, которое позволяет в процессе интерпретации выводить знание, обусловливающее значимость языковых выражений, не являясь частью этой значимости [Parret 1980: 83]. *Внутренний* контекст *(intrinsic context),* наоборот, семиотичен — он непосредственно определяет коммуникативную значимость высказываний и присутствует в дискурсе в виде инференций, импликатур, пресуппозиций и т. п. [см.: van Dijk 1981: 54].

151

Центральным смысловым звеном контекста является его *феноменальное* ядро *(phenomenal context),* отражающее онтологическую структуру общения и деятельности, доступную всем его участникам; индивидуально же контексты отличаются своими *эпистемическими* составляющими *(epistemic contexts),* т. е. знаниями, мнениями, установками и верованиями *(contextual beliefs),* которые оказываются важнее с психологической точки зрения говорящего/слушающего.

Контекст динамичен, а не статичен: «A context is *dynamic,* that is to say, it is an environment that is in steady development, prompted by the continuous interaction of the people engaged in language use, the users of the language. Context is the quintessential pragmatic concept; it is by definition *proactive,* just as people are. By contrast, a purely linguistic description is retroactive and static: it takes a snapshot of what is the case at any particular moment, and tries to freeze the picture. Pure description has no dynamics» [Mey 1993: 10; Schiffrin 1994: 365; ср.: *procedural context —*

Ballmer 1980].

Контекст не пассивен, он обладает активным *творческим* потенциалом [см.: Mey 1979: 12]. Произнося высказывание и интерпретируя его, люди *выбирают* контексты — «the contexts are chosen, not given» [Sperber, Wilson 1995: 137], т. е. феноменологические проекции коммуникативной ситуации и «общего фонда знаний».

Субъекты понимают языковые выражения только в том случае, если они *интерпретируют контексты,* в которых данные выражения появляются [Par-ret 1980: 73]. Анализ прагматического контекста участниками общения — постоянный *процесс* [ван Дейк 1989: 30].

Контекст не есть что-то заданное перед актом общения: процессы жизнедеятельности и дискурс постоянно меняют контекст. Индивидуальное знание коммуникантов, их концептуальная система — это «непрерывно конструируемая и модифицируемая динамическая система данных (представлений, мнений, знаний)» [Каменская 1990: 19; ср.: *единая информационная база* — Залевская 1985: 155]. В каком-то смысле контекст — это даже больше результат, чем исходное состояние [*output* vs. *input* — Parret 1983: 99]. Когнитивно это выражается в изменении набора пропозиций в общем фонде знаний, причем не так уж важно, как это происходит: речевым или невербальным действием, приобретением нового знания посредством освоения внешнего мира с помощью органов чувств, через восприятие или интроспективно, феноменологически интуитивно.

Постоянная динамика когнитивных образований, старого и нового знания, может быть отображена в терминах изменения статуса пропозиций: релевантная пропозиция актуализуется в речи [*фокус, emphasis* — Werth 1984: 8], после чего она становится частью *непосредственного* контекста [*immediate con-*

152

text — Werth 1984: 36], находясь в оперативной рабочей памяти, откуда она может перейти на более глубокие уровни хранения информации, став частью обобщенного образа данного типа ситуации, модели данного контекста [ван Дейк 1989: 95], и частью *культурного* контекста [*cultural context —* Werth 1984: 36]. Обобщенные знания о типах ситуаций и социально-культурных контекстов хранятся в памяти в виде *фреймов, сценариев* и *ситуационных моделей.*

4.3.3 Фреймы, сценарии и ситуационные модели

В инженерно-кибернетической лингвистике, искусственном интеллекте и некоторых других отраслях знания получил довольно широкое и устойчивое применение термин *фрейм;* наряду с данным термином встречаются другие: *схема — schema, schemata; сценарий — scenario, script; план — plan; демон — demon; когнитивная модель — cognitive model; ситуационная модель — situation model* [ср: Минский 1979; Шенк 1980; Чарняк 1983; Дейк 1989; Гончаренко, Шингарева 1984; Джонсон-Лэрд 1988; Bartlett 1932; Schank, Abelson 1977; Charniak 1978; Bower e. a. 1979; Lehnert 1980; Schank 1982a; 1982b; 1994; Johnson-Laird 1983; Werth 1984; Stillings e. a. 1987; Carberry 1990; Sanders 1991; Fiske, Taylor 1991; Eyesenk 1993; Wilensky 1994; Graesser, Zwaan 1995; van Dijk 1995; Berger 1996 и др.].

Фрейм — это такая когнитивная структура в феноменологическом поле человека,

Фрейм — это такая когнитивная структура в феноменологическом поле человека, которая основана на вероятностном знании о типических ситуациях и связанных с этим знанием ожиданиях по поводу свойств и отношений реальных или гипотетических объектов. По своей структуре фрейм состоит из *вершины* (темы), т. е. макропропозиции, и *слотов* или *терминалов,* заполняемых пропозициями. Эта когнитивная структура организована вокруг какого-либо концепта, но в отличие от тривиального набора ассоциаций такие единицы содержат лишь самую существенную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с данным концептом.

Кроме того, отнюдь не исключено, что фреймы имеют более или менее *конвенциональную* природу и поэтому они способны определять и описывать то, что является самым «характерным» или «типичным» в данном социуме или обществе с его этно- и социокультурными особенностями. Скажем, фрейм *«семья»* по-разному организован в сознании жителей южнокорейского села, немецкого города, дагестанского аула или индусской деревни: разными оказываются и слоты, и их количество, и наполнение (явно отличаются роли и статусы *членов семьи,* их права и обязанности, отношение к родственникам по мужской и женской линии, включенность третьего-четвер-

153

того поколений). Такие когнитивные модели — это базис для интерпретации дискурса.

В то же время фреймом порой называют набор эпистемических единиц, которые определяют наше восприятие стульев, журналов, бананов и других объектов действительности. Например, фрейм *«комната»* включает слоты *стены, потолок, пол, окно* и *дверь,* трехмерность замкнутого пространства комнаты, точку зрения относительно данного объекта (вне или внутри, где). «Различие между концептами как таковыми и организацией концептуального знания во фреймы является не вполне четким — теория допускает размытые границы между ними» [ван Дейк 1989: 17; ср.: Кубрякова и др. 1996: 90; 187].

Сценарий или, по-другому, *сценарный фрейм* содержит стандартную последовательность событий,

Сценарий или, по-другому, *сценарный фрейм* содержит стандартную последовательность событий, обусловленную некой рекуррентной ситуацией [Schank, Abelson 1977; Bower e. a. 1979]. Сценарии организуют поведение и его интерпретацию. Для сценариев характерны ситуативная привязанность и конвенциональность [Гончаренко, Шингарева 1984: 14; Минский 1979; Шенк 1980; Романов 1988: 30; ван Дейк 1989; Кубрякова и др. 1996: 181—182].

Сценарии не всегда обусловлены непосредственной целесообразностью: нередко они описывают последовательности сцен, событий или действий, имеющие полностью или частично ритуализованную природу, например, светские, религиозные и военные церемонии [см.: Schank, Abelson 1977: 63].

Как фрейм, так и сценарий необходимо трактовать *в терминах памяти* [Schank 1982a: 173; Bower e. a. 1979]. Это не только информационные структуры, они сообщают о результатах, конечных состояниях, по которым и запоминаются нам, поскольку это механизмы, объясняющие достижение понимания с использованием накопленного ранее знания [Lehnert 1980: 94], а предварительное знание и есть тот тип информации, который хранится в памяти. В соответствии с этим Р. Шенк [Schank 1982a: 175—176] выделяет четыре уровня памяти: на первом хранятся образы вполне *конкретных* событий *(Event Memory):* конкретное посещение зубного врача; на втором — *обобщенные* образы, вобравшие в себя все конкретные события одного типа *(Generalized Event Memory):* все посещения зубного врача; на третьем уровне хранится информация о *ситуации в целом (Situational Memory),* факты типа «В кабинете зубного врача есть специальное кресло» или «Врач носит белый халат»; наконец, высший, четвертый уровень *интенциональной памяти (Intentional Memory)* содержит более абстрактную информацию о том, как надо решать свои проблемы с помощью социального института помощи. Но где, «на какой полке» копятся сценарии?

Самое замечательное в этом нашем рассуждении заключается в том, что в «готовом виде» сценарии в памяти вообще-то не хранятся. Применение

154

сценария к анализу дискурса — это *реконструкция,* что максимально близко подходам вышеописанной теории PDP. Мы сами строим сценарии по мере того, как в этом возникает необходимость, в процессе восприятия речи, чтобы осуществить интерпретацию дискурса, используя накопленный ранее опыт и информацию, размещенную на разных уровнях памяти [Schank 1982a: 179; ср.: Кубрякова 1991; Панкрац 1992].

На первом уровне памяти у нас хранятся сложные эпизоды и длительные неинтерпретированные последовательности событий. Более важная для реконструкции сценариев *энциклопедическая* информация находится на втором уровне в виде норм, правил и фреймов. *Социально-культурная* информация, которую мы все приобретаем в течение довольно длительного времени жизни в обществе, в виде *макросценариев* хранится на третьем уровне памяти и помогает ответить на вопрос, **как?** мы делаем то, что нам надо. Еще более абстрактные сведения о том, **почему?** мы вообще делаем это, принадлежит четвертому уровню (INTENTIONS, THEMATIC SEQUENCES, GRAND DESIGNS — Schank 1982a: 184—187]. Лишь в отношении первого уровня можно говорить, употребляя слово *помнить* в его «собственном» смысле, — остальные уровни содержат основанные на предшествующем опыте антиципации и экспектации разной степени обобщенности.

Модель памяти, разработанная Шенком для искусственного интеллекта (страдающая неким машинным механицизмом), отличается от конкурирующей когнитивно-психологической ***архитектуры знаний,*** в соответствии с коей вводится ряд дихотомий для разных типов знаний в долгосрочной памяти:

эпизодическая vs. ***семантическая*** память — данное важное противопоставление в начале

70-х годов ввел американский психолог эстонского происхождения Э. Тулвинг [Tulving 1983; Eysenck 1993: 72—73]: эпизодическая память автобиографична, так как она основана на личном опыте человека и содержит информацию о событиях, участником или свидетелем которых был он сам; семантическая память скорее универсальна — ведь это языковые и энциклопедические знания, лишенные уникальных пространственно-временных координат своих «истоков», в отличие от эпизодической памяти, где у каждого воспоминания есть свое время и место происхождения;

декларативная vs. ***процедуральная*** память — этой оппозицией эпизодическая и семантическая память под рубрикой «декларативная» *(знаю, что)* противопоставляется «процедуральной» *(знаю, как),* что важно и для реального речепроизводства, и для его моделирования [см.: Anderson 1983; Stillings e. a. 1987: 18—21; Fiske, Taylor 1991: 306—308; Eysenck 1993: 73—75];

155

эксплицитная vs. ***имплицитная*** память — эта оппозиция по характеру проявления памяти встречается не так часто, а своим происхождением она обязана психологическим экспериментам по изучению амнезии: имплицитная память функционирует тогда, когда успешное выполнение какой-то задачи не сопровождается осознанным воспоминанием части предшествующего опыта *(conscious recollection of previous experience),* а эксплицитная память требует этого [Graf, Schachter 1985: 501; Eysenck 1993: 75—77].

Очевидно, что эти дихотомии и оппозиции (как обычно) не должны восприниматься абсолютно. Одни и те же когнитивные схемы могут иметь одновременно декларативный и процедуральный характер, семантическая память очень часто взаимодействует с эпизодической и т. п.

Не совсем так, как это принято в искусственном интеллекте, например, в Йельской группе Шенка и Абельсона, Т. А. ван Дейк и В. Кинч [1988: 173] говорят о ситуационных или *когнитивных моделях* памяти и моделях в *эпизодической* памяти. Эпизодические модели они рассматривают как частичные, субъективные и узко релевантные когнитивные представления о положении дел в реальном мире и тем самым — о социальных ситуациях в мире. «По этой причине мы называем такого рода модели ситуационными» [Дейк 1989: 163—164]. Их локализация в эпизодической памяти говорит о том, что они представляют собой интегрированные структуры предшествующего опыта. В них отражены знания и мнения людей о конкретных событиях или ситуациях. Ситуационные модели служат сформированной на основе личного опыта базой для более абстрактных сценариев и планов в *семантической (социальной)* памяти. Здесь проявляется одно из самых замечательных качеств модели В. Кинча [*construction-integration model* — Weaver e. a. 1995], а именно — принцип интеграции и взаимодействия эпизодической и семантической памяти. Различаются *частные (particular)* и *общие (general)* модели: от частной модели к общей, а от последней — к сценарию.

Не случайна эволюция взглядов ван Дейка и Кинча, до 1978 г. более ориентировавшихся на структурные подходы к анализу пропозиционально-ассоциативных сетей при восприятии и порождении текста. Осознав статичность лингвистической модели текста, они сформулировали основания **стратегического** подхода к динамическим процессам интерпретации и порождения текста: «We thus introduced the crucial notion of *strategic* processing: an online, context-dependent, goal-driven, multilevel, hypothetical, parallel, and hence fast and effective way of understanding» [van Dijk 1995: 392]. Данная прогрессивная программа стала шагом вперед по направлению к интерпретативному анализу.

156

Сценарий может быть использован либо *поведенчески,* либо *когнитивно:* в первом случае человек реально проигрывает его, строя свое поведение в соответствии с конкретным сценарием; во втором — мысленно [Lehnert 1980: 87], например, интерпретируя текст. Многие упускают из виду иное наполнение модели в случае ее поведенческой реализации, когда доминирующим типом знаний оказывается процедуральный. Темой сценария является тип деятельности, соотносящий цель и способ ее достижения, а слотами — модели отдельных действий, их последовательность и порядок.

4.3.4 Взаимодействие когнитивных структур в дискурсе

Как это ни странно, вопрос о взаимодействии разных типов знаний и когнитивных структур в коммуникативном процессе не был достаточно эксплицитно разработан ни в исследованиях по искусственному интеллекту, ни в когнитивно-психологических исследованиях по

восприятию текста (редкое исключение, да и то относительное — модель Дейка-Кинча). Многие работы узко сосредоточиваются на процессах и особенностях распознавания в дискурсах разной природы когнитивных моделей, сценариев или планов [Carberry 1990; Sanders 1991; van Dijk 1995; Berger 1996]. Практически все они заняты поиском *одной* модели в дискурсе, устном или письменном, монологическом или диалогическом. Их интересует лишь структура того, о чем идет речь, или, иначе говоря, модель *декларативного* знания.

Предмет деятельности «назначен» потребностью одного или нескольких участников коммуникации или же всей группы как совокупного субъекта общения. Сама потребность формируется внешней или внутренней, субъективной ситуацией, как правило, предшествующей акту общения. Потребность, переходя в мотив речевой деятельности на основании когнитивной интерпретации предметной ситуации, в акте *референции* делает эту ситуацию *объектом* дискурсивного действия. В любом диалоге прямо или непрямо дается репрезентация структуры референтной ситуации, происходит дискретизация объектов и отношений внутри нее, приписывание определенных признаков тем или иным объектам и отношениям, происходит *тематизация* референтной ситуации, состоящей из объектов (или одного объекта), отношений между ними, их признаками. В дискурсе предмет общения, его объект обычно задает тему, по развитию которой можно судить об особенностях моделирования референтной ситуации.

Когнитивный образ **предметно-референтной ситуации,** как правило, опирается на знания о предмете общения, связанном с ним предшествующем опыте и вероятностном прогнозировании. Этот образ может быть представ-

157

лен в виде ***схемы*** или ***модели,*** — некоторой базовой структуры репрезентации знаний о предметно-референтной ситуации, причем, как уже отмечалось, основной единицей декларативного знания в лингвистически и когнитивно релевантных процессах чаще всего является *пропозиция.*

Все бы хорошо, но никак нельзя упускать из виду тот факт, что не одна только предметно-референтная ситуация влияет на процесс диалогического взаимодействия и реализуется в дискурсе. В соответствии со значением самого этого слова — *взаимодействие* — предполагается наличие некоторой коммуникативной общности, диады, малой группы или большого социума, т. е. совокупного *субъекта* деятельности и общения. Отношения в этом социуме могут быть самыми разными: от совпадения мотивов и целей участников (полная кооперация), до их полного конфликта, даже антагонизма, когда получение положительного результата одним сопряжено с нанесением ущерба другому, что наиболее ярко видно на примере взаимодействия людей с противоположными, взаимоисключающими целями. Возможны варианты, когда субъективно полезное, т. е. выгодное для «себя» действие одного участника взаимодействия становится необходимым звеном в стратегии другого, — в этом случае можно говорить об отношениях дополнительности, связывающих их цели и поведение. Как бы то ни было, дискурс не может не испытывать влияния межсубъектных отношений, как и социальных и психологических характеристик самих субъектов на процесс обмена речевыми действиями.

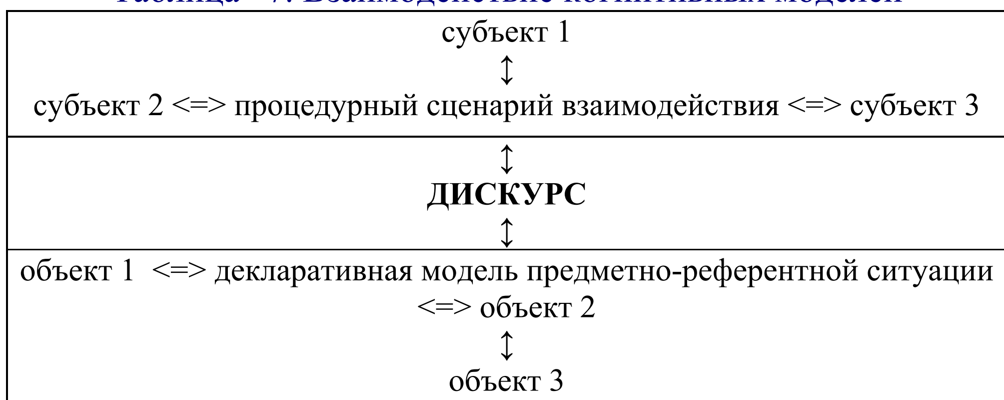
Когнитивный образ ***ситуации взаимодействия*** в ее динамике (аспект коммуникативного контекста), являясь *общим знанием,* функционирует в качестве одного из главных условий успешного акта общения, производства и интерпретации диалогического дискурса, шире — совместной деятельности. Этот когнитивный образ содержит знания о конвенциях, нормах, ритуалах, ролях коммуникативной деятельности, о том, что Витгенштейн [1985] назвал «языковыми играми», и о том, что в этнографии коммуникации именуется «коммуникативными практиками» *(communicative practicies),* играющими в акте общения роль интерсубъективных, социокультурных факторов. Участвующая в речи информация социокультурного характера, как правило, организована в виде сценариев и моделей.

Образ ситуации взаимодействия предстает в качестве ***ситуативной модели*** или, иначе, ***сценария.*** Однако поведенческая реализация не сводима к одному ***декларативному*** знанию, наоборот, она часто опирается на комплексы ***процедурального*** знания (что происходит в реальном общении), и не во всяком микроконтексте, действуя «автоматически», участники коммуникации в состоянии вербализовать данные элементы процедурального знания подобно декларативным структурам.

158

В дискурсе, таким образом, представлены как минимум две когнитивные модели: одна из них относится к структуре предметно-референтной ситуации, другая конструирует «процедурную» ситуацию общения, сценарий эпизода самого коммуникативного взаимодействия:

Таблица 7. Взаимодействие когнитивных моделей



субъект 1
↕
субъект 2 <=> процедурный сценарий взаимодействия <=> субъект 3
↕
ДИСКУРС
↕
объект 1 <=> декларативная модель предметно-референтной ситуации <=> объект 2
↕
объект 3

Эти ментальные модели по-разному эксплицируются в речи, по-разному тематизируются. Понятно, что форма «выражения» и тип совмещения когнитивных образов референтной ситуации и ситуации взаимодействия неодинакова в разных типах дискурса, в разных регистрах общения. В письменном тексте технического документа полнее представлена структура модели референтной ситуации. В спонтанном устном дискурсе отчетливее выражен сценарий общения. Кроме того, необходимо помнить, что не сами по себе коммуникативная или предметно-референтная ситуации определяют организацию дискурса, но их феноменологическая проекция. Необходимо учитывать еще и то, что когнитивные образы одних и тех же ситуаций у разных людей могут не совпадать, и если подходить к их сопоставлению с известной долей строгости, то они никогда и не совпадают. Эта мысль созвучна изложенному выше тезису о том, что контексты не даются, а выбираются, — не стоит забывать об активности субъекта в данных процессах.

Когнитивный «слепок» предметно-референтной ситуации полнее отображается в семантике дискурса как целого речевого события. Не всегда схема эксплицируется полностью, наоборот, вербализоваными оказываются только отдельные составляющие: сами объекты или их отношения и признаки. Лингвистически это выражено в употреблении соответствующей данной схеме лексики, реляционных структур, индексов *возможного мира.* Эта референтная ситуация составляет ядро глобальной темы дискурса (см. выше), обычно

159

она легко идентифицируется даже в случае частичной экспликации объективной ситуации.

Если образ референтной ситуации проступает в глобальной теме, т. е. в том, *о чем* говорят, то образ ситуации общения чаще всего связан с тем, *как* (в широком смысле) говорят, что тем самым *делают.* Важную роль в конструкции когнитивного образа ситуации общения играют метакоммуникативные компоненты внутренней организации дискурса, элементы дейксиса, к которым следует отнести и особо отметить *социальный дейксис,* языковые символы коммуникативной дистанции и социальных, например, ролевых отношений общающихся, и *дейксис дискурса,* языковые индексы, маркирующие его структуру, помогающие сориентироваться в тексте самого диалога [Levinson 1983: 85—98].

Пропозиции, связанные с ситуацией общения и самим ходом коммуникации, не так часто, но все же иногда тематизируются, попадая в коммуникативный фокус диалога: это те случаи, когда в силу каких-либо причин говорящие переходят от обсуждения глобальной темы, предмета диалога к обсуждению (часто с целью коррекции) того, как протекает общение. В этом случае уже сам диалог, процесс речевого взаимодействия становится предметом, темой общения.

Когнитивные модели не могут быть чем-то, существующим обособленно и отдельно от дискурса, речь — это важнейший из модусов их бытия. Когнитивные модели нельзя воспринимать как нечто заданное, фиксированное. Они постоянно (вос)производятся в процессе речевого взаимодействия на основе верификации вероятностных инференций. Дискурс — не просто «субстанция» для реализации, это одновременно и источник когнитивных моделей. Это тем более очевидно, чем дальше референтная ситуация от мира

конкретных физических тел, чем она ближе к миру социальных представлений.

Признавая вслед за конструктивизмом наличие когнитивных схем разных уровней (умышленно постараемся избежать ниже употребления термина «фрейм», по крайней мере, в том значении, в каком он закреплен в сфере искусственного интеллекта, чьи механистические теории явно проигрывают когнитивно-психологическим), здесь подчеркнем их роль в формировании общего фонда знаний, коллективной интенциональности и других аспектов дискурсивно выраженной интерсубъективности. В рамках подобного исследования нам не доказать и не опровергнуть наличия когнитивных схем иначе, кроме как интуитивно, посредством интроспективной интерпретации дискурса. В этом вопросе придется согласиться с методологией дискурсивной психологии, а именно: путь к переосмыслению традиционных когнитивных категорий проходит через анализ дискурса.

160

В четвертой главе мы согласились с тем, что в анализе таких «классических» категорий, как *референция, пресуппозиция, инференция* и т. п. следует придерживаться их когнитивно-деятельностной трактовки: понятия эти описывают не отношения между отдельными предложениями и их частями, а действия участников языкового общения как релевантные аспекты взаимодействия коммуникантов друг с другом и с миром, как коллективные действия, позволяющие распознавать личностно обусловленные смыслы в социальном контексте. При этом нельзя недооценивать роль *экспликатур* — необходимых для вывода общего смысла компонентов.

Согласились и с тем, что контекст активен, динамичен, он не задан жестко, его выбор зависит от коммуникантов. Его когнитивное представление не должно сводится к набору пропозиций, так как обработка знаний *распределяется параллельно* по разным уровням — одним из них является уровень пропозициональной репрезентации (идея PDP). Когнитивно-психологические теории моделей и архитектуры знания в этом отношении оказываются предпочтительнее фреймовых идей искусственного интеллекта.

Вероятностные индуктивные инференции играют самую заметную роль в дискурсе, включая *глобальные* процессы, имеющие доступ ко всем типам знаний, контекстуальной информации, при этом большинство инференций — это компоненты ситуационной модели. Декларативная модель предметно-референтной ситуации взаимодействует с «процедурным» сценарием интеракции. Обе эти модели по-своему эксплицируются в ткани дискурса, по-разному тематизируются. Конструирование когнитивных схем реализуется в дискурсе, который остается главным модусом и локусом их существования, реализации и возникновения.

Глава 5. ДИСКУРС КАК СТРУКТУРА И КАК ПРОЦЕСС: ЕДИНИЦЫ И КАТЕГОРИИ

5.1. РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В АНАЛИЗЕ ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

How do sentences do it? — Don't you know? For nothing is hidden.
L. WITTGENSTEIN [1953: no. 435]

Одним из самых популярных, судя по числу публикаций, коммуникативных подходов к дискурс-анализу, реанимировавших деятельностный подход к языку, стала теория речевых актов. Ее аналитико-философское происхождение вкупе с изящной упаковкой главных принципов и тезисов предопределили популярность, выпавшую на долю этой теории: на каком-то этапе она стала идеологией прагматики языка, определила пути развития коммуникативной лингвистики в целом. Категория «речевой акт» вышла за пределы теории речевых актов *per se,* где она претендовала на методологическую роль «минимальной единицы общения». Все это заставляет вновь обратиться к этому понятию и определить его место и статус в коммуникативном анализе языкового общения.

5.1.1 Структура речевого акта

Речевой акт *(speech act)* как научный концепт обязан своей известностью аналитическому по методам, логико-философскому по изначальным интересам и лингвистическому по результатам учению об элементарной единице языковой коммуникации — *теории речевых актов.* Основу теории речевых актов составили идеи, зародившиеся в 30-х гг. и позже изложенные английским логиком Дж. Остином в лекциях (вновь *William James Lectures),* прочитанных в 1955 г. в Гарвардском университете (США) и опубликованных в 1962 г. под названием *How To Do Things With Words* [Austin 1962; см. : Остин 1986]. Впоследствии эти идеи получили ревизию и развитие в трудах американского логика Дж. Сёрля: монографии *Speech Acts* [Searle 1969] и ряде статей [см.: Сёрль 1986a; 1986b; 1986c; Сёрль, Вандервекен 1986]. Это направление разрабатывалось в трудах английского логика П. Ф. Стросона [1986; Strawson 1991], а чуть позже — в многочисленных публикациях американских, европейских, в том числе и российских ученых [см.: Сусов 1980; Романов 1988; Богданов 1990a;
162
Wunderlich 1976; Sadock 1974; Allwood 1976; Lanigan 1977; Cole, Morgan 1975; Cole 1978; 1981; Bach, Harnish 1979; Verschueren 1980; 1987; Searle e. a. 1980; 1992; Parret, Sbisa 1981; Cohen e. a. 1990; Wierzbicka 1991;Evans 1985;Nuyts 1993;Brunner, Grafen 1994; Moeschler, Reboul 1994; Geis 1995 и др.].

Главная идея теории речевых актов сводится к тому, что мы, произнося предложение в ситуации общения, совершаем некоторое действие или, точнее, действия: приводим в движение артикуляционный аппарат, упоминаем людей, места, объекты, сообщаем что-то собеседнику, веселим или раздражаем его/ее, просим, обещаем, приказываем, извиняемся, порицаем; причем эти действия обусловлены намерением или интенцией говорящего. Отметим, что интенциональность здесь понимается в далеком от феноменологии смысле.

В структуре речевого акта с минимальными вариациями выделяются локутивный, иллокутивный и перлокутивный акты, и только локутивный акт трактуется по-разному [ср.: Остин 1986: 86—89; Сусов 1980; Богданов 1990a: 38—41; Романов 1988: 13—15].

Локутивный акт (locutionary act)

Локутивный акт *(locutionary act)* сводится к речепроизводству как таковому *(saying that **p**).* Уточняя это размытое определение, Дж. Сёрль [1986a; Searle 1969: 23—24] выделяет собственно акт произнесения или «акт высказывания» *(utterance act)* и «пропозициональный акт» *(propositional act),* включающий референцию и предикацию. Кент Бах и Роберт Харниш [Bach, Harnish 1979] в своей модели речевого акта в похожей функции также выделяют «акт высказывания» *(Utterance Act: S* utters *e* from *L* to *H* in C) и «локутивный акт» *(Locutionary Act: S* says to Я in C that so-and-so).

Иллокутивный акт (illocutionary act)

Иллокутивный акт *(illocutionary act)* является центральным понятием теории речевых актов. Он соотносится с коммуникативным намерением или интенцией говорящего

(communicative intention), совмещая целеполагание с выражением пропозиционального содержания высказывания (по Сёрлю— Остину, *what one does in saying that **p*** или же, по Баху-Харнишу, *S* does such-and-such in С). Сущность иллокутивного акта отражается в речевом акте как его иллокутивная сила или иллокутивная функция *(illocutionary force, function — IF).* Сюда же включается ряд компонентов: иллокутивная цель, способ достижения цели, интенсивность иллокутивной силы, предварительные условия, условия пропозиционального содержания, условия эффективности и успешности, определяемые правилами социального поведения, нормального входа и выхода, условиями искренности для говорящего и слушающего [подробнее см.: Сёрль 1986а]. Все они поддаются формализации методом иллокутивной логики, что позволяет на базе теории множеств представить разные типы иллокутивных актов как логические формулы [Сёрль, Вандервекен 1986; Searle, Vanderveken 1985].

163

Индикаторы иллокутивной силы *(illocutionary force indicating devices)* указывают на то, как именно должна приниматься и пониматься пропозиция в высказывании, с какой иллокутивной силой. Дж. Сёрль [Searle 1969: 30] в английском языке к таким индикаторам относит среди прочих ударение, интонацию, наклонение глагола, порядок слов и *перформативные* глаголы (о них см. ниже).

Перлокутивный акт (perlocutionary act)

Перлокутивный акт *(perlocutionary act)* выражает результат речевого воздействия, которого говорящий *интенционально* [см.: Bach, Harnish 1979: 17— 18] достигает, выполняя локутивный и иллокутивный акты *(what one does by saying that **p***; или, по Баху и Харнишу, S affects Я in a certain way): поздравляет, убеждает, угрожает, обещает, заключает пари, выносит приговор и т. д. Перлокутивный акт шире иллокутивного эффекта *(illocutionary effect on the hearer),* т. е. понимания высказывания адресатом в функции, предписанной говорящим: перлокуция не столь жестко связана с самим высказыванием и обусловлена прагматическим контекстом.

Произнося (т. е. совершая *акт высказывания)* банальную фразу *John has a wonderful car 'У Джона прекрасная машина'*, говорящий осуществляет *акт референции,* соотнося *имя Джон* с конкретным человеком, приписывая ему *(акт предикации)* владение прекрасным автомобилем. При этом он *сообщает (иллокутивный акт)* адресату этот факт; посредством данного сообщения осуществляется *перлокутивный акт,* в нашем случае это может быть простая оценка (если машина и впрямь прекрасна) или комплимент (если автомобиль на самом деле не заслуживает такой высокой оценки), или даже упрек (будучи сказанным другому человеку, чья машина недостаточна хороша). Перлокуция, таким образом, характеризуется определенной относительностью и зависимостью от широкого контекста.

5.1.2 Перформативные высказывания

С момента возникновения теории речевых актов большое внимание привлекали любопытные свойства глаголов, обозначающих то или иное речевое действие. Такие глаголы получили название перформативных [см.: Остин 1986; Апресян 1986; Богданов 1983; 1985; 1990а; Романов 1984; Сусов 1980; Падучева 1985; Коул 1982; Austin 1962; Searle 1969 и др.], а ***перформативами*** (по аналогии с императивами) были названы содержащие эти глаголы высказывания.

Эксплицитному перформативному высказыванию присущи следующие характеристики [Богданов 1985: 19; 1990а: 59—61]: *эквиакционалыюсть* (равнозначность действию — главное свойство перформативов); *неверифицируемость* (неприложимость к перформативам критерия истинности/ложности,

164

так как перформативное высказывание истинно в силу самого его произнесения); *автореферентность* (перформативное высказывание отсылает к самому себе); *автономинативность* (перформативный речевой акт описывает себя); э*квитемпоральность* (совпадение времени перформативного глагола с моментом речи); *компетентность* (наличие полномочий у говорящего); определенная *лексическая и грамматическая выраженность* (перформативный глагол должен быть в первом лице единственного числа настоящего времени, первый актант — выражаться дейктическим элементом первого лица единственного числа и т. п.).

Перформатив, обладающий всеми перечисленными выше признаками, можно считать

идеальной формой *эксплицитного* перформативного высказывания. Но такая форма довольно редко встречается в реальной практике языкового общения. Иногда попадаются перформативы в страдательном залоге или форме множественного (например, «монархического») числа. Некоторые перформативные высказывания теряют актант (например, первый: *Thank you! Благодарю Вас!* вместо / *thank you! Я благодарю Вас!)* или сразу оба. Если первый и второй актанты, как правило, дейктические и вполне очевидные, легко достраиваются в случае грамматически допустимого эллипсиса, то опущение третьего актанта (всей пропозиции) возможно только в условиях непосредственного присутствия данной пропозиции в контексте [Богданов 1990а: 62].

В связи с этим возникла так называемая ***перформативная гипотеза,*** согласно которой в глубинной структуре практически любого высказывания находится перформативный глагол и его актанты (определяющие тип речевого акта). Тогда единственным различием перформативных и неперформативных высказываний становится только поверхностная экспликация перформативного глагола или трансформативное зачеркивание перформативной формулы, в пользу чего ратовал Дж. Сейдок [Sadock 1974: 120; ср.: МакКоли 1981: 278—279; Коул 1982: 398-402; Богданов 1983: 32—33; 1990а: 62—64; Романов 1984: 87—88]. Против этого, и не без оснований, возразили многие ученые [ср.: Gazdar 1979; Leech 1983: 192—195; Levinson 1983: 255], особенно в отношении прямых речевых актов констативного типа и глаголов речевой и мыслительной деятельности. Однако недескриптивным высказываниям, лишенным перформативного глагола, была дана характеристика *имплицитных* перформативов, потому что они отвечают главному критерию перформативности — эквиакциональности: высказывания типа *Хорошо! Well done!* грамматически не соответствуют эксплицитному перформативу *Я одобряю то, что ты сделал! I approve what you have done!,* в то время как на уровне действия могут его замещать, выполняя *перформативную функцию.*

165

Не все типы высказываний могут быть выражены посредством эксплицитного перформатива: *Ты у меня еще увидишь!* является угрозой, но вряд ли кто-то скажет *Я угрожаю тебе.* Это справедливо в отношении фраз с глаголами *угрожать, насмехаться, льстить, ругать, лгать, похваляться* (**I menace; *I insinuate; *I lie; *I flatter;* **I brag).* Подобные употребления получили название *иллокутивного самоубийства* [Вендлер 1985], так как в случае экспликации перформативного глагола, соответствующего иллокутивному типу высказывания и коммуникативному намерению, в его семантику закладывается элемент, делающий невозможным их успешную реализацию, потому что одно из условий успешности в данных речевых актах — сокрытие говорящим своего коммуникативного намерения.

5.1.3 Типология речевых актов

Практически все авторы, занимавшиеся теорией речевых актов, пытались построить классификацию типов речевых актов по их иллокутивной направленности, коммуникативному намерению и другим признакам [ср.: Апресян 1986; Богданов 1989; 1990а; Остин 1986; Сёрль 1986b; Сусов 1980; Austin 1962; Searle 1969; Tsui 1987; Verschueren 1980; Ballmer, Brennenstuhl 1981; Bach, Harnish 1979; Wunderlich 1976]. Сказанное выше ставит под сомнение адекватность классификации речевых актов по перформативным глаголам. Но многие исследователи пошли именно по этому пути, поэтому в некоторых работах количество классов варьируется от нескольких единиц до нескольких сотен и даже тысяч.

Пионером классификации речевых актов стал Дж. Остин [1986], выделив пять типов: *Вердиктивы, Экзерситивы, Комиссивы, Бехабитивы, Экспозитивы.* Отсутствие четких оснований в этой классификации дало повод Сёрлю выдвинуть альтернативную типологию, построенную на категориях иллокутивной цели, направлении приспособления и условиях искренности [Сёрль 1986b: 180]. Позже этот подход воплотился в наиболее логичной и последовательной (из «классических» версий теории речевых актов) таксономии Дж. Сёрля и Д. Вандервекена [1986; Searle, Vanderveken 1985], в соответствии с которой существует пять иллокутивных целей: *ассертивная, комиссивная, директивная, декларативная* и *экспрессивная.*

Эта классификация принимается многими исследователями, несмотря на многообразие других типологий. Не вдаваясь в дискуссии и изложение конкурирующих таксономии, отметим принципиальное и весьма существенное с теоретической точки зрения разграничение ***коммуникативных* и *конвенциональных*** иллокутивных актов. Работы Дж. Остина и Дж. Сёрля грешат абсолютизацией понятия *конвенция:* оба фактически говорят о конвенциональности

166

всех речевых актов, тем самым игнорируя качественное разнообразие конвенций разной социокультурной природы [ср.: Morgan 1978: 261]. Существенную поправку вносит П. Ф. Стросон [1986], разграничив сферы интенции и конвенции в речевом акте, причем соотнесенность последней с тем или иным социальным институтом выделяется им особо в качестве определяющего фактора, создающего условия для распознавания субъективного смысла говорящего.

Разграничение *институциональных* и *неинституциональных* типов высказываний представлено в интересной работе К. Баха и Р. Харниша [Bach, Harnish 1979]. Ими выделяются четыре основных «коммуникативных» типа иллокутивных актов: Констативы, Директивы, Комиссивы и Межличностные социальные формулы; первый в принципе совпадает с ассертивами в концепции Сёрля—Вандервекена, второй и третий не отличаются даже названиями, а четвертый, как это нетрудно заметить, весьма близок, хотя и не тождествен экспрессивам по Сёрлю.

Вместо декларативных актов Остина-Сёрля выделяются два наиболее общих «конвенциональных» типа иллокутивных актов: Эффективы и Вердиктивы. Конвенциональные речевые акты существенно отличаются от коммуникативных, главная их особенность заключается в том, что и эффективы, и вердиктивы меняют положение дел в рамках какого-либо социального института. К конвенциональным актам относятся разнообразные ритуализованные речевые действия: крещение, посвящение, голосование, арест, признание виновным и невиновным, бракосочетание, подача в отставку, запрещение. Эффективы, привнося изменения в какое-то институциональное положение дел, конвенциональны постольку, поскольку они имеют эффект в силу взаимного принятия этого говорящим и слушающим (например, наложение вето на законопроект). Вердиктивы являются суждениями, официальная значимость которых конвенционально «встроена» в тот или иной институт (вынесение приговора).

В целом, конвенциональные речевые акты (и эффективы, и вердиктивы) обусловлены социальным институтом, являясь его неотъемлемым, внутренне присущим элементом. Высказывания такого рода меняют институциональный статус людей и/или вещей, создают новые институциональные права и обязанности. Это вплотную подводит нас к проблеме взаимообусловленности конвенциональных речевых актов и социальных ролей.

Ясно, что не любой человек может успешно осуществить конвенциональный речевой акт, характерный для определенного института: только исполнитель соответствующей социальной роли, произнеся высказывание в соответствующий момент конвенционального, ритуализованного события, как, например, церемонии бракосочетания, успешно реализует данный речевой акт.

167

Знания об этих актах входят в коммуникативную компетенцию всех «нормальных» носителей языка, что подтверждается способностью каждого из нас правильно интерпретировать подобные речевые акты независимо от нашего личного опыта участия или неучастия в таких ритуалах [см.: Stubbs 1983: 159—160].

Институциональная деятельность осуществляется в абсолютном большинстве случаев социальными организациями, где общение и взаимодействие индивидов происходит не на уровне личностей, а на уровне позиций, деятельностных ролей, за которыми и закрепляются те или иные конвенциональные речевые акты. Этим объясняется их обезличенный характер. Порой анализ осложняется тем, что говорящий не всегда следует требованиям социальной роли, а из под «маски» ритуализованного речевого поведения выступает личность.

5.1.4 Косвенные речевые акты

Особый статус в теории речевых актов получила проблема так называемых «косвенных» речевых актов *(indirect speech acts).* Далеко не всегда говорящий, произнося какое-то предложение, имеет в виду ровно столько и буквально то, что он говорит. Такая смысловая простота и однозначность присущи отнюдь не всем высказываниям на естественном языке: при намеках, иронии, метафоре и т. п. буквальное значение предложения и смысл, подразумеваемый данным говорящим в данной ситуации расходятся. Важный класс подобных расхождений составляют случаи, когда говорящий подразумевает одновременно и прямое значение высказывания, и нечто большее, а само высказывание имеет две иллокутивные

функции [Сёрль 1986с: 195]. Классическим стал пример *Can you pass the salt?* В принципе ведь можно, не нарушая никаких языковых норм, интерпретировать это высказывание как вопрос и ответить *Yes* или *No.* Но в подавляющем большинстве случаев оно расценивается именно как просьба.

Как речевой акт, обладающий иллокутивной силой вопроса, используется для реализации действия с другой иллокутивной направленностью — просьбы? Теория речевых актов отвечает на этот вопрос следующим образом. Для каждого типа иллокутивного акта имеется свой набор условий, необходимых для его успешного выполнения. Косвенное побуждение может быть выражено либо с помощью вопроса, либо с помощью утверждения о выполнении предварительных условий или о выполнении условия пропозиционального содержания или же о выполнении условия искренности, а также о существовании веских причин для осуществления требуемого действия [более детальный разбор и подробный материал — Сёрль 1986с: 201—213].

168

Существует два подхода к объяснению феномена косвенных речевых актов. Один из них называют «идиоматическим», а другой — «инференционным» [*idiom theory* vs. *inference theory* — Levinson 1983: 268]. Представителем первого направления является Джералд Сейдок [Sadock 1974], второго — Давид Гордон и Джордж Лакофф [1985; Gordon, Lakoff 1975]. Наименования конкурирующих подходов говорят сами за себя: один рассматривает косвенные речевые акты типа приведенного выше примера как неразложимые идиомы, семантически эквивалентные обычной побудительной форме. Для обоснования этого решения Дж. Сейдок использует перформативную гипотезу, постулируя наличие перформативной «приставки» на глубинном уровне в косвенных речевых актах. Второй подход использует систему постулатов, позволяющих строить инференционную цепочку от исходной формы речевого акта к его функциям. Оба направления своеобразно дополняют теорию порождающей семантики.

Почему косвенные речевые акты вызвали столь большой интерес? Эта проблема имеет большое теоретическое значение, в частности, для анализа соотношении формы и функции: одной и той же форме приписывается более одной функции. Для этого говорящему приходится задействовать качественно различные типы знания, как языковые, так и неязыковые (интерактивные и энциклопедические), а также способности к разумным рассуждениям [Сёрль 1986с: 197].

Анализ косвенных речевых актов может производиться с опорой на принципы и постулаты общения по Грайсу [1985] и Личу [Leech 1983]. В этом случае косвенная иллокуция, как компонент смысла, надстраивающийся над буквальным значением, выступает в качестве импликатуры. Если не оговаривать особый статус инференционных механизмов интерпретации косвенных актов как преимущественно бессознательных, неизбежен нелепый вывод о необходимости громоздких умозаключений при «вычислении» косвенной функции высказывания, что нам вряд ли требуется в реальной жизни для понимания фразы *Can you pass the salt?* как просьбы. Индивидуалистический логический рационализм не позволил ни Сёрлю, ни Грайсу, ни Личу адекватно объяснить полифункциональность речевых актов.

Отличия идиоматического и инференционного подходов к решению проблемы косвенных речевых актов можно объяснить разным пониманием роли *конвенции* в коммуникации. Первое направление переоценивает ее, второе, наоборот, недооценивает. Оба тем самым фактически отрицают качественное многообразие конвенциональности. Исправляя эту неточность, о двух типах конвенции в косвенных речевых актах пишет Джерри Морган [Morgan 1978: 261]: ***конвенции языка*** *(conventions of language)* заметно отличаются от

169

конвенций употребления *(conventions of usage).* Высказывание *Can you pass the salt?* не может рассматриваться как идиома в собственно грамматическом смысле (конвенция языка), однако его использование для косвенного выражения просьбы безусловно конвенционально, т. е. опривычено и обычно для употребления в повседневной речи, всегда характеризующейся определенной долей ритуализации.

Тем самым снимается необходимость инференционного вывода смысла, потому что вторая функция закрепляется за данным действием конвенционально, как во всяком ритуале. С помощью выводного знания исследователь может восстановить первичную целенаправленность косвенного речевого акта, но в реальном общении этот этап интерпретации преодолевается автоматически («короткое замыкание» в инференционной

цепи). Именно в этом смысле конвенциональные косвенные речевые акты отличаются от других, неконвенциональных косвенных речевых актов. Это противопоставление у ряда авторов получает терминологический статус: под ***косвенными*** речевыми актами понимаются именно конвенциональные, а другие непрямые высказывания считаются ***транспонированными.*** Вряд ли стоит жестко подходить к этому разделению: четкой границы между конвенциональными и неконвенциональными косвенными речевыми актами нет, зато есть немало переходных случаев. Так, единичное употребление косвенного высказывания может развиться в конвенциональное, пройдя все стадии ритуализации в речевой деятельности и став «фоновым знанием». В пользу символического, социокультурного осмысления конвенциональности косвенных речевых актов говорят результаты функциональных исследований категории вежливости — важнейшего фактора в определении тональности общения и стиля дискурса [см.: Карасик 1992; Brown, Levinson 1987; Coupland 1988].

5.1.5 Теория речевых актов и анализ языкового общения

Наука, как и жизнь, полна парадоксов. Теория речевых актов, подарив немало интересных идей, оказалась не в состоянии адекватно интерпретировать живую разговорную речь — все то, что не укладывается в прокрустово ложе примеров, придуманных, как правило, самими исследователями.

Речевой акт фактически не оправдывает претензий на статус «элементарной» или «минимальной» единицы общения — это все же «элементарная единица *сообщения»* [Сусов 1984: 5]. В его структуре не отражена специфика общения как *взаимо*действия, речевой акт по определению однонаправлен и изолирован. Вот что пишет об этом Сёрль: «The speech act scenario is enacted by its two great heroes, 'S' and 'H'; and it works as follows: S goes up to H and cuts loose with an acoustic blast; if all goes well, if all the appropriate conditions are satisfied,

170

if S's noise is infused with intentionality, and if all kinds of rules come into play, then the speech act is successful and nondefective. After that, there is silence; nothing else happens. The speech act is concluded and S and H go their separate ways» [Searle 1992: 7].

Речевой акт — всего лишь потенциальная единица речевого общения, в которой только потенциально заложена способность к общению со «стерильным собеседником» [Романов 1988: 15] и потенциально представлена информация о том, каким образом может произойти предполагаемое взаимодействие партнеров, так как сам субъект речевой деятельности выступает здесь в виде того же абстрактного картезианского индивида, наделенного соответствующим набором социальных (роль, статус) и психологических (мнение, знание, намерение, установка) характеристик, которые он не в состоянии применить «в стратегической природе естественного речевого общения» [Франк 1986: 367; Романов 1988: 15].

Одной из проблем является сегментация потока речи на единицы, соответствующие «индивидуальным речевым актам». Если такой единицей считать предложение (абсолютное большинство примеров в работах по теории речевых актов — хрестоматийные предложения), то придется признать, что это противоречит фактам речи: речевые акты часто осуществляются посредством либо группы предложений, либо части предложения. Теория речевых актов занимается не высказываниями, а их типами [*utterance-types* — Schiffrin 1994: 60], не реальными инференционными процессами мыследеятельности, а элементами знаний, лишь предположительно привносимыми в речь.

Вызывает сомнение необходимость соотносить каждое высказывание с типом речевого акта из фиксированного и узкого репертуара, ведь в социально-коммуникативной реальности речи многие высказывания полифункциональны. Проблема косвенных речевых актов только подтверждает это. Д. Шифрин показала, как высказывание *Y'want a piece of candy?* в потоке речи может быть охарактеризовано то как вопрос, то как просьба, а то как предложение [Schiffrin 1994: 61—85]. Объяснение этому скрыто во внутренней связи функций:

[акт 1
высказывание => | акт 2
[акт 3

Это отличается от приписывания одной форме ряда изолированных, не связанных друг с другом функций [Schiffrin 1994: 86]:

=> акт 1
высказывание => акт 2
=> акт 3

171

Полифункциональность речевых актов играет большую роль в организации дискурса: наличие более чем одной функции дает возможность продолжить разговор более чем одним способом.

Следующей проблемой является произвольность категоризации фрагментов дискурса: нет единого набора критериев, который позволил бы всем исследователям речи одинаково вычленить и охарактеризовать сегменты, одним и тем же формальным единицам придать одинаковые функции. Произвольность определения функций заставляет усомниться в универсальности таксономии, оставив их уровню индивидуальной компетенции [Kreckel 1981; Taylor, Cameron 1987].

Согласимся и с тем, что точка зрения теории речевых актов на языковое общение статична, речеактовый подход игнорирует внутреннюю логику развития коммуникации и взаимодействия участников, спор стратегий регулирования и прогнозирования. Речевые акты вычленяются и идентифицируются *a posteriori* в жесткой системе координат, а не с постоянно движущейся точки зрения участников общения в процессе плавного развертывания коммуникативных структур. Единицы общения в момент их интерпретации еще не являются чем-то сформированным и завершенным, они как раз в этот момент только «появляются на свет». Не надо забывать и того, что для взаимодействия важны «точки зрения» всех его участников.

Теория речевых актов не может объяснить синтагматические связи между высказываниями и когеренцию дискурса, а также то, как одни типы высказываний обусловливают определенные иллокутивные функции других [но ср.: Labov, Fanshel 1977; Clark 1979; Ferrera 1985; Schegloff 1987]. Теория речевых актов пренебрегает «актами», связанными с организационными аспектами языкового общения, в частности, «минимальными репликами» адресата, не прерывающими говорящего, однако выполняющими множество локальных задач, не сводимых лишь к «подтверждению».

В теории речевых актов контекст как объяснительный фактор привлекают эпизодически для объяснения лишь тех высказываний, которые не поддаются голой семантической интерпретации. Вопрос о том, *как* контекст определяет или меняет иллокутивную функцию высказывания, в рамках ортодоксальной теории речевых актов не обсуждался. Примеры для анализа — абстрактные, идеализированные высказывания-типы, помещенные в гипотетический «нулевой» контекст, не способствовали решению проблемы. Низкая роль контекста отрицательно сказалась на эвристических возможностях теории.

Неясным остается соотношение пропозиции и иллокуции. Возникает также необходимость модернизации традиционной логико-семантической парадигмы, так как теория речевых актов всем показала, что высказывание несет

172

не только пропозициональное истинностно-функциональное значение, но и нечто большее.

Таким образом, теория речевых актов, исследуя весьма узкий набор функций своих «единиц», отталкивается от внешней по отношению к языку реальности — интенции автора и знания конститутивных правил: «Если принять, что иллокутивная цель — это базисное понятие, вокруг которого группируются различные способы использования языка, то окажется, что число различных действий, которые мы производим с помощью языка, довольно ограниченно: мы сообщаем другим, каково положение вещей; мы пытаемся заставить других совершить нечто; мы берем на себя обязательство совершить нечто; мы выражаем свои чувства и отношения; наконец, мы с помощью высказываний вносим изменения в существующий мир» [Сёрль 1986b:194]. Для коммуникативного дискурс-анализа не так важна таксономия речевых актов *per se* — порой интереснее 12 дифференциальных признаков, по которым Сёрль [1986b]

различает иллокутивные типы высказываний: цель, направление «приспособления» между словами и миром *world to word* или *word to world,* психологические состояния, интенсивность иллокутивной силы, статус коммуникантов, способ соотношения высказывания с их интересами, соотношение с дискурсом, пропозициональное содержание (по индикаторам иллокуции), способ и стиль осуществления акта, институциональность, перформативность.

Функционализм теории речевых актов толкает ее к изучению структуры дискурса уже потому, что в некоторых случаях найти иллокутивную предназначенность высказывания возможно лишь в контексте последующего речевого акта, например, заключение пари невозможно без ответного высказывания [см.: Dascal 1992: 37]. Это лишний раз дает повод усомниться в самодостаточности и самостоятельности речевого акта как единицы анализа, хоть Сёрль и пишет: «Traditional speech act theory is ... largely confined to single speech acts» [Searle 1992: 8], сознательно ограничивая сферу теории.

В своей лекции, позже — статье о речевом общении [Searle 1992] Дж. Сёрль сам подтверждает неприменимость своей теории к разговорному дискурсу по следующим причинам: разговор не подчиняется конститутивным правилам, у него нет цели и структуры, в том виде, в котором они присущи речевым актам, позволяющем абстрактное обобщение. В связи с этим есть ряд вопросов.

Во-первых, это вопрос о структуре речевого акта и дискурса. Говоря об отсутствии структуры в повседневных разговорах, Дж. Сёрль прежде всего подразумевает отсутствие параллелизма в структурной организации речевого акта и разговора (это было бы совсем в духе «Монадологии» Лейбница, у которого часть и целое связаны отношением структурного изоморфиз-

173

ма). Однако Сёрль не отрицает какой-либо «иной организации» на уровне дискурса.

Во-вторых, это проблема качественного своеобразия правил в теории речевых актов и конверсационном анализе. Очевидно, что «конститутивные правила» для речевых актов Сёрля и «правила» этнометодологические, например, описывающие закономерности мены коммуникативных ролей суть не одно и то же.

Позже Сёрль [Searle 1992] предложил ввести в свою теорию две новые категории: «фон» *(background),* похожий на ситуативный контекст, и «коллективную интенциональность» *(collective* или *shared intentionality).* Последнее понятие связывает теорию речевых актов с интеракционизмом в нехарактерной для логического позитивизма онтологии, учитывающей интерсубъективность коммуникации, раскрывающуюся в групповом взаимодействии. *In brevi,* приближаясь к уровню дискурса, Дж. Сёрль просто вынужден менять всю *идеологию* общения, потому что и контекст, и коллективная интенциональность — категории, характерные для принципиально иного подхода.

Что же касается скомпрометированного словосочетания «речевой акт», то слабость теории речевых актов — еще не причина от него отказываться: эта категория прекрасно выражает ключевую идею совершения высказыванием социального действия — именно в таком смысле предлагается понимать ее и далее.

5.2. ЕДИНИЦЫ ДИСКУРС-АНАЛИЗА

Words move, music moves
Only in time; but that which is only living
Can only die. Words after speech, reach
Into the silence. Only by the form, the pattern,
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness.
THOMAS S. ELIOT, «Burnt Norton»

Далее необходимо решить как всегда актуальный вопрос о единицах дискурс-анализа, о *структуре* общения в той *форме,* в какой живая, движущаяся речь достигает тишины и покоя транскрипта, в том самом *рисунке,* что, по Т. С. Элиоту, подобен вечному движению орнамента китайской вазы. Это затрагивает методологический вопрос о восприятии социальной деятельности не только как *процесса,* но и как *структуры,* состоящей из элементов, каж-

174

дый из которых «включен в свой особый закон развития, реализуемый с помощью специфических механизмов» [Щедровицкий 1997: 262].

5.2.1 К вопросу о структуре дискурса

Среди некоторых языковедов бытует мнение, что на уровне дискурса, т. е. выше предложения, отсутствует какая-то ни было лингвистическая (структурная) организация. Возможно, что эти ученые, по выражению М. Стабза, просто не искали в дискурсе признаков такой организации [Stubbs 1983: 15]. Если принять эту точку зрения, то придется признать, что любая устная беседа, любой разговор состоят из беспорядочной совокупности предложений. Однако все нормальные носители языка интуитивно, а порой и осознанно (например, в процессе обучения или анализа) определяют замечательное свойство дискурса, заключающееся в том, что далеко не любое высказывание можно поместить после какого-то другого высказывания [хотя бы частичное экспериментальное подтверждение этому — Макаров 1992; ср.: Макаров 1990b; Шахнарович 1991]. Значит, существует определенный порядок коммуникативных ходов в диалоге, *структура обменов* речевыми действиями.

В разгоревшейся дискуссии о конверсационной структуре [см.: Searle e. a. 1992] можно было встретить временами прямо противоположные суждения. С одной стороны, существование социокультурно идентифицируемых типов дискурса и ощущений по поводу их структуры позволяют говорить о структурности разговоров, рассказов, уроков и т. п., хотя бы потому, что в них можно выделить начало, середину и конец, пусть это и не столь четкая структурность по сравнению с низшими уровнями языка: «It is perfectly plausible that languages are tightly patterned at the lower levels of phonology, morphology and syntax, and that discourse is more loosely constructed. Nevertheless, it is quite obvious that menus, stories and conversations have beginnings, middles and ends, and that is already a structural claim» [Stubbs 1983: 5].

С другой стороны, эта заявка о структурности дискурса была просто высмеяна Дж. Сёрлем простой аналогией с кружкой пива, у которой тоже есть начало, середина и конец: «they all have a beginning, a middle, and an end, but then, so does a glass of beer» [Searle 1992: 21]. Хотя с такими аргументами согласиться трудно: доводов, в том числе опытных, в пользу существования структуры дискурса намного больше [Jucker 1992: 78; Dascal 1992].

Во многом эти разногласия вызваны сосредоточенностью ряда ученых на исследовании структуры форм повседневного бытового речевого общения *(conversation)* — наименее структурированного из всех типов дискурса. Но разговор — это лишь частный случай дискурса, о чем мы договорились в третьей

175

главе. Вот в чем состоят отличия разговора от наиболее структурированных типов дискурса, включая ритуализованные, институциональные [урок, заседание суда или телеинтервью — см.: Jucker 1992: 85]:

Таблица 8. Дискурс: процесс или структура?

Разговорный дискурс	**Институциональный дискурс**
ориентация на процесс	ориентация на структуру
минимум речевых ограничении	максимум речевых ограничений
относительно свободная мена коммуникативных ролей	относительно фиксированная мена коммуникативных ролей
большая обусловленность непосредственным ко-текстом	меньшая обусловленность непосредственным ко-текстом
примат локальной организации	примат глобальной организации
целей много, и они обычно имеют локальный характер	целей немного, и они обычно имеют глобальный характер

По бытовой разговорной речи нельзя делать вывод об отсутствии структуры на уровне дискурса в целом. К тому же практически каждый из нас в состоянии отличить связный дискурс от неупорядоченной массы высказываний. *Связность* дискурса — важнейшая из его отличительных черт. Наконец, дискурс обладает качеством *самоорганизации:* и для письменных текстов, и для устной речи вполне нормальным оказывается взгляд со стороны — *мета-коммуникативные акты,* т. е. дискурс по поводу самого дискурса, коммуникативные ходы, комментирующие, ориентирующие и меняющие ход общения или выделяющие его структурные фазы. Такие высказывания встречаются достаточно регулярно, что тоже доказывает наличие организации на дискурсивном уровне.

Изучение функциональности дискурса, его динамической и синтагматической организации заставляет нас обратиться к ряду категорий, имеющих довольно долгую традицию использования в других направлениях лингвистики. Речь идет о категории *грамматичности*

(grammaticality) и критериях *правильной* и *неправильной оформленности* (*well-* vs. *ill-formedness).* В самых различных версиях генеративной и трансформационной моделей языка они используются для экспликации центрального понятия *языковой способности.* Увлечение системно-структурными и математическими методами предопределило наложение системы бинарных противопоставлений на материал, прин-
176
ципиально не допускающий такого обращения, потому что распределение качественных характеристик в языке (пожалуй, за исключением фонетики и морфологии) носит континуальный характер. Диалог как психическая «монада» [Радзиховский 1988: 27] теряет часть «психологического смысла» в логико-лингвистическом моделировании его структуры, что также объясняется наличием в сознании и, соответственно, дискурсе как дискретных, так и недискретных образований [Лотман 1983].

Системно-структурное языкознание отталкивается от идеи наличия четко определенного множества грамматичных или правильно оформленных предложений. Это программное кредо идеологии формальной лингвистики отличает ее от современного дискурс-анализа. Оппозиция *грамматичность* vs. *уместность* или *приемлемость (acceptability)* служит водоразделом системно-структурного и коммуникативного, интерпретативного направлений в языкознании.

Дж. Лайонз предложил тест для выявления неправильных высказываний и их последовательностей: главным критерием он считает их *исправимость* [*corrigibility* — Lyons 1977: 379], делая исключение для фраз типа *Colorless green ideas* Н. Хомского, так как их нельзя ***формально*** интерпретировать с трансформационной точки зрения (но возможна индуктивная интерпретация, что убедительно доказали психолингвисты). Грамматичность, уместность или приемлемость когнитивно «живут» как *интуиции* относительно сочетаемости элементов языковых выражений друг с другом и контекстом.

А что если принципиальной разницы между грамматичностью высказываний и их уместностью и приемлемостью просто нет? Тогда субъективно-интроспективный подход к определению этих качеств дискурса имеет все права на жизнь. Сама способность говорящих индивидов различать правильные и неправильные языковые формы и последовательности подтверждается актами коррекции ошибок в общении. Правда, есть весьма существенное *но:* в области фонологии и морфологии суждения большинства носителей языка по сути совпадают, на синтаксическом уровне единодушия замечено меньше, при дискурс-анализе интуиции отличаются возрастающим многообразием интерпретаций.

Аналогичное ограничение остается в силе и для критерия *исправимости* неправильно оформленных языковых выражений: на фонолого-морфологическом уровне проблем не возникает, в то время как ошибки в организации дискурса, как правило, не воспринимаются в качестве собственно лингвистических ошибок (их толкование чаще окрашивается в социально-психологические тона), например, ошибочно выбранная иностранцем языковая форма просьбы интерпретируется не как языковая ошибка, а как недостаточно веж-
177
ливое поведение; нарушение норм формальной связанности или когезии текста трактуется как стилистическая неуклюжесть, но сами лингвистические принципы, нарушение которых «режет глаз», игнорируются; то же можно сказать об оценке просодических ошибок.

Однако неспособность определить статус ошибки не должна обесценить тот факт, что сама ошибка так или иначе воспринимается и фиксируется как *отклонение* от нормального или правильного языкового употребления. Существование образа правильной речи — это когнитивная реальность, что справедливо как в отношении произношения, написания и сочетания слов в предложениях, так и в отношении актуализации предложений в высказываниях, в том числе и в первую очередь — в обменах коммуникативными ходами.

Для синтагматического измерения линейного развития речи ее важным свойством, соотносящимся с нормой правильной оформленности, оказывается *предсказуемость* возможных путей продолжения дискурса. Предшествующий, левый элемент в последовательности языковых выражений обусловливает, *предписывает* набор возможных вариантов следующего за ним элемента: «each speech act creates a space of possibilities of appropriate response speech acts» [Searle 1992: 8; Holdcroft 1992: 68; ср.: Sanders 1991; 1995].

В когнитивном аспекте данная способность вероятностного прогнозирования многих альтернативных способов продолжения дискурса — это важнейшая часть коммуникативной компетенции. Экспектации и антиципации, характеризующие наши установки относительно

наиболее вероятного, т. е. «правильного» развития дискурса, легко обнаруживаются в ситуациях «обманутого ожидания». Необходимо учитывать несколько иной характер, иную императивность синтагматических отношений в фонологии или морфологии по сравнению с уровнем дискурса: в последнем случае очевидна не столь жесткая детерминация последующего элемента предшествующим, ибо говорящий может избрать путь нерелевантного продолжения дискурса — этот вариант всегда в его распоряжении, и он им довольно часто пользуется [см.: Coulthard, Brazil 1981: 84; Sperber, Wilson 1995]. В дискурсе «все возможно» [Searle 1992], в отличие от структурного детерминизма в системе языковых единиц и уровней, которая сама диктует индивиду правила сочетания своих элементов. Поэтому категория *структура* должна применяться к дискурсу с известной долей осторожности, ее лингвистичность (в узком смысле) вызывает сомнения, причем справедливые [Stubbs 1983: 101].

Но все же мы можем утверждать, что существует *структура дискурса,* понимаемая в ином смысле, чем применительно к системе языка, учитывая другую степень идеализации объекта исследования, потому что практически

178

любому носителю языка нетрудно отличить неправильные или не совсем обычные обмены высказываниями от нормальных, например:

* — Yes, I can.

— Can you see into the future?

Странная гипотетическая последовательность, возможно, не самая остроумная шутка, построена на игре двух механизмов: нарушении структуры вопросно-ответного обмена и нарушении грамматической *когезии* (формальной связанности), потому что высказывание *Yes, I can* эллиптично и вследствие этого может быть интерпретировано только посредством предшествующего предложения, или же всего предшествующего контекста, но никак не последующего. По крайней мере, такое сочетание речевых актов маловероятно (хотя в принципе почти для любого высказывания и даже для многих *странных* обменов репликами можно найти контекст или ситуацию, в которой они имели бы смысл, т. е. контекстуальный эффект).

Продолжая традиционную аналогию языка с шахматной игрой, можно сказать, что правила шахматной игры сродни правилам формальной грамматики [Соссюр 1977; Harris 1988; 1993; Wittgenstein 1953 и др.]. Каждый игрок, оставаясь в рамках правил, ведет свою стратегическую игру: разыгрывает дебют, атакует или защищается. Аналогично в речи говорящие используют более или менее *грамматичные* или *правильные* фразы для достижения собственных стратегических целей: они тоже могут наступать и защищаться, открывать и закрывать фазы общения, развивать фигуры аргументации или «предложить ничью».

В шахматах количество вариантов велико, но теоретически исчислимо, что позволяет произвести подробную инвентаризацию стратегических структур, написать шахматные энциклопедии, справочники и компьютерные программы. В естественном общении вариантов намного больше, их конечная исчислимость представляется необъятной задачей, но и здесь возможно, с некоторой долей условности, выявление наиболее рекуррентных, стабильных, вызывающих устойчивые когнитивные реакции коммуникативных структур.

5.2.2 Многообразие и статус единиц дискурс-анализа

Большая трудность описания дискурса — сосуществование в нем единиц и структур самой разной природы, выполняющих различные функции. В потоке звучащей речи можно выделить иерархию единиц фонетико-просодического характера: звук (аллофон и фонему), слог, фонетическое слово, синтагму, фразу *(phoneme, syllable, foot, tone group, paratone).* В цепочке языковых выражений — ряд грамматических единиц: морфему,

179

слово, словосочетание, предикативную единицу, предложение, сверхфразовое единство или сложное синтаксическое целое, абзац *(morpheme, word, group, clause, sentence, paragraph).* В процессе общения — социально-интерактивные единицы: действие, ход, простые и сложные обмены, стратегию, трансакцию или фазу, эпизод, целое коммуникативное событие *(act, move, interaction, transaction, strategy, episode, event).* Данные ряды, происходя из разных концепций, не претендуют на общую логику и однозначность соответствий [ср.: Богушевич 1985: 58; Васильев 1990: 23; Блумфильд 1968; Ельмслев 1960; Кацнельсон 1962; Солнцев 1971; Вардуль 1977; Лэм 1977; Сусов 1984; Зернецкий 1987; Касевич 1988; Клюканов 1988; Мецлер 1990; Бойкова и др. 1988; Венцов, Касевич 1994; Halliday 1961; 1967; 1970; Cruttenden 1986; Fries

1952; Berry 1981; Coulthard 1977: 6; 1985; 1995; Brown, Yule 1983; Ventola 1987; Longacre 1983; Quirk e. a. 1985; Newmeyer 1988a; 1988b; Henne, Rehbock 1982; Tsui 1989]. Это перечисление служит прежде всего иллюстрацией наборов распространенных единиц, обычно выделяемых в дискурсе, и приблизительного, порой всего лишь иллюзорного изоморфизма фонетико-просодических и грамматических единиц и коммуникативных сегментов речевой интеракции.

Отнюдь не всегда критерии, по которым выделяются уровни и единицы, выдерживаются, сохраняют логику и стройность системных отношений. Заданное единообразие структурных принципов порой уступает место интуитивным, субъективным соображениям. Таксономический подход, присущий воззрениям на язык в рамках традиционной онтологии, предполагает, что при функционировании языка «все происходит так, как если бы единицы разных уровней просто выстраивались в линейный ряд, определяя сегментное построение речи» [Кацнельсон 1972: 100]. Анализ объекта в данном случае производится не по единицам, а *по элементам,* в итоге мы имеем продукты, «чужеродные по отношению к анализируемому целому, — элементы, которые не содержат в себе свойств, присущих целому как таковому» [Выготский 1982: 13; Клюканов 1988: 41]. Исследованию подобного толка противопоставляется анализ *по единицам,* где под единицей понимается «такой продукт анализа, который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому» [Выготский 1982: 15]. Целое в этом случае не состоит из простой суммы элементов, оно имеет динамическую структуру, объединяющую и организующую свои единицы. Это замечание помогает избежать отступления к идеям и механистическим представлениям языка и общения в старой онтологии. Этим подход данного исследования, продолжая восходящую к И. Канту *холистическую* традицию анализа, воплотившуюся в феноменологических интерпретативных методах, противостоит традиции анализа *по элементам,* идущей от английских сенсуалистов Д. Юма, Дж. Локка и др.

180

Коммуникативная лингвистика не избежала соблазна опереться на традиционную таксономию системно-структурного языкознания, что проявилось в попытке выделить легко угадывающиеся корреляты системных единиц языка на функциональном уровне, например:

предикативная единица => речевой акт;

предложение => высказывание;

сложное синтаксическое целое => диалогическое единство;

текст => дискурс и т. п.

Учет формального и функционального принципов делимитации единиц может стать теоретическим фундаментом дискурс-анализа — это совпадает с определением дискурса, принятым в данной работе.

Многообразие подходов, отдающих приоритет либо формальной структуре дискурса, либо функциональной стороне речевой коммуникации, приводит к выделению единиц общения с неравнозначным статусом, разной качественной спецификой. Сказывается еще и то обстоятельство, что выделение системно-структурных единиц имеет долгую академическую традицию, за время развития языкознания эти категории получили более устоявшееся значение, став своего рода социально-культурными представлениями. Коммуникативному языкознанию не хватило времени для построения своего логически выдержанного, универсального понятийного аппарата: содержание некоторых терминов варьируется в зависимости от научного направления (теория речевых актов, дискурс-анализ, лингвистика текста, когнитивная лингвистика и т. п.), каждое из которых привносит что-то свое в дело выделения единиц и уровней языкового общения. Результатом этого является далеко не совершенная, эклектичная, не систематизированная совокупность категорий, которые приходится конкретизировать в каждой теоретически принципиальной работе.

Необходимо отметить, что под коммуникативными единицами главным образом подразумеваются ***единицы анализа*** языкового общения, а не ***единицы системы*** языка (какими, например, признаются слова, словосочетания, предикативные единицы, предложения, сверхфразовые единства или сложные синтаксические целые и т. п.).

Ниже приводится таблица, где весьма условно сопоставлены некоторые системы единиц анализа речевой коммуникации (не надо думать о горизонтальных рядах как о «ярусах», «уровнях» и т. п.). Число единиц варьируется от двух *(act, communicative event)* в не вошедшей в таблицу этнографии речи Д. Хаймса [1975], трех (*act* — *sequence* — *macroact*) в прагматике дискурса Т. ван Дейка [van Dijk 1981] до дюжины и более [Henne, Rehbock 1982], часть

181

из которых по понятным соображениям тоже не вошла в таблицу, куда были отобраны, по возможности, наиболее рекуррентные и сопоставимые единицы [ср.: Coulthard 1985: 10; Sinclair, Coulthard 1975; 1992; Edmondson 1981; Stenström 1994; Sacks 1995]. Для сравнения дана система единиц невербальной коммуникации [Scheflen 1964].

Таблица 9. Единицы речевой коммуникации

Хенне, Ребок	Сакс и др.	Кулхард, Синклер	Эдмондсон	Стенстрем	Шефлен
Gespräch	conversation	interaction	encounter		presentation
Gesprächsphase	topic	transaction	phase	transaction	position
		sequence	exchange		
Gesprächsequenz	sequence	exchange		exchange	point
Gesprächsschritt	pair			turn	
Gesprächsakt	turn	move	move	move	
			act		sentence
Sprechakt Hörverstehensakt Rückmeldungsakt		act		act	

5.2.3 Речевой акт и коммуникативный ход

Уже ставшая традиционной категория *речевой акт* в коммуникативном дискурс-анализе неизбежно подвергается переосмыслению: большинство исследователей старается преодолеть недостатки теории речевых актов и определить единицу, органично вписывающуюся в процесс коммуникации и взаимодействия. Этим не в последнюю очередь обусловлен отказ многих авторов от самого термина *речевой акт,* имея в виду те недостатки теории речевых актов и характерного для нее определения «минимальной единицы общения», о которых писала Д. Франк [1986]. В поисках альтернативного варианта У. Эдмондсон выбрал *интеракционный акт (interactional act),* понимая под ним минимально различимую единицу коммуникативного поведения, речевого и неречевого, не (обязательно) продвигающую общение к достижению коммуникативных целей [Edmondson 1981: 6]. О необходимости включения в определение речевого акта по Сёрлю—Остину действия слушающего по распознаванию именно того намерения, кото-

182

рое вкладывал в него автор, писали многие [ср.: *uptake* — Austin 1962:117; Bach, Harnish 1979; Holdcroft 1992; Sbisa 1992; *Hörverstehensakt —* Henne, Rehbock 1982 и др.]. Этим же отличается подход к определению «коммуникативного акта» Т. ван Дейком, включившего речевой акт говорящего, аудитивный акт слушающего и коммуникативную ситуацию в единую структуру [van Dijk 1981].

Коммуникативные акты реализуются, хотя и не обязательно, посредством иллокутивных актов — таким образом в этой единице сочетаются функциональность элемента, «атома» взаимодействия и иллокутивность: очевидна попытка придать речевому акту интеракционное и даже интерсубъективное содержание. Но и в этой структуре акта не учитывается его функция в отношении дискурса.

Коммуникативный акт или последовательность актов, функционально объединенных иерархически доминантной целью в сложный макроакт с точки зрения динамического развития дискурса, включаясь в интеракцию, обменные отношения общения, конституирует **коммуникативный** или **интерактивный ход** *(communicative move; interactional move).* В отличие от коммуникативного акта коммуникативный (интерактивный) ход представляет собой вербальное или невербальное действие одного из участников, минимальный значимый элемент, *развивающий взаимодействие,* продвигающий общение к достижению общей коммуникативной цели [Coulthard 1977: 69; Edmondson 1981: 6; Owen 1983: 31; Stenström 1994: 36 и др.]. Коммуникативный ход может быть речевым или неречевым. Коммуникативный ход

— это ***функционально-структурная*** единица. **Коммуниктативный** ход, в свою очередь, далеко не всегда совпадает с речевым актом: иногда он реализуется с помощью последовательности речевых актов, *сложного макроакта* — идея иерархически организованного вокруг целевой доминанты комплекса действий разработана в трудах Ю. Хабермаса и Т. ван Дейка: [Habermas 1981; van Dijk 1977; 1981].

Аналогичным образом в ряде работ различаются *речевой акт* и ***дискурсивный акт*** [*Sprechakt; Gesprächsakt —* Henne, Rehbock 1982: 182]. Дискурсивный акт определяется как минимальная коммуникативная единица, речевая или жесто-мимическая по природе, которая в каждом конкретном случае употребления в разговоре имеет свою специфическую значимость с точки зрения развития речи как системы действий, коммуникативных планов и стратегий. Речевой акт может служить составной частью (вербальной, просодической) дискурсивного акта. В подобной интерпретации *дискурсивный акт* практически полностью совпадает с *коммуникативным ходом.*

Обобщая разные интерпретации категорий *акт* и *ход,* можно сказать, что главной отличительной чертой коммуникативного хода является его функция в отношении продолжения, развития дискурса в целом. В связи с этим

183

различаются инициирующие, продолжающие, поддерживающие, обрамляющие, закрывающие, ответные, фокусирующие, метакоммуникативные и другие ходы [ср.: Романов 1988: 100; Зернецкий 1987; Wunderlich 1980: 293—294; Sinclair, Coulthard 1975:28—34; Carlson 1983: 58; Owen 1983: 33; Coulthard 1985: 123ff; Stenström 1994: 36].

Коммуникативный акт сам по себе не выполняет дискурсивной функции. Иллокутивная функция не может отражать всего многообразия задач, которые решает говорящий посредством высказывания в конкретном эпизоде общения. Речевой акт остается виртуально коммуникативной единицей, потенциально предназначенной для достижения узкого набора типизированных коммуникативных целей. Полная актуализация речевого акта осуществляется в дискурсе в качестве коммуникативного хода: когда мы что-то утверждаем, просим, обещаем и т. п., мы тем самым развиваем в определенном направлении диалог — соглашаемся, противоречим, уклоняемся, наступаем, защищаемся, привлекаем и поддерживаем внимание и т. д.

5.2.4 Репликовый шаг

Реплика *(turn)* или **репликовый шаг** [нем. *Gesprächs-schritt —* Henne, Rehbock 1982] часто фигурирует в качестве ***формально-структурной*** единицы диалога, довольно просто определяемой как фрагмент дискурса одного говорящего, отграниченный речью других, т. е. реплика — это все, что сказано (и сделано) между менами коммуникативных ролей, другими словами, — между сменой говорящих [Goodwin 1981: 2; ср.: Carlson 1983: 9; Owen 1983; Stenström 1994: 34; Ninio, Snow 1996:23ff и др.].

Некоторыми авторами, к числу которых относится и Чарлз Гудвин, реплика признается главной коммуникативной единицей в силу своей потенциальной двусторонней направленности, в особенности с учетом разнообразных коммуникативных элементов «обратной связи», «маркеров присутствия», сигнализирующих об успешном восприятии реплики адресатом, а также отражающих его реакцию [*back-channel behavior*; *involvement markers* — Goodwin 1981: 13; ср.: *Rückmeldungsakt —* Henne, Rehbock 1982].

Почему же реплика вправе претендовать на роль основной единицы общения? На то, по мнению Ч. Гудвина, есть несколько причин [Goodwin 1981: 173]:

Во-первых, реплика — это средоточие языковой деятельности человека, ее *locus,* место рождения предложений, центральный источник происхождения языковых выражений в природе.

Во-вторых, для успешного завершения реплики необходимы совместные усилия обеих сторон — говорящего и слушающего, — в этом Ч. Гудвин видит

184

элементарное упорядоченное социальное отношение, элемент интерсубъективности, причем данный тип организации оказывается чрезвычайно распространенным: он встречается как в разных обществах и общностях людей, так и в многочисленных институтах внутри общества — от детских игр до деловых переговоров, от официальных диалогов глав государств до интимных бесед влюбленных. Реплика сама по себе является уникальным институтом, изуче-

ние которого поможет в создании общей теории генезиса социальных отношений.

В-третьих, в рамках реплики участники общения решают социально-культурную задачу передачи друг другу, раскрытия значения, смысла и значимости своих высказываний и действий.

Все это так, но уравнять интерактивность *реплики* и *обмена,* так же как и функциональный статус самостоятельной *реплики* и сигналов *обратной связи* (пусть незаслуженно игнорируемых некоторыми исследователями) по меньшей мере некорректно.

Репликовый шаг по своей структуре может быть простым и сложным (включающим один коммуникативный ход или более); а по направленности — прогрессивным, инициирующим или же регрессивным, реагирующим, реактивным и т. п. [Романов 1988: 27]. Однако здесь надо бы уточнить: направленность репликового шага не является его внутренним качеством. Реплика — это лишь формальная единица. Инициативными и реактивными не могут быть ни реплики, ни речевые акты [ср.: Wunderlich 1976]. Это качество принадлежит только коммуникативному ходу и обусловлено его функциональной направленностью [Roulet 1992: 92].

В ряде работ ощущается нечеткость разграничения коммуникативного хода и репликового шага, чему способствует близость понятий *ход* и *шаг* в русском языке [ср.: Романов 1988; Зернецкий 1988 и др.]. Здесь следует еще раз отметить разные принципы выделения этих единиц *(функционально-структурный* для хода и *формально-структурный* для реплики). Репликовый шаг и коммуникативный ход — единицы разной природы, поэтому они не вступают в системные или иерархические отношения.

Реплика по своему объему не всегда совпадает с актом и ходом [Edmondson 1981: 7], репликовый шаг может содержать несколько коммуникативных ходов [ср.: Coulthard 1977: 69; Owen 1983: 32], один или даже менее одного коммуникативного хода. Критерием для выделения репликового шага служит на первый взгляд простой признак: мена коммуникативных ролей, или, проще говоря, тот самый момент, когда один участник общения прекращает говорить, а другой начинает. Почему этот признак выглядит простым лишь на первый взгляд, мы постараемся разобраться в следующем параграфе. Пока
185
лишь отметим, что при анализе речевого материала встречается немало случаев, когда провести границу между репликами не так уж и просто (одновременная речь, варианты с перебиванием и т. п.).

В дополнение к этому отметим также, что репликовый шаг вследствие формальности критерия, на основании которого он выделяется, не так тесно связан с динамикой развития дискурса, как коммуникативный ход. Но с другой стороны, критерий, на основании которого выделяется коммуникативный ход, не столь легко формализовать и унифицировать вследствие некоторой его субъективности: каждый интерпретатор может по-своему оценить функцию минимального фрагмента речи относительно развития дискурса.

Идея коммуникативного хода, явно восходящая к теоретико-игровым концепциям, привлекает своей динамикой и большим объяснительным потенциалом в анализе стратегической природы дискурса, в то время как репликовый шаг выгодно отличается возможностью объективного, даже «осязаемого» членения речи в лучших традициях дескриптивизма.

5.2.5 Интеракционные единицы дискурс-анализа

Минимальной единицей коммуникативного взаимодействия следует считать двустороннюю единицу: *обмен, интерактивный блок, простая ин-*
теракция, элементарный цикл [Сусов 1984: 7; Зернецкий 1987: 92; Кучинский 1985; Клюканов 1988; *exchange, elementary interaction —* Sinclair, Coulthard 1975; Coulthard 1977; 1985; Stubbs 1983; Stenström 1994: 30; Ninio, Snow 1996: 23ff] и др.]. В конверсационном анализе и некоторых, преимущественно этнометодологических работах по прагматике дискурса, особенно при описании мены коммуникативных ролей, часто фигурирует термин *смежная пара* [*adjacency pair* — Schegloff, Sacks 1973: 295; Sacks 1995; ср.: Brown, Yule 1983: 230; Levinson 1983: 303], фактически соответствующий широко употребляемой категории *диалогическое единство.* Все они обозначают явление, состоящее из стереотипного обмена репликами, точнее, — ходами. Поэтому здесь и далее предпочтение отдано термину обмен *(exchange).*

Структурно *обмены* подразделяются на *элементарные* или *простые* (двухкомпонентные,

двухшаговые обмены типа *вопрос — ответ, просьба — обещание, приветствие — приветствие* и т. п.) и *сложные* или *комплексные* (типовые структуры, объединяющие три, четыре и, реже, больше реплик, например, *вопрос — ответ — подтверждение* или *вопрос — переспрос — уточняющий вопрос — ответ*). Во многих работах для обозначения таких сложных структур пользуются тем же термином *обмен* [*exchange* — Sinclair, Coulthard 1975; Coulthard 1977; 1985], в других для единиц, связывающих три-четыре репликовых шага, вводится термин, который не так просто перевести на русский

186

язык, — interchange [ср.: Stubbs 1983: 131—132; Owen 1983: 35; Goffman 1981 и др.]. Принципиального терминологического значения число шагов в подобного рода моделях обмена не имеет, поэтому мы с полным основанием можем применять ко всем ее разновидностям (двух-, трех- и четырехместным) единый термин *обмен,* уточняя его объем прилагательными *простой* (для двух-шаговых структур) и *сложный* (для трех- и четырехместных структур).

Именно простой обмен репликами признается большинством исследователей основной структурной единицей языкового общения [Сусов 1984; Кучинский 1985; Макаров 1990а; Sinclair, Coulthard 1975; Coulthard 1977; 1985; Edmondson 1981; Brown, Yule 1983; Stubbs 1983; Francis, Hunston 1992; Sinclair 1992].

Более проблематичным выглядит выделение единиц дискурс-анализа, превышающих по объему сложные обмены. Некоторые авторы считают, что обмен — это уже высшая единица языкового общения, потому что к собственно дискурсивному уровню они относят только *акт, ход* и *обмен* [Sinclair, Coulthard 1975; Coulthard 1977]. Ранее включавшаяся в этот ряд *реплика* была изъята из схемы

акт => *ход* => *(реплика)* => *обмен,*

потому что репликовый шаг выделяется на другом основании [Coulthard 1977: 100].

Тем не менее, оговаривая особый характер более крупного сегмента общения, многие исследователи ощущают необходимость выделения такой единицы. Одни авторы называют ее «трансакцией» [ср.: Зернецкий 1987: 92; *transaction* — Sinclair, Coulthard 1975; Coulthard 1977; 1985; Stenström 1994: 30ff], другие — «фазой» [*phase* — Edmondson 1981 ; *Gesprächsphasen* — Henne, Rehbock 1982; *section* или *phase of conversation* — Owen 1983]. Пожалуй, этому же уровню соответствуют термины, принятые в синтаксисе дискурса для обозначения *абзаца,* как в письменном тексте, так и в устной речи [*paragraph* — Longacre 1979; 1983; Hinds 1979; *paragraph* для письменного текста, *paratone* для устной речи — Brown, Yule 1983]. Нами в качестве рабочего выбран термин трансакция.

Самым масштабным и во многих случаях довольно легко идентифицируемым структурным сегментом языкового общения, единицей макроуровня дискурса [см.: Henne, Rehbock 1982] является то, что в этнографически ориентированной лингвистике трактуется как «речевое событие» [*speech event* — Хаймс 1975; Gumperz, Hymes 1972; *encounter* — Edmondson 1981: 80], в лингвистической прагматике — «макродиалог» или «макротекст» [Сусов 1984: 9; van Dijk 1981 и др.], в конверсационном анализе — «разговор»

187

[*conversation* — Goodwin 1981; Tannen 1984b; *Gespräch* — Henne, Rehbock 1982], а порой — просто «интеракция» [Coulthard 1977]. Примерами такой единицы могут быть урок в школе, заседание суда, деловое совещание, беседа и т. п, **Речевое событие** оказывается наиболее удачным из названных терминов. Таким образом, традиционно выделяемые единицы дискурс-анализа можно представить в виде следующей схемы:

акт => *ход* => *обмен => трансакция => речевое событие* С одной стороны, эта цепочка-схема отображает иерархические отношения, существующие в дискурсе [ср.: Дридзе 1984]. С другой стороны, следует помнить, что эти стрелки не означают простого механического включения единицы, расположенной слева, в ту, что следует справа. Это включение, пожалуй, лучше всего описать в терминах функциональной актуализации. Да и сама стрелка имеет неодинаковую значимость в данном условном построении: отношение акта к ходу отличается от отношения трансакции к событию. Абсолютизировать не стоит ни одну из теоретических моделей, но построенная выше схема даже не претендует на статус теоретической модели, это лишь удобная иллюстрация, не более.

Основания и критерии выделения перечисленных единиц не были достаточно эксплицированы писавшими о них, а сами по себе определения звучат довольно интуитивно и

аксиоматично. Не всегда можно уверенно провести границы между обменами и трансакциями, определить — продвигает данный акт общение или нет. Между ними нет абсолютного структурного или функционального изоморфизма части и целого, как того ни хотелось бы некоторым последователям М. Хэллидея. Обмен — это не просто сумма ходов, это структура, динамически организующая их функциональное единство, и т. д. Роль интроспекции в определении структурных фаз диалога велика. Но интуитивным представлениям о структуре дискурса соответствуют когнитивные реалии и критерии, основанные на дискурсивном конструировании, представлении и «наложении» образов предметной ситуации и ситуации взаимодействия.

Единицу макроуровня следует определять в соответствии с общими культурно-этнографическими представлениями. Иначе просто не совместить технически делимитированное речевое событие с его символической значимостью, местом в координатах культуры, институтов, норм общения и деятельности, ценностей, ритуалов, конвенций и т. п. Эти факторы более чем релевантны для анализа речи.

Границы трансакции определяются либо по границам семантической репрезентации предметно-референтной ситуации (глобальной темы, ср.: *topic*

188

у Сакса); либо по границам типа деятельности в процедуре сценария, например, в *школьном уроке* в рамках одной темы *объяснение материала* и *опрос ученика* составят разные трансакции.

Границы обмена помогает установить когнитивная интерпретация коммуникативного фокуса, реализующегося во взаимодействии процессов активации и внимания [4.2.2; ср.: Жалагина 1988]. В дискурсе этому обычно соответствует ввод локальной темы и ее разрешение с определенным контекстуальным эффектом [4.1.6]. На акциональном уровне — это схема обмена ходами, регуляция *переговорами* [*exchange as negotiation* — Roulet 1992].

Одним из важнейших аргументов в пользу когнитивной обоснованности единиц дискурса являются данные исследований памяти. Оперативный центр рабочей памяти — наше ***внимание*** не справляется с объемом информации, превышающим семь плюс-минус две единицы одного из уровней когнитивной архитектуры, как это показал Джордж Миллер [Miller 1956; van Dijk 1995: 393]. Каждая такая единица в свою очередь может быть «порцией», *кусочком* структурно организованной информации *(chunk).* В 1974 г. Герберт Саймон, вслед за Дж. Миллером подтвердил, что потенциальный объем рабочей памяти лучше измерять блоками: человек хорошо запоминает семь изолированных слов, но если ему приходится запоминать фразы по восемь слов каждая, то объем краткосрочной памяти возрастает до 22 слов [Simon 1974]. По уточненным оценкам контролируемые когнитивные процессы справляются с тремя-четырьмя блоками одновременно, каждый из которых сам может быть хорошо интегрированной структурой, например, сценарием [Broadbent 1975; Stillings e. a. 1987: 51—52]. Следовательно, рабочая память способна удерживать смысл и элементы формы, соответствующие трем-четырем средней длины репликам, т. е. приблизительно одному простому или сложному обмену.

Однако необходимо различать то, что *действительно,* и то, что *потенциально* входит в оперативную рабочую память [*what is effectively* vs. *what is potentially part of the working memory* — Stillings e. a. 1987: 51]. Параллельно протекающие когнитивные процессы, например, одновременное возбуждение многих органов чувств, активируют различные участки и элементы разных форм знаний, в частности, хранящихся в долговременной декларативной памяти, поэтому в каждый момент времени довольно большой объем информации оказывается активированным. Но активация так же быстро гаснет, а ее объект меняется, если только данная информация не *подхватывается* контролируемым оперативным центром (иначе говоря, вниманием) процессом. Потенциальная часть рабочей памяти реконструирует и когнитивно «подогревает» 2—3 декларативные модели предметно-референтных ситуаций, плюс к этому поддерживает в активном состоянии процедуральную модель сцена-

189

рия взаимодействия, параллельно обрабатывает их (или их релевантные части) на разных уровнях как готовые «блоки» [Blakemore 1992:17; Sperber, Wilson 1995: 138—139]. Что активируется чаще (пропозиции, узлы, отношения, блоки) и дольше поддерживается в «горячем» состоянии определяет рамки трансакции: декларативное элементы — по предмету и теме, процедуральные элементы — по формам и типам деятельности.

Предстоящий анализ языкового материала и, возможно, определенные экспериментальные

когнитивно-психологические исследования должны будут подтвердить или же опровергнуть все эти предположения, но на данном этапе, пожалуй, лучше ограничиться изложенной гипотезой о наличии когнитивных коррелятов у традиционно выделяемых структурных единиц дискурса.

5.3. КАТЕГОРИИ ДИСКУРС-АНАЛИЗА

Я как бедный ребенок,
которого за руку водят
по ярмарке мира.
Глаза разбежались
и столько мне, грустные, дарят...
X. Р. ХИМЕНЕС

5.3.1 Мена коммуникативных ролей

Мена коммуникативных ролей или ***взятие репликового шага*** [калька с англоязычного термина *turn-taking*; ср.: *Sprecher-Wechsel* — Henne, Rehbock
1982], хотя и представляется на самый первый взгляд явлением хаотичным, все же подчиняется своим правилам (хотя слово *правило* здесь следует понимать совсем не так, как, скажем, в теории речевых актов), описанным в работах Сакса, Щеглова и Джефферсон [Sacks, Schegloff,
Jefferson 1974].

Необходимо различать случаи мены коммуникативных ролей по инициативе говорящего и те случаи, когда желание получить слово внезапно просыпается в одном из слушающих. В первом случае существует три уровня контроля, три способа регуляции авторства последующей реплики при смене говорящих:

1) следующий участник общения, которому дается слово, *назначается* посредством прямой номинации, обращения или же косвенного описания, при этом обычно от нового говорящего ожидается вполне определенный ход;

190

2) посредством произнесения первой, инициативной части диалогического единства типа *вопрос* — *ответ* определяется следующий ход, но говорящий не назначается, хотя часто он(а) подразумевается;

3) нередко встречается так называемая «нулевая» регуляция, когда сами участники общения должны решить, *кто* из них продолжит разговор и *каким образом;* при этом, если из присутствующих никто не захотел взять слово, то говорящий может продолжить речь до следующей «точки перехода» [ср.: *transition-relevance place* — Schegloff, Sacks 1973; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; Sacks 1995; Schegloff 1992].

Этнометодологические правила «взятия шага» отличаются от конститутивных правил в теории речевых актов [ср.: Searle 1992: 15ff; Schegloff 1992]. Пытаясь доказать, что это правилом это и назвать нельзя (так как правило — это нечто, чему нельзя не следовать), Сёрль пародирует теорию конверсационного анализа: «In a conversation a speaker can select who is going to be the next speaker, for example by asking him a question. Or he can just shut up and let somebody else talk. Or he can keep on talking. Furthermore, if he decides to keep on talking, then next time there is a break in the conversation, the same three options apply. And that makes the rule recursive» [Searle 1992: 16]. К обвинению в рекурсивности правил взятия шага Сёрль добавляет обличение в отсутствии у правил Сакса, Щеглова и Джефферсон «каузативной эксппланаторности».

Дж. Сёрль тем самым расписывается в логическом позитивизме (о чем сказано в первой главе), приверженности к «старой» онтологии. Э. Щеглов справедливо отметил некорректность выпадов своего оппонента и, анализируя категорию «правило» *(rule),* говорит о другой, отличной от Сёрля трактовке термина, возможной подмене его понятиями «практика» *(practice)* или «употребление» *(usage),* а также о своем принципиальном нежелании объяснять все явления речевой коммуникации с позитивистских позиций «каузативной эксппланаторности» [Schegloff 1992].

По признаку соотнесенности соседних репликовых шагов в масштабе реального времени различаются данные типы взятия шага [Henne, Rehbock 1982: 190]:

а) мена коммуникативных ролей с *перебиванием;*

б) *«гладкая»* мена коммуникативных ролей *(latching);*

в) мена коммуникативных ролей *после паузы.*

К числу *сигналов мены коммуникативных ролей* [*turn-signal* — Coulthard 1977: 61] относятся интонация высказывания и многие другие компоненты фонации; далее — паралингвистические средства, в частности, различные аспекты кинесики и проксемики; грамматические показатели, особенно синтаксические; социально ориентированные коммуникативные ходы наподобие

191

You know...; Знаете (ли)... или настойчивые запросы подтверждения с помощью заключительных фраз наподобие *Так ведь? Правда?, tag-questions* в английском и формул *...oder? ...nicht wahr? ...ja?* в немецком — как элемент «речевой организации» [Wunderlich 1976: 331].

Строя фреймовую модель мены коммуникативных ролей как одного из аспектов внутренней организации дискурса, Т. Балмер и В. Бренненштуль [Ballmer, Brennenstuhl 1981: 36] выделяют такие фазы или концепты: *намерение заговорить; разрешение заговорить; начало реплики; затягивание/сокращение реплики; прерывание реплики; продолжение/возобновление реплики* и *завершение реплики.* Каждая из фаз может быть отмечена (пара)лингвистически.

Наибольшей экспликации подобные концепты подвергаются в институциональном или организованном общении, например, в метакоммуникативных ходах председательствующего и других участников какого-нибудь официального совещания в условиях жесткого регламента [см.: Макаров 1987].

Способ осуществления мены коммуникативных ролей, как основополагающий фактор динамической организации дискурса в целом, оказывается одним из наиболее важных, центральных критериев для построения типологии дискурса. Именно меной коммуникативных ролей обыкновенная непринужденная беседа отличается от других форм речи, скажем, допроса в структуре судебного разбирательства или школьного урока [Goodwin 1981: 23].

В регуляции мены коммуникативных ролей огромную роль играют факторы психологической и социально-психологической природы. Естественной считается мена коммуникативных ролей после длительного шага, ибо аномально общение, в котором один участник все время говорит, а другие молчат; это возможно либо в формальных группах, где такое поведение регламентировано социальным институтом, либо в неформальных группах, даже диадах с абсолютной асимметрией в отношениях.

Мена коммуникативных ролей — это самый естественный и необходимый атрибут языкового общения в любой группе. Чтобы в этом убедиться, попробуйте в разговоре с друзьями не дать им *вставить слова* или, наоборот, не откликнуться на их сигналы о мене коммуникативных ролей. Как и любая опривыченная операция, «взятие шага» часто осуществляется подсознательно, *автоматически,* не привлекая нашего внимания: в нормально протекающем общении мы не замечаем, *как* происходит мена коммуникативных ролей, и только лишь отклонения от нормы и нарушения правил взятия шага фиксируются более или менее успешно — как участниками общения (чья реакция может включать определенные санкции по отношению к нарушителю), так и исследователем.

192

5.3.2 Коммуникативная стратегия

Еще одно часто встречающееся понятие требует краткого комментария — коммуникативная стратегия. Этот популярный термин можно найти практически в каждой более или менее серьезной работе по коммуникативной лингвистике.

Стратегия — центральное теоретическое понятие в любой модели прагматики: прагматическая «глубинная грамматика» не поддается традиционному языковедению, так как в прагматике действуют *стратегии,* в формальной лингвистике — *правила,* в то время как теория речевых актов методологически построена вокруг категории *конвенция* [*strategies* vs. *rules, conventions —* Carlson 1983: 55; Parret 1983: 99; Edmondson 1981: 81; Zeckhauser 1991].

Иногда под *стратегией* понимается цепь решений говорящего, коммуникативных выборов тех или иных речевых действий и языковых средств. Другая точка зрения связывает стратегию с реализацией набора целей в структуре общения. Эти два подхода не противоречат друг другу, наоборот, дополняя друг друга, они в совокупности намного полнее раскрывают многоуровневую и полифункциональную природу естественного языкового общения и его строение. Такое понимание стратегии восходит к описанному выше определению с позиций

конструктивизма через осмысление ситуаций с помощью интерпретативных схем, способствующих выработке альтернативных вариантов осуществления действий и выполнения целей.

Каждое высказывание, как и их последовательность, выполняет множество функций и преследует множество целей, в связи с чем говорящим выбираются языковые средства, которые оптимально соответствуют имеющимся целям. Это положение близко принципу оптимальной релевантности Д. Шпербера и Д. Уилсон [1988]. Стратегия предстает как когнитивный процесс, в котором говорящий соотносит свою коммуникативную цель с конкретным языковым выражением [Levy 1979: 197].

Цели тоже могут быть организованы иерархически. Могут быть выделены *стратегические* или *глобальные,* образующие вершину эпизода цели и подчиненные им *тактические* или *локальные* цели, соответствующие отдельным этапам, частным фазам целого коммуникативного события [Parisi, Castelfranchi 1981]. Упорядоченность множества локальных целей обусловлена иерархической структурой когнитивной модели и относительно фиксированным характером ее отдельных частей, что позволяет участникам диалога на основании инференций *программировать* или *планировать* свои действия по реализации главной цели. Кое-кто из авторов предпочитает говорить в данном случае о *тактике* [*tactics* — Coulthard 1977: 111], другие оставляют для *стратегии* глобальный уровень осознания ситуации общения в целом, называя
193
тактиками локальные риторические приемы и линии речевого поведения [Гойхман, Надеина 1997: 208]. Последняя точка зрения выглядит предпочтительнее.

Таким образом, в широком смысле коммуникативная стратегия может определяться как ***тип поведения*** одного из партнеров в ситуации диалогического общения, который обусловлен и соотносится с ***планом*** достижения глобальной и локальных коммуникативных целей в рамках типового сценария функционально-семантической репрезентации интерактивного типа [Романов 1988: 103].

Реализация стратегии предполагает систематическую сверку соответствия между прагматической «глубинной структурой» взаимодействия — иерархической структурой сценарной модели и развертывающейся в масштабе реального времени «цепочкой», последовательностью коммуникативных ходов в наблюдаемом речевом событии [Edmondson 1981: 81].

Стратегии, как совокупности целенаправленных действий в модели порождения и понимания дискурса, могут быть разными по своей природе: Т. А. ван Дейк и В. Кинч [1988] выделяют пропозициональные стратегии, стратегии локальной когеренции (связности), продукционные стратегии, макростратегии, а также схематические, сценарные стратегии, стилистические [Tannen 1984b; 1989; Gumperz 1982a; 1982b] и разговорные стратегии. Разные стратегии «живут» и в монологах: эмотивные в поэтическом или аргументирующие в научном и публицистическом дискурсе.

Коммуникативная стратегия всегда отличается гибкостью и динамикой, ведь в ходе общения она подвергается постоянной корректировке, непосредственно зависит от речевых действий оппонента и от постоянно пополняющегося и изменяющегося контекста дискурса. Динамика соотношения осуществляемого в данный момент хода с предшествующими, а также их влияние на последующие — один из главных признаков стратегии.

Стратегии, будучи обусловленными соотношением цели и последовательности действий в конкретной ситуации общения, нередко подвергаются *ритуализации* [Coulmas 1981: 3]. Тогда определенные стратегии и соответствующие им цели и условия деятельности закрепляются за теми или иными социальными институтами и ролями [Fritz 1982: 59], что важно для анализа языкового общения.

5.3.3 Когезия и когеренция дискурса

Несколько слов о терминах *когезия* и *когеренция.* Оба они происходят от основы глагола *cohaereo (cum + haereo)* (лат. *быть связанным, соединенным, сросшимся, держаться* или *висеть вместе, примыкать).* Тер-
194
мин *когезия* обязан своим рождением основе супина *cohaesum.* Есть в словаре и производное от этого же глагола существительное *cohaerentia* «сцепление, внутренняя связь», восходящее к

форме причастия настоящего времени. Во многих отечественных работах, особенно в русле лингвистики текста, закрепился термин *когерентность* [см.: НЗЛ: Вып. 8, 1978: 469], что представляется неточным употреблением, так как в русской терминологической традиции для латинской основы этого типа нормативным будет слово, оканчивающееся на *-енция,* по аналогии с *конференция, аудиенция...* Это подтверждается и параллелями из новых европейских языков (ср.: англ. *coherence, conference, audience,* нем. *Kohärenz, Konferenz, Audienz* и др.).

В современном употреблении *когезия* и *когеренция* получили собственные «сферы влияния», хотя не обошлось без некоторой терминологической путаницы, объяснимой кровным родством двух слов [ср.: Halliday, Hasan 1976; Hobbs 1982; Craig, Tracy 1983; Werth 1984; Gernsbacher 1995; Heydrich 1989; Norgard-Sörensen 1992; Rickheit, Habel 1995; Tannen 1984a и др.].

Когезия, или формально-грамматическая *связанность* дискурса

Когезия, или формально-грамматическая *связанность* дискурса определяется различными типами языковых отношений между предложениями, составляющими текст или высказываниями в дискурсе. В своей ставшей уже классической работе по когезии текста М. А. К. Хэллидей и Р. Гасан [Halliday, Hasan 1976] предлагают рассматривать пять аспектов таких отношений: указательную, личную и сравнительную *референцию; субституцию* имени, глагола и предикативной группы; *эллипсис* имени, глагола и предикативной группы; союзные слова и другие *коннекторы,* выражающие одно из ограниченного набора отношений, причем весьма общих, связывающих разные части текста; а также *лексическую* когезию, часто достигаемую повтором лексических единиц в смежных предложениях: посредством повтора одного и того же слова или лексического эквивалента исходного слова, повтора родового понятия, коллокации и т. д. К явлениям этого уровня относятся механизмы ко- и кросс-референции, анафоры и прономинализации, широко изучающиеся в лингвистике текста.

Когеренция шире когезии, она охватывает не только формально-грамматические аспекты связи высказываний,

Когеренция шире когезии, она охватывает не только формально-грамматические аспекты связи высказываний, но и семантико-прагматические (тематические и функциональные в том числе) аспекты смысловой и деятельностной (интерактивной) связности дискурса, как *локальной,* так и *глобальной* [van Dijk 1977: 10; 1981: 124; Lanigan 1977: 24; Levy 1979:207—208; Edmondson 1981: 18; Lux 1981: 19—22; Fritz 1982; Hobbs 1982; Carlson 1983: 146—149; Brown, Yule 1983: 223; Tannen 1984b: 151—154; Werth 1984: 93].

Возвращаясь к игровой аналогии, определим, что дискурс, формально не нарушающий правил игры *(«грамматичный»),* обладает *когезией; когеренция*

195

проявляется во взаимодействии *стратегий в* «удачно разыгранном» диалоге, в котором все ходы участников соответствуют их общим, глобальным целям [Carlson 1983: 149]. Это сравнение образно раскрывает идею ***глобальной когеренции,*** как отношения каждого конкретного высказывания к общему плану коммуникации: обмен высказываниями в речи обусловлен стратегиями, планами, сценариями, когнитивными схемами, находящимися в сознании интерактантов, причем каждый новый ход заставляет их корректировать свои планы и стратегии [Hobbs 1982: 226—227]. О глобальной когеренции как соответствии каждого коммуникативного действия своему месту в общей макроструктуре взаимодействия, соответствии каждой реплики своей роли в целом коммуникативном событии пишут многие исследователи [ср.: *global coherence* — van Dijk 1977: 246; *makrostrukturelle Kohärenz* — Lux 1981: 22; *discourse, interactive coherence* — Edmondson 1981: 19 и др.].

Среди целей, которые преследуют коммуниканты, особо выделяются так называемые собственно *текстовые* цели (цели, сосредоточенные непосредственно на порождении и структуре дискурса: дать необходимую фоновую информацию, привести пример, предложить аргумент). Как правило, в развернутых суждениях, монологах, предварительно подготовленном общении и письменных текстах по мере продвижения говорящего или пишущего к уровню конкретизации идеи, ее детализации, такие текстовые цели становятся доминирующими. Именно в этом аспекте предлагается говорить о ***локальной когеренции*** [Hobbs 1982: 227]. Некоторые авторы относят к этой группе явлений тема-рематическую связанность дискурса, сосредоточиваясь на различных типах прогрессий (переходах рем предшествующих высказываний в темы последующих). Это, безусловно, важный механизм, но он не является ни достаточным, ни необходимым для определения локальной когеренции, которая включает все аспекты сочлененности *(connectivity)* дискурса: грамматическую, лексическую (например,

коллокацию), логическую (коннекторы, риторические фигуры) и смысловую, семантико-прагматическую (экспликатуры и импликатуры, инференции, пресуппозиции).

Нельзя обойти вниманием такую важную категорию, как ***тематическая когеренция*** [ср.: *thematic, topical coherence* — Coulthard 1977: 80; Edmondson 1981: 18; Hobbs 1982: 228]. Этот тип когеренции формируется вокруг *глобальной темы дискурса* или *темы говорящего.* Особенно наглядно это качество дискурса проявляется не в коротких фрагментах, а в более или менее значительных по объему текстах. Оно выражается в повторении определенных *«мотивов»* и *«тем»:* ключевых объектов, фактов, верований, когнитивных структур, социальных представлений, эксплицитно или имплицитно выраженных в дискурсе. Все они входят в семантическую макроструктуру глобальной

196

темы дискурса, когнитивно опирающейся на макропропозицию или вершину модели референтной ситуации.

Итак, когеренция, с одной стороны, это не просто понятность текста и его смысловая цельность; с другой стороны, это нечто большее, чем использование соответствующих грамматических форм и эксплицитных коннекторов, которые, как ни странно, больше всего нужны там, где когеренция представлена меньше.

Когеренция зависит от многих факторов, не в последнюю очередь — от типа социума как совокупного субъекта языкового общения (его однородности, статусно-ролевой структуры, типа деятельности и социального института, степени формальности, фиксированности темы и предварительной подготовленности, способа мены коммуникативных ролей и многого другого). Социально-психологические факторы, определяющие специфику общения и какого-либо коммуникативного события, оказываются важными регулятивами обменных отношений речевого взаимодействия: на более глубоком социо-психическом уровне коммуникативным ходам в структуре обменов соответствуют такие действия, как *вызов, защита, отступление* [*challenges, defences, retreats* — Labov, Fanshell 1977: 60]. Их правильное сочетание способствует обеспечению смысловой связности дискурса, воплощающейся в реализации соответствующих стратегий. Взаимообусловленность *когеренции* дискурса и его *стратегической* организации нам представляется весьма важным теоретическим моментом.

5.3.4 Метакоммуникация и дейксис дискурса

Метакоммуникация в самых общих чертах составляет ту часть общения, которая направлена на самое себя, на общение в целом и его различные аспекты: языковую ткань дискурса, его стратегическую динамику,

структуру обменов и трансакций — фаз интеракции, мену коммуникативных ролей, представление тем, взаимодействие с контекстом, регуляцию межличностных и социальных аспектов взаимодействия, нормы общения, процессы обмена информацией и ее интерпретации, эффективность канала коммуникации [Lanigan 1977: 79—82; Leech 1980: 33; Stubbs 1983: 48—66; Brown, Yule 1983: 132—133 и др.].

Метакоммуникативные функции выполняют разнообразные элементы дискурса, от звука и интонации, частицы, междометия или слова до самостоятельных ходов и обменов.

Особый интерес исследователей дискурса привлекли знаки, сообщающие координаты данного высказывания в потоке речи относительно предыдущих и последующих коммуникативных действий (аналогично тому, как тради-

197

ционный дейксис лица, места, времени ориентирует высказывание в физическом пространстве). В связи с этим языковые средства — индексы по своей природе, обслуживающие метакоммуникативную функцию в отношении звучащего или письменного текста, зачисляются в разряд единиц *дейксиса дискурса* или *дейксиса текста* [*discourse deixis* — Fillmore 1975: 70; Levinson 1983: 85; *Textdeixis* — Rauch 1983: 48 и др.]. Хотя в отличие от традиционных дейктических категорий лица, числа и времени, дейксис дискурса не обладает собственным набором языковых единиц, он часто использует для обозначения *точки отсчета* в системе координат какого-либо текста или дискурсивного процесса индексы места и времени *(As I said before... I've already told you earlier. Later I'll explain this rule... abovementioned, hereinafter represented by*...).

Дейксис дискурса — это лишь одно из многих проявлений метакоммуникации в естественном общении. Принадлежащие к универсальному свойству самоорганизации дискурса

явления Д. Вундерлих, например, описывает под именем ***речеорганизующие речевые акты*** [*Redeorganisierende Sprechakte* — Wunderlich 1976: 330—334], выделяя четыре основные группы:

а) вербальные сигналы мены коммуникативных ролей;

б) структурные, *«рамочные»* элементы, дейксис дискурса, определители темы, указания на значимость своего сообщения;

в) заполнители пауз, соответствующие явлениям *хезитации,* во время которых говорящий когнитивно готовит высказывание или «подыскивает слово», а также акты коррекции, уточнения, *редактирования* уже сказанного;

г) процедуры, направленные на обеспечение понимание, как, например, взаимные подтверждения об успешном вводе/выводе информации.

Не все из перечисленного выше может по праву называться метакоммуникацией, например, не все вербальные сигналы мены коммуникативных ролей могут быть квалифицированы как акты *по поводу* общения: инициативный, предписывающий речевой ход предполагает смену говорящего, но сам по себе не сообщает ничего о ходе коммуникации (в этом случае можно сказать, что этот ход выполняет метакоммуникативную функцию, не будучи собственно метакоммуникативным ходом); в то же время акт предоставления слова в регламентированном общении (например, в зале суда) признается метакоммуникативным, так как этот компонент ситуации общения является темой хода и объектом регулятивного воздействия данного высказывания. Иначе говоря, метакоммуникативный элемент должен отсылать к общению.

М. Стабз, говоря о метакоммуникации, имеет в виду прежде всего рефлексию, отображение компонентов речевой ситуации в дискурсе [*monitoring of the speech situation* — Stubbs, 1983: 48]. Слово *мониторинг* в этой формулировке

198

дает наглядный образ метакоммуникации — адаптивного функционального самоконтроля дискурса.

Анализируя транскрипты обычных школьных уроков, М. Стабз выделяет восемь различных типов метакоммуникативных речевых актов, отчасти совпадающих с теми, о которых пишет Д. Вундерлих [Stubbs 1983: 50—53]: привлечение или поддержание внимания, его демонстрация; контроль «количества сказанного»; проверка или подтверждение понимания; подведение итогов или обобщение; определение или перефразирование; редактирование; коррекция; уточнение темы.

Если кратко представить типы метакоммуникативных ходов по функциональной нацеленности на мониторинг того или иного аспекта ситуации общения, то одними из наиболее значимых категорий безо всякого сомнения будут *контакт* и *канал.* Сюда относится спектр явлений, которые некоторые исследователи именуют *фатической* метакоммуникацией [Почепцов 1981; Чхетиани 1987]. Должна учитываться также характеристика носителей знака: звук или письмо, их физические особенности, например, артикуляция или почерк; а также технические средства коммуникации, такие как телефон, факс, электронная почта. К этому разряду надо отнести элементы и ходы, обеспечивающие **привлечение и поддержание внимания** (например, широко распространенные «вводные» слова *well, look, you know, listen,* а также целый арсенал обращений по имени, титулу, прозвищу *Mr. Speaker, Mickie, Madam, Sir, Doc, Officer; Hey, mister* и т. п.). Довольно близки им обеспечивающие мониторинг **восприятия и понимания** подтверждающие сигналы *(yes, yeah, ok, I see, all/right, I am listening, I hear you perfectly, I understand),* контролирующие запросы со стороны говорящего *(Do you follow me? Repeat what I've said. Is it clear? Are you with me? Are you listening?),* переспросы-«петли» со стороны адресата *(what? pardon? I don't get it. Sorry, could you say this again?),* а также исходящее от любой стороны информирование о неудаче общения в целом (/ *can't get through to you. We don't seem to be on the same wavelength),* причем неудача может быть обусловлена или когнитивной, или физиологической неспособностью принять и интерпретировать сообщение (например, неразборчивая речь или письмо, много помех и т. д.). Иногда это отражается в высказываниях и их компонентах, регулирующих **физические параметры канала** (*Speak up! I can't hear you. The feedback's awful, I'll call you back in a minute. Don't talk with your mouth full! No one can read your scribbles).* В специализированных регистрах регламентированного общения иногда встречаются целые обмены, контролирующие канал связи и понимание сообщения, например, в диалоге пилота с диспетчером: *Zero-five, do you read me?* — *Roger. Copy.*

199

К интеракционным аспектам общения относятся следующие категории, воплотившиеся в метакоммуникативных элементах дискурса: тип общения, процедурный сценарий взаимодействия и, соответственно, *тип дискурса*; *субъект общения* и связанные с ним типологические особенности группы, социально-ролевые и межличностные *отношения*; разнообразные *нормы* общения, его тональность, степень фиксированности темы, структура обменов, мена коммуникативных ролей, уровень формальности (см. ниже) и степень предварительной подготовленности и т. д. Мониторинг **межличностных и социальных отношений** в речи весьма часто осуществляется самостоятельными ходами *(Don't you dare talk to me like that! Who do you think you're talking to ? You are the boss. You must know your place. Don't sir me. Now I'm talking not as your boss, but as your friend).* Контроль за соблюдением **норм общения** включает обширную группу элементов разного уровня, а также разной функциональной направленности. Некоторые из этих элементов регулируют **стиль речи и тональность общения,** в частности вежливость *(Don't use that tone of voice with me! Watch your tongue! You're not in the barracks!).* Другие охраняют нормы **взаимодействия и типа института** *(Mr. Speaker, off the record! Each of you may ask only one short question),* причем даже ощущаемые как норма дискурсивные отношения в паре «вопрос—ответ» могут стать предметом отдельного метакоммуникативного хода *(You didn't answer my question).* Безусловно, производится мониторинг **мены коммуникативных ролей** *(Senator Jones will have the floor now. Mr. Brown, you cannot have the floor twice. John, let your brother say a word. If I may interrupt you...).* Другие единицы регулируют тему, вводят ее, уточняют, закрывают или меняют *(We shall discuss the pollution problem first. Speaking of discourse markers... By the way... Enough politics! Let's talk about the holidays).*

Узко коммуникативный аспект направлен на мониторинг формы и содержания сообщения. Содержание далее реализуется в категориях количества (объема и достаточности сообщения), качества (истинности и достоверности хода), релевантности и уместности (темы и предмета общения, отношения к контексту), искренности, предварительных условий и других семантико-прагматических свойств дискурса, соответствующих в общем и целом постулатам кооперативного общения Грайса и условиям успешности речевых актов. Формально-языковая организация сообщения обусловлена процессуальным характером общения, что предполагает маркирование его начала, конца и структурных фаз *(«рамка»),* например, выделение элементов аргументативных структур, редактирование лингвистической формы сразу по ходу общения: перефразирование и коррекцию; заполнение пауз, «холостые» или «пустые» ходы, выигрывающие время и т. д. Из числа **формальных** метакоммуникативных элементов нетрудно выделить **маркеры начала, структурирования и оконча-**

200

ния *(first of all, before I answer your question, on one hand — on the other hand, to conclude, finally),* **элементы редактирования** *(in other words, to recapitulate, to sum it up, anyway, as I was saying).*

Очень много встречается метакоммуникативных элементов, отражающих содержание сообщения, во-первых, его **качество,** т. е. истинность, достоверность, его оценку самим говорящим и в связи с этим — искренность автора высказывания, короче, все то, что относится к вербализации пропозициональных установок *(Do you believe it is really true? I'm dead sure. I mean it. Frankly. Evidently. Metaphorically speaking);* во-вторых, **количество** речи *(You've said enough! This letter is just wordy. Is that all you want to tell us?);* в-третьих, его **релевантность** *(This has nothing to do with the problem. Are you sure this is the case?);* в-четвертых, **уместность в ситуации** *(Not here! I don't want to discuss it now. Not over the phone).*

Необходимо отметить, что в дискурсе метакоммуникативные единицы и акты, как правило, полифункциональны, например, фразы типа *Well..., You know..., By the way* не только отмечают структурное членение дискурса или представление темы, но и привлекают внимание адресата, облегчают восприятие и т. д.

Бирмингемская школа не выделяет метакоммуникативных единиц как таковых, но так же отличает обмены, организующие дискурс, от «собственно коммуникативных» [ср.: *organizational* vs. *conversational exchanges* — Francis, Hunston 1992: 125]. К тому же в их функционально-структурной типологии актов довольно легко опознать фактически метакоммуникативные [*framer, marker, starter, metastatement, summons, return, loop, prompt, reformulate, engage* — Francis, Hunston 1992: 128—133].

* * *

В пятой главе, начав с анализа теории речевых актов, мы пришли к выводу о ее неприменимости, по крайней мере без серьезных изменений, к изучению реально происходящего языкового общения. Намного интереснее выглядят инференционные модели дискурса и теория релевантности, хотя в объяснении когнитивных механизмов коммуникации и они страдают от абсолютизации логико-дедуктивного способа. Дополнив перечисленные направления принципом интерсубъективности и коллективной интенциональности, поставив их на фундамент интеракционной модели, можно применить их к изучению общения в группе.

Дискурс, безусловно, имеет свою *структуру,* качественно отличающуюся от структуры лингвистических единиц разных уровней. Другими важными

201

отличительными чертами дискурса являются его *связность (когеренция),* а также *метакоммуникативная* самоорганизация. Нормальная структура дискурса — психологическая реальность, так как отклонения от нормы без труда фиксируются носителями каждой языковой общности. То же справедливо и в отношении связности дискурса.

По всей видимости, у традиционно выделяемых структурных единиц дискурса (акт, ход, обмен, трансакция, речевое событие) есть когнитивные корреляты: границы трансакции определяются или по границам декларативной модели предметно-референтной ситуации, или по границам типа деятельности в процедурном сценарии; границы обмена помогают установить коммуникативный фокус, внимание и активация. Речевое событие выделяется категориально по ситуационной модели эпизода с его символической значимостью в координатах культуры: институтов, ритуалов, обычаев, норм деятельности.

Глава 6. ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МИРА

6.1. СОЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСКУРСА

Opposition is True Friendship.

W. BLAKE, «The Marriage of Heaven and Hell»

Поскольку в современном гуманитарном знании, в контексте идей постструктурализма и постмодернизма дискурс все больше рассматривается как специфическая для конкретной культуры и социума языковая реализация, конструирующая определенный «социальный порядок», весьма любопытно взглянуть на речевую коммуникацию с точки зрения категоризации социальных феноменов. Причем если на макроуровне, пользуясь лингвистическими по сути методами, это с успехом делают различные направления социологии, философии и т. д., то на микроуровне именно лингвистические подходы позволяют развивать саму методологию дискурс-анализа, в том числе и для последующего применения к изучению социально-культурной динамики общества.

6.1.1 Социальное мышление, конвенция, институт

Многие рассуждения в лингвистике, теории коммуникации и других отраслях социального знания XX в. были основаны на идее индивидуального рационализма, объясняющего «разумное» поведение каждого конкретного человека лишь эгоцентричными мотивами типа «я *делаю лишь то, что в моих интересах».* Согласно этой идее всякое социальное, коллективное действие находится в зависимости от системы взаимосвязанных, обоюдонаправленных, прямых и непрямых обменов. В сильной форме эта теория помещает рационального индивида в сложную, громоздкую систему отношений, где он должен действовать на основании полного доверия к своим партнерам и социуму в целом, не имея выбора («идеальное сотрудничество» в картезианском духе — как тут не вспомнить Грайса). В слабой форме эта теория оставляет человеку право выбора, но в случае ошибки он рушит весь процесс, разваливает систему обменов, вынуждая социум к применению санкций за некооперативное поведение. Но само применение санкций является социальным, коллективным актом и так же требует объяснения, как и исходное действие.

203

Могут ли группы людей думать, чувствовать и действовать подобно одному человеку? Вся социология марксизма, например, построена на допущении, утверждающем способность большой группы людей — целого социального класса — воспринимать, выбирать, решать, действовать во имя своих групповых интересов. Демократия как политический принцип, в свою очередь, зиждется на идее коллективной воли [Douglas 1986: 9].

Исходная ошибка, ложная аксиома теории индивидуального рационализма заключается в предвзятом отрицании социальных начал индивидуального мышления. Как отмечалось выше, очень важная для философского обоснования дискурс-анализа мысль о социальной обусловленности индивидуального мышления была высказана Эмилем Дюркгеймом [1995] в начале века [Durkheim 1912], когда социологическая эпистемология встретила серьезное сопротивление. Повысив роль социума в организации мышления, Дюркгейм уменьшил роль индивида, что вызвало обвинения в радикализме и социальном рационализме. Неопределенность функциональности в построениях Дюркгейма навлекли на него противоположные обвинения — в иррационализме. Казалось, что он вводит некую мистическую сущность — ***социальную группу*** — и наделяет ее сверхъестественной силой самобытийности.

Социология знания, в то время во Франции идеологически более свободная, чем в Германии, задается глобальным вопросом: как феномен знаний становится общественным, как мысль становится коллективной [ср.: Fleck 1935]? Ответ на этот вопрос может быть сформулирован с помощью теории социальных представлений (см. 2.4), адаптированной за счет расширения эвристического потенциала двух традиционных понятий: *конвенция* и *институт.*

Конвенция классически определяется следующим образом:

Регулярно повторяющаяся закономерность ***R*** в поведении членов общества ***P*** в ситуации ***S***

считается *конвенцией,* если и только если истинно и общеизвестно в ***P,*** что почти всегда в ситуации ***S*** из всех членов общества ***P***

[i] практически каждый следует ***R;***

[ii] практически каждый ожидает, что все остальные тоже следуют ***R;***

[iii] практически каждый почти одинаково оценивает приоритетность и предпочтительность всех возможных комбинаций действий;

[iv] практически каждый предпочитает, чтобы любой другой следовал ***R*** при условии, что все остальные следуют ***R;***

[v] практически каждый предпочел бы, чтобы любой другой следовал ***R'*** при условии, что все остальные тоже следовали бы ***R',***

где ***R'*** — это такая возможная закономерность в поведении членов общества ***P*** в ситуации ***S,*** что практически никто из членов данного общества ***P*** в данной ситуации ***S*** не может следовать одновременно ***R'*** и ***R*** [Lewis 1969: 78]. Здесь
204
хотелось бы обратить внимание на слова *практически* и *почти,* снимающие с данного определения «наряд» каузативного детерминатива и придающие ему вероятностный статус.

Язык в определенном (узком) смысле конвенционален, его употребление — дискурс — также конвенционально. Очевидно, что это конвенции разного качества. С социально-психологической точки зрения наибольший интерес для анализа языкового общения представляют конвенции в широком смысле. К ним относятся разнообразные аспекты жизни общества: его традиции, нормы, ценности, представления, обычаи и ритуалы, имеющие символическую природу, рекуррентный характер и определяющие специфику культуры.

Институт в минимальной философской форме может быть сведен к разновидности конвенции [Douglas 1986: 46]. Рассуждая о социуме, и Эмиль Дюркгейм, и Людвик Флек [Durkheim 1912; Fleck 1935] весьма симптоматично употребляли слово «законность» относительно практически всех уровней организации социальной общности или группы. Чтобы какая-то конвенция группового поведения превратилась в узаконенный социальный институт, требуется параллельная или *поддерживающая* когнитивная конвенция: чтобы коммуникация состоялось, уже необходимо «соглашение», определяющее такие базовые категории, как, например, *сходство* и *релевантность,* а это само по себе явление институциональное.

Всякому стремящемуся к воспроизводству институту нужен статус законности, приобретаемый только посредством прочного обоснования как в мире вещей, так и в мире идей. Институт сам предоставляет своим членам набор категорий, аналогов или прототипов, с помощью которых они могут воспринимать и изучать окружающий мир. Эти категории призваны оправдывать физическую и духовную целесообразность вводимых институтом правил и норм, что способствует его функционированию в легко узнаваемой *узаконенной* форме в течение длительного периода времени. Социальные группы — это суть институты, обладающие своими собственными когнитивными способностями помнить и забывать, классифицировать и решать, чувствовать и думать [Douglas 1986]. Хотя в подобном определении легко угадывается очередная научная метафора, не все из него следует понимать исключительно метафорически: о социальных аспектах восприятия, памяти, аффекта, каузальной атрибуции можно немало найти у социально-когнитивных психологов [Fiske, Taylor 1991: 340—341].

Функция института заключается в решении определенной социально значимой задачи с точки зрения групповых интересов, что, собственно, составляет социокультурную жизнь (в отличие от физиологической). Каждый институт имеет свою структуру — упорядоченность, выделенность, устойчивость,
205
специфичность, что позволяет распознавать его как членам этой группы, так и сторонним наблюдателям.

По мнению Б. Малиновского, большая часть человеческой деятельности выполняется организованными группами людей по правилам, имеющим моральное или правовое (а часто и то, и другое) закрепление [Malinowski 1923; 1972]. В институтах осуществляется трансляция знаний и традиционных элементов культуры [Орлова 1994: 52]. Институты регулируют и координируют соотношение *индивидуального* и *общего* в ходе культурной жизни социума. Нелишне напомнить в этой связи, что основополагающая для лингвистики речи и теории дискурса категория *communicatio,* как и ее русское воплощение *общение,* самым тесным

образом связаны с понятиями *communis, общий.*

Следуя расширенному пониманию института [см.: Бенвенист 1974: 352], к данному явлению следует причислить множество взаимосвязанных традиций, образцов деятельности, обычаев, ритуалов, нравов, законов, *обусловленных функционально.* Нет нужды напоминать об их конвенциональности. Здесь и далее под **социальным институтом** понимается культурно-специфическая нормативно организованная конвенциональная система форм деятельности, обусловленная общественным разделением труда, а также предназначенная для удовлетворения особенных потребностей общества [ср.: Орлова 1994: 52—53; Schlieben-Lange 1975:47; Allwood 1976: 26; Wunderlich 1976: 312; Ehlich, Rehbein 1975 и др.].

6.1.2 Коммуникативные переменные, типы дискурса, сферы общения

Во многих работах, характеризующихся коммуникативной ориентацией, нетрудно найти описание компонентов социокультурной ситуации общения, внелингвистических или контекстуальных (в широком смысле) переменных [ван Дейк 1989: 19—30; Lyons 1977: 574; Levinson 1983: 23; Brown, Yule 1983: 41], имеющих большое значение для производства и интерпретации дискурса.

Например, Д. Хаймс [1975; Gumperz, Hymes 1972; ср.: Белл 1980: 110; Орлова 1994: 98—100; Brown, Yule 1983: 38] изящно упаковал весь этот набор параметров в один акроним *speaking.*

Setting объединяет две переменные: «обстановку» (время и место коммуникативного процесса, внешнее окружение, среда с ее физическими параметрами) и «сцену» (культурное определение данного акта общения, его места в коммуникативном процессе); *Participants:* к участникам общения относятся «говорящий», как инициатор взаимодействия, «адресат», как намеренно выбранный говорящим объект коммуникативного воздействия, «слушатель»
206
(аудитория), как свидетель общения говорящего и адресата, получающий информацию в силу простого присутствия, либо как пассивная или активная «аудитория» в случаях массовой коммуникации; *Ends* — включает два взаимосвязанных понятия: предполагаемый «результат» и индивидуальные и общие «цели» коммуникантов; *Act sequence* — модель культурно обусловленной «последовательности коммуникативных действий»; *Key* — «ключ», как и в музыке, определяет психологическую, эмоциональную тональность коммуникативного события в данной культурной ситуации; *Instrumentalities* — это «каналы» передачи информации (устная и письменная речь, параязык, трансляционные средства) и «формы речи», т. е. системообразующие компоненты собственно языковой коммуникации (языки и подъязыки: диалекты, арго, социолекты; функционально-стилистические варианты); *Norms* — «нормы», принадлежащие, с одной стороны, самой интеракции, а с другой стороны, — ее интерпретации; *Genres* — речевые «жанры» обычно предполагают закрепление за культурно определяемыми формами общения структурно организованного лингвистического материала (стихи, сказка, лекция, дебаты и т. д.).

Традиция этнографии речи Д. Хаймса легко угадывается в системах коммуникативных переменных, весьма типичных для конверсационного анализа и близких ему по духу исследований дискурса [ср. : *Redekonstellation* — Schlieben-Lange 1975: 103—104]. Вот лишь один пример такой системы, позаимствованный из популярного *Введения в конверсационный анализ* немецких авторов, к достоинствам которых всегда принадлежало умение систематизировать и классифицировать даже хорошо известный материал [Henne, Rehbock 1982: 32—33]:

1. ***Род*** **или** ***жанр разговора***

1.1. естественный (спонтанный, неподготовленный и предварительно спланированный или подготовленный);

1.2. вымышленный, художественный;

1.3. инсценированный;

2. ***Пространственно-временные отношения*** (ситуация)

2.1. общение «лицом к лицу»: одновременно и вблизи;

2.2. опосредствованное общение: одновременно, но на расстоянии, например, разговор по телефону;

3. ***Состав участников разговора***

3.1. межличностный диалог в диаде;

3.2. разговор в малой или большой группе;

207

4. *Степень официальности разговора*

4.1. непринужденное, фамильярное общение;

4.2. нейтральное, неформальное общение;

4.3. полуофициальное общение;

4.4. официальное общение;

5. *Социальные отношения собеседников*

5.1. симметричные;

5.2. асимметричные (антропологически: по возрасту, полу и т. д.; социокультурно, например, по отношениям в социальных институтах; профессионально — по должности или по уровню компетенции; по разным функциям в самом разговоре, например, в интервью);

6. *Направленность коммуникативных действий в разговоре*

6.1. директивная, побудительная;

6.2. нарративная, повествовательная;

6.3. дискурсивная, аргументативная (объединяющая бытовой и научный диалог);

7. *Степень знакомства собеседников*

7.1. близкие люди;

7.2. хорошо знакомые люди, в дружеских отношениях;

7.3. знакомые люди;

7.4. поверхностно, случайно знакомые люди;

7.5. незнакомые, чужие люди;

8. *Степень подготовленности коммуникантов*

8.1. неподготовленные;

8.2. подготовленные в силу обычая, привычки;

8.3. специально подготовленные к данному диалогу;

9. *Фиксированность темы*

9.1. «свободная» тема;

9.2. фиксированная тематическая область;

9.3. особо фиксированная конкретная тема;

10. *Отношение общения к практической деятельности*

10.1. включенное в практическую деятельность;

10.2. не включенное в практическую деятельность.

Не вдаваясь в дискуссии о достоинствах и недостатках этой реферативно изложенной схемы коммуникативных переменных (как и во всякой классификации, здесь легко найти спорные моменты), отметим наличие в ней безусловно важных с точки зрения дискурс-анализа элементов. К тому же многие из

208

этих коммуникативных переменных в качестве типологических признаков релевантны для классификации типов дискурса.

Любопытно взглянуть, как те же авторы классифицируют разговорную речь «по ее целям» [Henne, Rehbock 1982: 30]:

1. беседа, личный разговор;
2. разговор «за чашкой чая», застольная беседа;
3. игровой разговор;
4. профессиональная беседа, разговор «по месту работы»;
5. разговор продавца с покупателем;
6. конференции, дискуссии;
7. разговор в средствах массовой коммуникации, интервью;
8. обучающая беседа, урок;
9. совещание, консультация;
10. официальный разговор с должностным лицом;
11. судебное разбирательство.

Необходимо добавить, что первые три обычно протекают в неформальной обстановке, на досуге, в то время как 4—11 более формализованы, включены в «рабочее» общение (из них 4 и 5 ориентированы на физическую работу, 5—11 — на умственную).

Сами авторы отмечают, что *типы разговоров* или *диалогов* являются коммуникативно-прагматическими реализациями, или наглядными образцами, прототипами, в речевой,

диалогической данности представляющими соответствующие *сферы общения* или *взаимодействия* [*Interaktionsbereichen* — Henne, Rehbock 1982: 232]; *среды и сферы употребления языка* [Аврорин 1975: 121; Белл 1980]; аналогично выделяются порой *типы речевого высказывания* и *формы речевой коммуникации* [Адмони 1994: 71—73; Гойхман, Надеина 1997: 13; Львова 1991; Ehlich 1986]:

1. ***Терапевтический диалог***

1.1. психотерапевтический;

1.2. «врач — пациент»;

2. ***Дискуссия, обсуждение, совещание***

2.1. в учебном заведении;

2.2. деловое общение (финансы, управление, бизнес);

2.3. прочие официальные институты;

2.4. духовные беседы;

3. ***Слушания, заседания***

3.1. судебные заседания, следствие;

3.2. политические и экономические слушания;

209

4. ***Массовая коммуникация***

4.1. политические и литературные интервью;

4.2. политические и литературные дискуссии;

4.3. ток-шоу;

5. ***Обучение***

5.1. школьный урок;

5.2. занятия в высших и прочих учебных заведениях;

6. ***Общение в семье***

6.1. общение с детьми как социальное взаимодействие;

6.2. семейные беседы;

7. ***Литературный диалог***

7.1. литературоведческий;

7.2. драматургический (театр).

Трудно признать какую-либо из существующих типологий диалогов, сфер общения и т. д. полностью отвечающей целям и задачам коммуникативно-прагматического дискурс-анализа. На это влияет и недостаточная определенность самих понятий *тип текста, тип диалога, тип общения, тип* или *стиль дискурса* [ср.: Сухих 1990; Богушевич 1988; Богданов 1993; Morris 1971: 203ff; Wunderlich 1976: 29; Schmidt 1978: 54; Schlieben-Lange 1975: 20; van Dijk 1980: 98; Fillmore 1981: 152ff; Metzing 1981: 52; Coupland 1988; Clark 1992; Myhill 1992; Lux 1981; Bhatia 1993; Rolf 1993; Schröder 1993; Brunner, Grafen 1994; Hanks 1996]. Не все гладко с критериями выделения типов дискурса, сфер и эпизодов общения, — не все типологии могут похвастаться логикой построения классификации, пока еще не набран достаточный эмпирический материал.

Некоторые из коммуникативных переменных, традиционно принимаемых во внимание в дискурс-анализе, полностью или частично совпадают с соответствующими им социальными характеристиками общности людей, составляющих коллективный субъект общения. Например, официальность дискурса соответствует формальности группы, симметричность или асимметричность социальных отношений участников задана ролевой структурой и соотношением личностных статусов. С постоянством или случайностью объединения людей отчасти связана степень знакомства коммуникантов, коррелирующая с делением групп на первичные (психогруппы) и вторичные (социогруппы). Отношение разговора к практической деятельности вытекает из типа деятельности, в то время как фиксированность темы и степень подготовленности дискурса зависят от институциональных норм интеракции. Данный ряд можно было бы легко продолжить. Очевидно, свойства субъекта общения в превра-

210

щенной форме переносятся на сам дискурс, диалог. Вместе с тем, не следует забывать, что поскольку речевое общение — это конститутивный фактор социальной жизни, то стремление объяснить типологические свойства дискурса или языковой коммуникации социальными свойствами группы может привести к ситуации порочного круга, ведь качественные признаки группы формируются, обсуждаются и [вос]производятся именно в процессе коммуникации: любая социально-культурная группа — это в значительной мере порождение, продукт

коммуникации, поскольку общение многими концепциями рассматривается как источник формирования социальной психики [см.: Руденский 1997: 55 и сл.].

6.1.3 Формальность

Категория ***формальность*** может рассматриваться как один из параметров *аудитории* [Casmir 1974: 138], как составляющая категории *контактность* [Киселева 1978: 25] или *как фактор речевой констелляции* [*Redekonstellation* — Schlieben-Lange 1975: 104; Steger e. a. 1974: 1028; Kalverkämper 1981: 84], как один из стилеобразующих факторов [Кристал, Дэйви 1980] или в связи с понятием *регистр* [Gumperz, Hymes 1972; Coulthard 1977: 34; 1985; Halliday 1978; Gumperz 1982a; Thomas 1995: 154], как один из параметров речевого общения [Henne, Rehbock 1982: 32], как совокупность речевых признаков, отличающая официальную интеракцию от разговорной, т. е. от конверсации [Atkinson 1982; Irvine 1979]. Большинство относит формальность к ситуативному контексту [Labov 1972b: 181; Cazden 1972: 305; Lyons 1977; Brown, Fraser 1979: 45; Giles e. a. 1979; Holmes 1992: 12].

По мнению многих языковедов, лингвистические принципы формальности, по крайней мере некоторые из них, универсальны [Brown, Fraser 1979: 46; Levinson 1983: 46 и др.]. Здесь следует поместить одно важное замечание о том, что выводы, сделанные в работе, нельзя без эмпирической проверки экстраполировать на другие лингвокультуры, хотя это допустимо в отношении модели анализа. Межкультурный аспект анализа не столь отчетливо был выделен в данной работе, но это не означает приверженности к универсалистскому подходу: существует достаточно материалов и данных, чтобы многие формы языкового общения считать культурно-специфическими. Для англо-американской лингвокультуры, например, самым естественным или первичным проявлением коммуникативности является речь, или умение говорить, но для индейцев племени *Black Feet,* живущих на границе Канады и США (шт. Монтана), главное проявление коммуникативности — молчание, умение слушать; именно это они имеют в виду, если о ком-то отзываются фразой

211

He is a great communicator. Поэтому панкультурный универсализм здесь просто недопустим.

Тем не менее, среди языковых признаков формальной речи часто упоминаются ее более высокая структурная организация, синтаксическая, лексическая и фонетическая нормативность и тщательность, падение скорости речепроизводства и увеличение объема, высокий уровень когезии и когеренции, упорядоченность мены коммуникативных ролей, фиксированность темы и т. д. [ср.: Brown, Fraser 1979; Levinson 1979; Irvine 1979; Fillmore 1981; Atkinson 1982; Holmes 1992 и др.]. Неформальной речи, наоборот, свойственны меньшая структурированность, эллипсис, повторы слов, хезитации, более высокий темп и ритм речи, а значит, меньшая длина ее единиц, тематическое разнообразие, снижение уровня когезии и т. д. Кое-что из этого списка давно и успешно изучается стилистикой, но вот мена коммуникативных ролей не входит в ее компетенцию. К тому же в неформальном общении заметнее роль непосредственного контекста общения и невербальной составляющей коммуникации [см.: Tannen 1984b].

Психологически формальность может быть охарактеризована по «количеству внимания, которого требует в данной ситуации речь» [Cazden 1972: 305; Labov 1972b: 181].

6.1.4 Предварительная подготовленность

Естественным образом формальность коррелирует с понятием *предварительной подготовленности* речи и дискурса [Casmir 1974: 57; Levinson 1979: 308; Brown, Fraser 1979:49; Fillmore 1981: 148 и др.]. Данный фактор довольно подробно был разобран Элинор Окс [Ochs 1979b; Ochs, Schieffelin 1983: 129ff], которая в этом явлении выделяла два аспекта: предварительное обдумывание и планирование (что сегодня мы могли бы назвать когнитивным аспектом), а также организацию языковых средств для оптимального выражения идей (риторический аспект). Как пишет А. И. Новиков [1983: 22], «результатом предварительной подготовленности текста является то, что он ... характеризуется большей развернутостью, последовательностью, связанностью, законченностью». Данная корреляция имеет еще одно измерение: предварительно подготовленный текст обретает очень многие качества письменной формы речи, пусть даже этот текст и озвучен посредством чтения [*scripted speech* — Atkinson 1982: 109; *reading from manuscript* — Casmir 1974: 165; Ochs 1979b: 58; Ochs, Schieffelin 1983: 136]. В этом предположении утверждает также сравнение особенностей письменной и устной

речи [Brown, Yule 1983: 15— 17; Cmerjkova e. a. 1994; Salkie 1995 и др.].
212

К признакам спонтанной речи, помимо упомянутых выше синтаксической простоты, меньшей длины предложений и слов и эллипсиса, добавим преобладание действительных конструкций. В подготовленном дискурсе, наоборот, возрастает удельный вес неагентивных конструкций (пассив, статив) и предложений с безличным *it,* синтаксическая сложность реализуется в увеличении доли подчинительных связей, большей частотности особых логических межпропозициональных коннекторов: *when, while, besides, moreover, however;* в то время как в спонтанной речи их место занимают полифункциональные *and, but, then,* реже *if.* В предварительно подготовленном дискурсе логическая или риторическая организация обычно охватывает куда большее пространство, широко используя структурные маркеры *firstly... then... in conclusion.* Там же встречаются атрибутивные фразы с двумя и более определениями, да еще отягощенные наречиями, в препозиции, чего почти не бывает в спонтанной речи, где, как правило, одному тематическому референту соответствует только один предикат по признаку в постпозиции, следующий же акт предикации подается «отнесенным» просодически: *It's a biggish cat... tabby... with torn years.* В подготовленном тексте нормативно эксплицитное субъектно-предикатное строение предложения по схеме SVO, а в устной речи часты конструкции «topic-comment»: *The cats... did you let them out?;* иногда одно слово оказывается в структуре сразу двух соположенных фраз, имея правую и левую валентность: / *left them on the table I saw them.* В тех случаях, когда в подготовленных текстах употребляются конструкции, не называющие действующее лицо: пассивные, стативные и просто безличные, в спонтанной речи предпочитаются неопределенно-личные предложения типа *Oh, everything they do in London, they do it far too slowly.* В спонтанном устном дискурсе, естественно, появляются клишированные заполнители пауз *well, I think, you know;* часты случаи коррекции, редактирования фраз, велика доля более частотной лексики: *a lot of, got, do, thing, nice, stuff, pretty, things like that.*

Говорить об этих признаках как отличиях устного и письменного дискурса было бы некорректно: не форма реализации сообщения породила эти различия, а сама природа спонтанного и предварительно подготовленного дискурса. Есть много способов придать письменному тексту, скажем, художественному диалогу «образ» разговорной спонтанности, а устному выступлению — свойства письменного текста (что с успехом делали депутаты «застойного» Верховного Совета СССР).

В прагматике традиционно различаются «сильный» и «слабый» стили речи [*power* vs. *powerless speech* — Макаров 1988; Ng, Bradac 1993: ch. 1; Lind, O'Barr 1979; Kaiin 1982]. *Сильный* вариант, хотя и не совпадает полностью с предварительно подготовленным дискурсом, имеет с ним много общего.
213

Он обычно ассоциируется с *мужским* языком — именно так его нарекла одна из «вождей» лингвистического феминизма Р. Лаков [Lakoff 1990]. *Слабый* вариант, соответственно, коррелирует с *женским* языком, для которого характерны интенсификаторы, «пустые» прилагательные вроде *pretty,* частые повышения интонации, вводные слова и фразы, гиперкоррекция в грамматике, избыточная вежливость и т. п. В зале суда слабый вариант присущ свидетелям с более низким статусом [Lind, O'Barr 1979: 71; Kaiin 1982: 151—152]. А сильный язык свойственен *официальному* [Burton, Carlen 1979], или формальному дискурсу, символизируя собой высокий статус говорящих, данного социального института и ситуации [см.: Карасик 1992]. И стиль речи, и стиль интеракции выполняют важную социально-дейктическую функцию: они функционируют как индексы социально-психологических реалий, имеющих символическую значимость для культуры.

6.1.5 Социальный дейксис

Социальный дейксис выделяется некоторыми авторами, как и дейксис текста или дискурса, в дополнение к традиционному трио дейксиса лица, времени и места [Fillmore 1975: 70ff; Rauch 1983: 38; Levinson 1983: 85—89; Renkema 1993: 78; Yule 1996: 10]. Социальный дейксис касается «тех аспектов предложений, которые отражают, устанавливают или обусловлены какими-то реальностями социальной ситуации, где совершается речевой акт» [Fillmore 1975: 76; ср.: Bean 1978: 9; Levinson 1983: 89]. Отнюдь не все признают дейктическую отмеченность социальных параметров коммуникации [Lyons 1977: 574ff], но большинство специалистов сошлись во мнении, что как минимум отношения говорящего и адресата, говорящего и

референта индексируются в речи, символически обозначая ***степени социальной дистанции*** между говорящим и адресатом или говорящим и тем(и), о ком идет речь [*degrees of social distance —* Карасик 1992; Head 1978; Rauch 1983: 38; Leech 1983: 126; Adamzik 1984: 137; Holmes 1992: 12; Thomas 1995: 129]. Часто, говоря о социальном дейксисе, подразумевают грамматикализованные (до морфологического уровня) системы вежливости *honorofics,* характерные для языков Юго-Восточной Азии [Harada 1976; Renkema 1993: 78; Yule 1996: 10]. Отсутствие таких систем в европейских языках отражает разницу в средствах и способах символизации социального.

Степени дистанции психологически могут коррелировать с отношениями солидарности, власти и подчинения (имеющего разные причины: межличностное и эмоциональное воздействие, статусно-ролевую и институциональную иерархию, разницу в знаниях и т. п.), социальная дистанция задается набором феноменологически интерпретируемых переменных [Brown, Gilman

214

1972; Muhlhauser, Harré 1990; Holmes 1992: 12; Brown 1995; Thomas 1995: 129; Spencer-Oatey 1996 и др.].

Кроме *относительной* социально-дейктической информации об уровне социальной дистанции по четырем осям: к референту, адресату, слушателям (присутствующим), а также к обстановке или ситуации в целом, в дискурсе есть *абсолютная* информация социально-дейктического свойства, например, символизирующая социальные роли коммуникантов, имеющих в рамках данного института особый статус [ср.: Fillmore 1975; *authorized speaker and recipient* — Levinson 1983: 91; *marked status* — Ervin-Tripp 1973: 306 и др.].

Важную социально-дейктическую роль играют обращения. Позволим себе небольшое отступление, чтобы привести пример из рассказа В. Притчетта *Матрос,* персонаж которого на улице обращается к незнакомому человеку несколько фамильярно, демонстрируя предполагаемую солидарность: «Beg pardon, chum. Is that Whitechapel?». Однако очень скоро он сменил форму обращения, и вот что стояло за этим: «Within the next two hours I had given him a job. I was chum no longer, but *sir. Chum* was anarchy and the name of any twisty bleeder you knocked up against, but *sir* [for Thompson, out of the naval nursery] was hierarchy, order, pay-day and peace... «Beg pardon, sir» he said.» В этом маленьком фрагменте хорошо показано, как в обращении сливаются весь предыдущий личный опыт и его социальная, интерсубъективная интерпретация как некий социально-психологический конструкт, «тема фантазии», нередко достигающая уровня социального представления.

Элементы социального дейксиса получают ***жестовую*** реализацию с опорой на сиюминутный контекст и ***символическую*** — с опорой на координаты контекста, доступные до акта коммуникации [*gestural* vs. *symbolic usage* — Fillmore 1975; Levinson 1983: 65—66].

6.2. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА

6.2.1 Сказка — ложь?

Этот параграф хотелось бы начать с маленького «детского» примера, который был позаимствован из сказки А. Милна. Для удобства текст стилизован: убраны вводящие прямую речь фразы типа «said Owl», но оставлены в качестве комментария другие; диалог разбит на ходы; соответствующим образом скорректирована пунктуация.

C l: I say, Owl,
2 isn't this fun?
3 I'm on an island!

215

```
O 4:  The atmospheric conditions have been very unfavourable lately.
C 5:  The what?
O 6:  It has been raining.          ©explained Owl @
C 7:  Yes, it was.
O 8:  The flood-level has reached an unprecedented height.
C 9:  The who?
O 10: There's a lot of water about.
C 11: Yes, there is.
O 12: However,
```

```
     13   the prospects are rapidly becoming more favourable.
     14   At any moment —
C    15:  Have you seen Pooh?
O    16:  No. At any moment —
C    17:  I hope he's all right.
     18   I've been wondering about him.
     19   I expect Piglet's with him.
     20   Do you think they are all right, Owl?
O    21:  I expect so.
     22   You see,  at any moment —
C    23:  Do go and see, Owl.
     24   Because Pooh hasn't got very much brain,
     25   and he might do something silly,
     26   and I do love him so, Owl.
     27   Do you see, Owl?
O    28:  That's all right.
     29   I'll go.
     30   Back directly.              @ And he flew off @
```

Что можно сказать об этом диалоге? Какова доля участия каждого из персонажей? Кто внес решающий *вклад* в его развитие? Чьи реплики *предопределили* его *сюжет!* Чья *тема* полнее раскрыта? Чья *воля* победила, чей *интерес* преобладал?

Иначе говоря, кто владел *коммуникативной инициативой?*

Абсолютное большинство читателей ответит однозначно: это Кристофер Робин (С). Это наблюдение не столь тривиально, как может показаться на первый взгляд. Что заставляет нас именно так интерпретировать данный фрагмент? Ведь, по сути дела, мы не располагаем никакими другими источниками информации об этом эпизоде общения, кроме самого диалога. Значит, уже в нем заложены знаки, символы, позволяющие сделать данный вывод.

216

Из интуитивного единодушия в приписывании коммуникативной инициативы (С) следует, что эти знаки принадлежат общему интерсубъективному «символическому миру», или уровню символической конвергенции группового сознания. Если так, то подобные механизмы работают и в иных типах дискурса.

В настоящее время в коммуникативной лингвистике существует ряд категорий, к которым предлагается отнести понятие *коммуникативная инициатива.* К этому ряду принадлежит *тип языковой личности,* сюда же можно добавить категории, соотносящие качества участника взаимодействия с его коммуникативным поведением: социальная роль, позиция, статус, психологический тип личности, тип коммуникабельности, коммуникативное «Я»-состояние.

Тип языковой личности и *коммуникабельность* главным образом антропоцентричны: они характеризует *человека* с точки зрения его коммуникативных способностей, навыков, привычек, через которые раскрываются его психологические и социальные качества. Эти качества обусловливают, *как* данный индивид исполняет определенный диапазон *ролей* — более или менее стереотипных способов поведения и взаимодействия в рекуррентных ситуациях общения.

Категория *коммуникативная инициатива* характеризует прежде всего само *дискурсивное взаимодействие* личностей и их стратегий в конкретном коммуникативном эпизоде, причем, как уже отмечалось выше, участники общения и сам дискурс — это одна единая сущность, а не совокупность дискретных элементов. Коммуникативная инициатива, как дискурсивно-психологический фокус, воплощает во взаимодействии людей актуализацию разнообразных аспектов их коммуникативной и социальной компетенции, разных типов языковых личностей и их коммуникабельности, но не совпадает с проигрыванием ими в диалоге соответствующих ролей.

Индивиды, вступая в общение, начинают его, как правило, с разными установками, целями, эмоциями, хотя наличие общих элементов неизбежно и даже обязательно для того, чтобы коммуникативный акт вообще состоялся. В силу этого само начало взаимодействия и его ход характеризуются разной степенью участия коммуникантов, их вовлеченности в общение, неодинаковой заинтересованностью, разной императивностью (в широком смысле): кто-то владеет коммуникативной инициативой, и именно его/ее/их ходы в общении определяют и предписывают пути развития дискурса. Это справедливо как для кооперативных диалогов, так и для конфликтов. В последнем случае особенно наглядно протекает борьба за коммуникативную инициативу, за право подчинить диалог своим целям, пусть даже в ущерб

другим участникам [см.: Grimshaw 1990; Conley, O'Barr 1990; Goodwin, Goodwin 1990].
217

Понятие коммуникативной инициативы относится к уровню макроструктуры, оно касается взаимодействия, взаимовлияния стратегий коммуникантов, где глобально, в границах речевого эпизода актуализуются языковые личности, конструируются их «Я». Коммуникативная инициатива может переходить от одного участника разговора к другому (и это часто происходит), причем такой переход может осуществляться разными способами: без борьбы, произвольно, по воле человека, владевшего инициативой, или же в конкурентной борьбе, вопреки его воле и т. п. Все это, естественно, создается в дискурсе. Функционально некоторые коммуникативные ходы и даже целые стратегии направлены на удержание или овладение коммуникативной инициативой. Без учета этого фактора дискурс-анализ может оказаться неадекватен.

Коммуникативная инициатива проявляется в разных признаках и свойствах дискурса, причем сам по себе каждый из этих признаков, взятый изолированно от других, может и не означать владения инициативой, но некоторая их совокупность позволяет безошибочно определить, кто из участников диалога владеет коммуникативной инициативой (причем не обязательно, чтобы это был автор первой реплики). Что же это за признаки?

6.2.2 Инициативные предписывающие ходы: Кристофер Робин начинает и выигрывает

На уровне индивидуальных коммуникативных ходов — это ***преобладание предписывающих ходов,*** обычно инициативных: вопросов, приказов, просьб и др. Это довольно слабый признак сам по себе, потому что практически для любого инициативного хода найдется контекст, где этот ход окажется составной частью не самой инициативной стратегии. Справедливости ради следует отметить, что инициативным стратегиям чаще свойственны ходы, открывающие типичные обменные структуры. Например, в вопросно-ответном единстве (микродиалог: запрос информации) инициатива принадлежит задающему вопросы, в то время как в диалоге, где один из участников что-то рассказывает, а другой время от времени переспрашивает, инициативой владеет обычно рассказчик, а не автор переспросов (хотя переспросы — это очень тонкое оружие в борьбе за инициативу, главное отличие простых переспросов от инициативных заключается в том, что последние заставляют автора предыдущего хода не только повторить ход и подтвердить адекватность восприятия, но и как-то изменить свое речевое поведение). В первом случае вопрос — предписывающий инициативный ход, занимающий начальную позицию в структуре обмена. Во втором — это ход, обусловленный предшествующим течением нарративного дискурса, он занимает сред-
218
нюю позицию в структуре сложного обмена. Этим дискурс-анализ существенно отличается от теории речевых актов, где оба вопроса были бы причислены к одному типу речевых актов.

Комплексность критериев коммуникативной инициативы, с одной стороны, недостаточность изолированных признаков, с другой стороны, усложняют дискурсивно-психологический анализ. Тем не менее, в инициативных стратегиях употребление побуждений, вопросов и других предписывающих актов заметно и важно, особенно если они открывают обменные структуры (типа «вопрос-ответ»).

На уровне элементарных последовательностей речевых ходов признаком коммуникативной инициативы часто становится умышленное коммуникативное рассогласование, в ряде случаев связанное с невыполнением ожидаемого реактивного хода и/или заменой его на инициативный. Примером служит ответ вопросом на вопрос. Молчание, демонстрирующее нежелание исполнить реактивный речевой акт, относится к этой же категории [ср.: Богданов 1986; Крестинский 1990; Tannen 1990; Tannen, Saville-Troike 1985; Jaworski 1993]. Поступая так, говорящий как бы демонстрирует, что имеет право нарушать нормы согласования коммуникативных ходов по их «прагматической валентности». Нарушение устоявшихся норм общения, как правило, сопряжено с приписыванием нарушителю более высокого мнимого или реального статуса. Данный механизм лежит в основе манипуляций, построенных на умышленном нарушении норм кооперативного общения и самого принципа коммуникативного сотрудничества, а также институциональных норм этикета.

6.2.3 На чужой роток не накинешь платок?

Безусловно важной с точки зрения владения инициативой в дискурсе является ***мена коммуникативных ролей.*** Показателем коммуникативной инициативы очень часто бывает, например, перебивание, когда индивид берет роль говорящего *силой,* только по своей воле, тем самым прерывая собеседника, не заботясь о его коммуникативном комфорте и существенно ограничивая его в свободе действий по достижению своих целей. Агрессивное взятие шага в разговоре может произойти и без классического перебивания, когда стремящийся к овладению инициативой участник общения принимает на себя роль говорящего за кого-то другого, даже если этот кто-то был назначен предшествующим говорящим на эту роль. В данном случае индивид присваивает право голоса, не перебивая другого, а просто не оставляя ему и мгновения на вступление в свои права «говорящего». Маркером коммуникативной инициативы иногда выступает даже подхват, завершающий

219

чужой коммуникативный ход, который как бы присваивается новым говорящим. Этот прием особенно эффектен в тех случаях, когда данный ход имеет большое значение для развития диалога в целом, предписывает тип следующего хода и тему разговора и т. п.

Отказ от взятия шага в некоторых контекстах также может расцениваться как проявление коммуникативной инициативы. В данных случаях интересна роль молчания как знака отказа от неудобной темы, неприемлемого стиля общения, его тональности и соответствующего распределения ролей. Молчание в подобных случаях символизирует отказ подчиниться «чужой» стратегии.

Очень важны для определения динамики коммуникативной инициативы ***способы и пути развития темы.*** Отношение разных участников разговора к обсуждаемой теме часто не совпадает: что важно, приятно и крайне интересно одному коммуниканту, неохотно обсуждается другим или вообще вызывает негативные реакции. Наличие разного прагматического статуса у разных тем обусловливает стремление некоторых участников разговора к развернутому обсуждению одних, интересных лишь им тем и свертыванию других, для них менее интересных, в то время как остальные коммуниканты могут иметь прямо противоположные установки и стремиться к рассмотрению «своих» тем. Борьба за наиболее выгодную тему говорящего, обладающую в его глазах более высоким прагматическим статусом, — один из важнейших компонентов коммуникативной инициативы.

Самым очевидным примером корреляции динамики темы и коммуникативной инициативы является смена темы в разговоре. Иногда новый говорящий, независимо от исчерпанности прежней темы, резко вводит новую тему, как правило, важную для него. Признаком владения коммуникативной инициативой является защита и сохранение своей темы, часто сопряженные с отказом принять и/или развивать чужую тему. Необходимо отметить, что большую роль здесь играет сама цель смены темы, а также момент перехода от одного предмета общения к другому и способ осуществления данного перехода. Порой смена темы обусловлена чисто этикетными мотивами и осуществляется конвенционально.

6.2.3 А судьи кто?

Следующая группа признаков связана с ***нормами общения,*** а именно: нормами стиля, тональности общения, социальными и психологическими нормами общения. Говорящий, владеющий инициативой, устанавливает и регулирует тональность общения, сокращая, сохраняя или увеличивая социально-психологическую дистанцию, часто с помощью различных элементов социального дейк-

220

сиса. Это могут быть также процедурные нормы, типичные для данной деятельности, для определенного института. Такие нормы регулируют и распределение ролей, и последовательность действий каждого участника общения. Инициативные стратегии предполагают не только установление норм или их умышленное нарушение, но и функцию контроля за соблюдением этих норм, роль «цензора» по отношению к другим участникам общения.

Поэтому кроме предложения и утверждения стиля общения, его социально-психологической тональности («климата группы»), признаком инициативы может быть и их коррекция, выражение несогласия с реальным ходом коммуникации (знакомое всем *Ты не должен так*

разговаривать с бабушкой!). Это легко можно проиллюстрировать вариативностью стиля в общении родителей с детьми, руководителя с подчиненными и т. п., когда высший по роли и статусу, в большинстве случаев владея коммуникативной инициативой, предлагает свое распределение коммуникативных и социально-психологических ролей. Это приводит к владению центром социального дейксиса: именно от позиции владеющего инициативой идет отсчет по шкале социальных отношений, градуирование социально-дейктической системы дискурса.

Принадлежность коммуникативной инициативы определяют и по роли речевых действий участников диалога в создании и поддержании процедурных норм взаимодействия и совместной деятельности в малой группе. Здесь выделяются акты собственно нормотворчества (высказывания типа *Не все сразу!; Я каждому дам слово, но только один раз),* а также коррекции и санкции.

Данный деонтический аспект коммуникативной инициативы представляется весьма важным, хотя в повседневной речи акты нормотворчества в «чистом виде» встречаются довольно редко. Право устанавливать и контролировать нормы взаимодействия в рамках какого-то типа деятельности или социального института само по себе свидетельствует о высоком статусе общающихся и подтверждает их право на инициативу в разговоре. Интересны редкие случаи деонтического конфликта, когда происходит, как правило, тематизация норм общения и попытка «переговоров» — вербального решения конфликта.

6.2.4 Влияние, лидерство, инициатива

Перечисленные признаки коммуникативной инициативы не впервые привлекают внимание исследователей речевого общения и человеческого фактора в языке. Ряд критериев упоминается при описании *жесткой* дискурсивной стратегии или *дискурса авторитарной личности* [Пушкин 1989]. Для коммуникативной инициативы принципиальным оказывается ее при-

221

надлежность взаимодействию коммуникантов: владеть инициативой можно только *по отношению* к «Другому» или «Другим», в то время как дискурсивная стратегия языковой личности замыкается на «Я» говорящего, фиксируя корреляции между типом личности и ее коммуникативными привычками. Не отрицая существования такой корреляции, необходимо отметить, что личность в диалоге нельзя рассматривать изолированно, как отдельную сущность, — это противоречит принципам дискурсивной онтологии.

Другой важной категорией, близкой, но не тождественной *коммуникативной инициативе,* являются лидер и лидерство. А. А. Романов [1990] несколько иначе говорит о коммуникативных стратегиях лидера в диалоге, а В. В. Богданов [1990b] — о важной роли компетенции, т. е. трех форм знаний (энциклопедических, лингвистических и интеракционных), в обеспечении доминации и коммуникативного лидерства (что для него почти одно и то же). С последней точкой зрения трудно полностью согласиться, так как она не учитывает личностных и ситуационных параметров и предстает в виде простой алгебраической зависимости: больше знаний, значит, выше компетенция, следовательно, доминация в дискурсе и, возможно, коммуникативное лидерство. Достаточно легко привести примеры, опровергающие эту формулу: Сова в нашем примере явно имеет перевес в энциклопедических, да и лингвистических знаниях над Кристофером Робином, но вряд ли из этого можно сделать вывод о ее доминации или лидерстве. Не совсем понятным оказывается также соотношение доминации и лидерства. «*Доминантность*» традиционно относится к четырем психологическим типам коммуникабельности личности, наряду с *мобильностью, ригидностью* и *интровертностью*, причем ее главным признаком является стремление завладеть инициативой в речевой коммуникации [Гойхман, Надеина 1997: 189], хотя и в этих подходах «инициатива» понимается лишь интуитивно.

Неопределенным во всех вышеназванных работах остается соотношение коммуникативного и социально-психологического в традиционных терминах или «административного» лидерства.

Корректнее говорить о коммуникативной инициативе [ср.: о конверсационном влиянии и контроле — *conversational influence and control* — Ng, Bradac 1993: ch. 3], о том, что непосредственно дано в дискурсе, в самой ткани языкового общения. Чтобы как-то развести социальную категорию лидерства и дискурсивную — инициативы, сошлемся на простой пример: трехлетний ребенок задает своей маме вопрос за вопросом, изучая окружающий мир

[ср.: *дети, родители* и *взрослые* как «Я»-состояния — Берн 1992; Berne 1964]. Социальная психология обычно считает лидером в этом мини-социуме маму, с чем соглашается и В. В. Богданов (по подавляющему превосходству во всех
222
компонентах «знания»). Но дискурс свидетельствует о том, что вопросы ребенка в большей степени предопределяют ход коммуникации, ее тему, структуру обменов и т. п. В таком взаимодействии именно ребенок владеет коммуникативной инициативой. Но это возможно только в той мере, в какой это позволяется матерью: она фактически в любой момент может изменить ход интеракции и взять инициативу в свои руки. Этим и отличается социально-психологический лидер в группе: умением регулировать динамику коммуникативной инициативы, способностью (в широком смысле — возможностью и полномочиями) манипулировать этими процессами. Поэтому коммуникативная инициатива — это дискурсивный критерий, по которому можно и должно определять лидерство в его социально-психологическом смысле.

Пора вернуться к двум оставшимся на затопленном островке персонажам и вновь их прослушать, обращая внимание на самые яркие признаки дискурсивного воспроизводства инициативы.

С самого начала Кристофер Робин повел себя инициативно, он вообще сделал больше предписывающих речевых ходов в этом фрагменте. Сложный ход (1—3) вводит ситуативно обусловленную тему и открывает обмен, требуя ответного комментария. Важную роль играют вопросы (5) и (9), на первый взгляд, прагматически слабые переспросы, в отличие от (15), (20) и (27), но именно они становятся регулятором стиля, потому что Кристофера Робина не устраивают книжная манера речи и академическая тональность общения, предложенные Совой, и он их корректирует, вынуждая собеседницу заменить (4) на (6) и (8) на (10), что подкрепляется реактивными ходами (7) и (11), подтверждающими восприятие и приятие исправленных вариантов высказываний.

В этом фрагменте очень хорошо показана динамика тем двух говорящих, так как ключевым моментом дискурса является ввод Кристофером Робином новой, явно *его* темы высказыванием (15), прагматически весьма сильным инициативным ходом — прямым вопросом, к тому же резко, с перебиванием, взяв шаг у Совы. Не только сам ввод новой темы свидетельствует об инициативности Робина, но и агрессивная мена коммуникативных ролей, трижды не позволившая Сове закончить высказывание *at any moment* — на стыках с перебиванием (14):(15), (16):(17) и (22):(23).

Данный фрагмент завершается следующим образом: сложная реплика (23— 27) окончательно ставит Сову в пассивную позицию: ходом (23) Кристофер Робин прямо, да еще риторически усилив интенсивность побуждения эмфазой, требует от Совы выполнить интересующее его действие; ходами (24— 26) он аргументирует эту свою просьбу, довольно эгоцентрично указывая на релевантность требуемоего действия по отношению к его же теплым чувствам
223
к Винни-Пуху и опасности, грозящей последнему; наконец, ходом (27) он спрашивает Сову не столько о согласии или несогласии, сколько о понимании важности задания, как бы вынося за рамки переговоров обсуждение тезиса о необходимости выполнить (23). К слову, Кристофер Робин почаще пользуется обращениями: (1), (20), (23), (26), (27), причем все больше по мере интенсификации императивности его стратегии, направленной на собеседницу, а обращения играют важную роль как для привлечения внимания, так и в организации социально-дейктического поля, индексации межличностных и социальных отношений.

Все вместе это привело к тому, что Сова так и не раскрыла *свою* тему, так и не сохранила *свою* тональность и стилистику общения, утратила какие бы то ни было виды на инициативу в разговоре, вследствие чего ей пришлось согласиться выполнить действие в пользу Кристофера Робина.

6.3. ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАТИВНОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА

You can find in a text whatever you bring, if
you will stand between it and the mirror of
your imagination. You may not see your ears,

but they are there.
M. TWAIN, «A FABLE»

6.3.1 Этнографический протокол ситуации

Все предшествующие рассуждения иллюстрируются ниже примером реально наблюдавшегося автором эпизода общения. Вот краткое описание ситуации по принципу этнографического протокола [Emerson e. a. 1995].

Культурный контекст: первый в семестре семинар докторского (Ph. D.) уровня в американском университете штата Массачусеттс (г. Амхерст) на факультете коммуникации. Место данного фрагмента в сценарии коммуникативного события: решение «разных» организационных вопросов по окончании главной «тематической» части семинара.

Время: 17.25 (конец семинара).

Место: средних размеров аудитория, равномерно освещена, столы поставлены в форме прямоугольника так, что все присутствующие сидят лицом к центру помещения.

Состав группы: преподаватель (**D** — мужчина лет 45), 11 докторантов: **В, М, J, R, Р, S, W, А, Е, С, К.** Из них: **R, М, Р** — мужчины 24—26 лет, **W** — моложе; **S** и **J** — его ровесницы; **В, А, К** — женщины средних лет, все трое работают в университете преподавателями на других факультетах; **С** и **Е** — самые молодые девушки из принимавших участие в

224

обсуждении. Все сидят за столами.

История группы: в целом группа почти новая, в таком своем составе она встречается второй раз, но докторанты **J, R, М, Р, S, С** знакомы третий год и имеют большой опыт работы в таком составе — они входят в исследовательскую группу (более года), руководителем которой является **D**; в то же время **А** и **К** хорошо знакомы между собой (они работают вместе на кафедре педагогики, видимо, поэтому сидят рядом); **В, Е, С,** как и остальные участники, вербально не принимавшие участия, до предыдущего (первого) занятия знали друг друга поверхностно. **М** и **С** симпатизируют друг другу и сидят вместе. Цель группы: создание оптимальных условий для проведения семинарских занятий в будущем, поддержание благоприятного климата в группе через мягкое, бесконфликтное решение внутренних проблем.

Форма: устная речь.

Тональность: неформальная, непринужденная, в основном эмоционально нейтральная.

Стиль дискурса: разговорный.

6.3.2 Транскрипт

D 1: by the way,
2 did you have a chance to check the store for my NEW book?
Б 3: [[ye--
M 4: [[we went there [and--
J 5: [there were only FIVE of em,
6 sold out in a day.
D 7: i see. # озабоченно напрягает лоб #
(1.9)
8 erm the ORDER was placed TEN DAYS ago.
9 i hope by the end of the week ..eh ...
10 there'll be MORE: of THESE:: in the bookstore outlet.
@ поднимает книгу на уровень лица @
M 11: could W- could we buy a copy from you?=
R 12: =ooh::/ \ ten-dollar [special uh]? {короткий смех}
D 13: # улыбаясь # [i think: ..] i still have two or three.
14 stop by my office after the class.
(1.3) @ D начинает укладывать портфель @
P 15: Don\ ...
16 you know/ ..
@ **D** прекращает укладывать портфель, поворачивается к **P** @
17 i'm kinda-- i'm low on money this semester and_=

225

D 18: =yes\ [*Pete*/]
P 19: [i-- ..] i just wanna ask ..
20 is it possible to have one set in the library?
21 >>> i checked yesterday,=
D 22: [ah-ha/ @ **D** внимательно смотрит на **P** @
P 23 = [and they didn't have ANYTHING AT ALL from the list,
24 neither the BOOKS/ nor the PACKAGE\.
D 25: uh-ho! # удивленно #
26 there must be_ — # нахмурясь # uhm . . . { качает головой }
27 i'll arrange to put at LEAST one set in the reserve, okay:?
P 28: [[thank you.
C 29: [[this wi11 be real:: HANDY. =
E 30: =yope \ / .. it'll help.
(3.2)

Можно начать анализ данного фрагмента (в масштабе реального времени этот образец общения длился немногим менее двух минут) с вычленения единиц дискурса (трансакций, обменов, ходов) и посмотреть, чем же общение в малой группе отличается от диалога в диаде, и в каких коммуникативных формах воплотились когнитивные и психологические особенности принятия решения. Во всем этом коротком эпизоде заметно, что структурно обозначены две вполне самостоятельные трансакции (1—14) и (15—30).

6.3.3 Первая трансакция

Итак, первая трансакция (1—14) в качестве своей глобальной темы использует ситуацию, связанную с рекомендованной для обязательного чтения по данному курсу только что вышедшей книгой профессора D, которую пока еще не успели купить все участники семинара: этот предмет эксплицитно заявлен самим профессором в (2) — *my new book,* дейктически поддерживается в (5) и (10), в последнем случае демонстративно, в (11) с помощью кореферентной субституции *a copy;* в (13), вслед за (5), где был введен квантификатор, посредством эллиптической конструкции или нуль-анафоры [*zero anaphora* — Yule 1996: 23] с числительным *I still have two or three.*

Сценарий покупки нужной

Сценарий покупки нужной книги через филиал университетского магазина реконструируется в ряде высказываний. Во-первых, место называется в (2) *the store* и (10) *the bookstore outlet* и анафорически указывается в (5) *there were.* Во-вторых, эксплицирован центральный «мотив» купли-продажи предикатами в (11) *buy* и (6) *sold out.* В-третьих, в дискурсе этого эпизода выступают такие факультативные этапы сценария купли-продажи, как заказ книг преподавателем через университетский

226

магазин (8—10), что включается лексикой *the order was placed,* и распродажа ограниченного количества «авторских» экземпляров профессором D по более низкой цене (11—14), причем последняя тема хотя и вводится в (11) фразой *buy a copy from you,* но все же наиболее яркое воплощение находит в (12): *ten-dollar special,* что не просто эксплицирует цену, но и включает микросценарий «распродажа», прочно ассоциируемый со словом *special.* Таким образом, хорошо видно, как разными членами этой группы, т. е. именно коллективно конструируется коммуникативная модель события, в данном случае выстраивается речевой, дискурсивный сценарий купли-продажи книг, по которому можно судить и о соответствующей когнитивной модели.

В целом трансакция (1—14) характеризуется весьма высоким уровнем глобальной тематической когеренции, локально данный фрагмент дискурса также не страдает от семантических провалов и разрывов, хотя и не претендует на роль эталона когезии.

С интеракционной точки зрения первая трансакция может быть рассмотрена как процесс решения проблемы (здесь не надо понимающе иронизировать о неравнодушии и даже субъективной предрасположенности автора к этому жанру, просто он на самом деле чрезвычайно распространен, что нами просто не всегда осознается). Преподаватель **D** контролирует ход подготовки докторантов, что предполагает приобретение набора книг и специального пакета материалов для чтения, партия его только что опубликованной книги должна поступить в университетский магазин. На вопрос (2), который в этом контексте инференционно интерпретируется не только как запрос информации о том, есть ли его новая книга в магазине, но и о том, купили ли ее студенты, **D** получает от **J** и отчасти от **E** и **M** ответ, фиксирующий проблемную ситуацию, сущность которой сформулирована в ходах (5—6). Следующими за этим ходами **D** сначала подтверждает свое восприятие данной проблемной ситуации, где как раз возникает интерсубъективное ощущение проблемности референтной ситуации — (7), после чего он приводит оправдывающий аргумент (8), подводящий к (9—10), где опять же инференционно присутствует смысл предлагаемого **D** решения: подождать до конца недели.

На этом можно было бы и закончить, но в разговор вступает **M**, который своим ходом (11) предлагает иной вариант решения, во многих отношениях более выгодный студентам (у **D** они купят книгу раньше и дешевле), одновременно инициируя языковую игру *выгодной сделки,* что находит оценку в очень интересном ходе R (12), с одной стороны, иронично комментирующем реплику (11) посредством переноса языковой игры в плоскость социальной репрезентации *скидка,* что в США можно признать культурной универсалией, с другой стороны, уточняющем цену книги в случае прямой покупки из рук

227

профессора (этим символизируется заинтересованность **R** в аналогичной покупке). Ответ (13—14) во-первых, санкционирует сделку, но, во-вторых, ограничивает ее объем, оставляя в силе ранее предложенное **D** решение для большинства членов группы. Можно предположить, что приглашение купить книгу за $10. 00 распространяется главным образом на **M** и **R**. Согласие на этот вариант решения подкрепляется экспликацией нового места и времени покупки книги в (14), что соответствует модификации стандартного сценария *покупка учебника* в его факультативную форму *покупка авторского экземпляра* (место$_1$ — книжный филиал университетского магазина, место$_2$ — офис профессора; время$_1$ — конец недели, время$_2$ — сразу после данного занятия).

Первая трансакция как бы распадается на три части: (1—7), (8—10) и (11— 14). Каждую из этих частей можно назвать сложным **обменом,** хотя в каком-то смысле обменов здесь можно насчитать больше. В традиционных работах по дискурс-анализу не так легко найти описание обменов, включающих такое количество разнообразных ходов и актов в составе реплик, принадлежащих сразу многим участникам общения. Теория речевых актов попросту не может

справиться с таким материалом. Конверсационный анализ часто игнорирует со своей стороны собственно лингвистический разбор высказываний, куда больше внимания уделяя стыкам реплик, мене коммуникативных ролей. Анализ в рамках информационно-кодовой модели коммуникации по сути отбросил бы несколько ходов как неинформативные. Но комплексный анализ позволяет избежать этих промахов.

Первый сложный репликовый шаг состоит из двух ходов: (1) служит ярким примером **метакоммуникативного** элемента [см.: Макаров 1986; 1990: 69—74], который открывает реплику и вводит новую тему. В некоторых классификациях он называется ***дискурсным маркером*** [*discourse marker* — Stenström 1994: 63], или, точнее, — ***маркером изменения темы*** [*topic change marker* — Fraser 1996: 187; ср.: Schiffrin 1987; Blakemore 1992 и др.], в традиции Бирмингемской школы он называется ***обрамляющим*** [Зернецкий 1987: 93; *ср.: framing move —* Coulthard 1985: 123; Sinclair, Coulthard 1992: 7; Francis, Hunston 1992: 128], А. А. Романов [1988: 97] называет подобные единицы «стартерными регулятивами ввода тематической информации». С точки зрения психологической этот ход контролирует внимание собеседников, с точки зрения социальной — символизирует особую значимость следующего сразу за ним сообщения для присутствующей группы.

Центральным тематическим и прагматическим компонентом всего первого репликового шага, придающим ему семантическую наполненность и функциональную направленность, является (2) — ***вопрос*****,** у бирмингемцев это называлось бы *elicitation* [Coulthard 1985: 126; Sinclair, Coulthard 1992; Francis,

228

Hunston 1992]. Можно отметить социально мягкую форму вопроса, вежливость которого достигается направленной на максиму релевантности и предварительные условия вопроса лексической вставкой [*hedge* — см.: Brown, Levinson 1978: 169; Brown, Levinson 1987: 164] *have a chance to,* придающей непрямой характер высказыванию, ср.:

***2** did you check the store for my new book?

Сложный репликовый шаг (1—2) благодаря ходу (2) можно охарактеризовать, во-первых, как *инициативный,* а во-вторых, как *предписывающий,* т. е. задающий такие условия, в которых самым нормальным, наиболее вероятным ***реактивным*** коммуникативным ходом должен быть прямой или косвенный ответ на вопрос, иначе говоря, *предписанный* речевой акт.

В данном фрагменте очень хорошо видно, что в отличие от общения в диаде позицию реакции в структуре обмена занимают сразу несколько ходов (3), (4), (5) и (6). Нельзя недооценивать и тем более сбрасывать со счетов самый короткий, неполный ход **Е** (3), чисто информационная ценность которого не так уж велика, но его социально-психологическое значение достаточно весомо: **D** знает, что его вопрос вызвал активную реакцию, «нашел отклик в широких массах»: вероятно, **Е**, как **М** и **J**, ходила в книжный магазин и знает о сложившейся ситуации. Поскольку произошел сбой в мене коммуникативных ролей, **Е** «отказалась от слова» в пользу **М** и прервала свое высказывание, однако инференции, которые **D** и все остальные могли сделать на основании первого слога оборвавшейся реплики и более всего — на основании самого факта попытки **М** вступить в коммуникацию, изменили общий интер-субъективный эпистемический и интерактивный контекст. (3) играет одну из главных ролей, когнитивно и психологически, в рамках первого сложного обмена и всей трансакции: то, что **Е** не вступила в разговор вновь после сообщения **М** и **J** (4—6) или чуть позже, сразу после (7), когда ситуация для этого была очень благоприятной (прямо хрестоматийный пример «точки перехода» по Саксу, Щеглову и Джефферсон — *transition-relevance place:* закрытие обмена подтверждающим сигналом восприятия, пауза) дает возможность сделать вывод о непротиворечивости смысла ее несостоявшейся реплики тому, что сказали **М** и **J**.

Кстати, то, что **Е** отреклась от права голоса в пользу **М**, тоже говорит о многом, причем даже не столько о простой статусной асимметрии (возраст, пол, образование), сколько о неоднородном коммуникативно-психологическом климате коллектива, где есть ярко выраженная группа с долгой историей (напомним, что **J, R, М, Р, S, С** имеют большой опыт совместной работы и общения с **D** и меньшую социально-коммуникативную дистанцию в диало-

229

ге с ним). Здесь можно добавить наблюдение о роли местоимения *we* в (4) в создании социального коллективного образа «Я» [см.: Muhlhausler, Harré 1990] этой общности в группе, а также исключительной роли общего знания, в первую очередь, **D** и его способности к

индуктивным инференциям для снятия проблем референции, выведения экспликатуры, наполнения *we* реальным смыслом: понятно, что **М** ходил в магазин с кем-то из **J, R, М, Р, S, С;** а развитое у них чувство групповой сопринадлежности позволяет ему сказать *we* там, где любой другой американец, особенно в новой группе, употребил бы /. И все же референция *we* остается «размытой», а это уже наводит на мысль о когнитивной роли неопределенности.

Сбой в мене коммуникативных ролей, упомянутый выше и выразившийся в одновременном начале двух ответных реплик, немыслим в двустороннем общении. Такой же коммуникативной «аномалией» является коллективное авторство сложного хода (4—6), реализуемого двумя участниками в двух отдельных репликах и составляющего единую реакцию на инициацию (1—2).

Подхват на стыке **М4::J5** — это не такое уж редкое явление в групповом общении. Оно очень просто объясняемся когнитивно: в феноменологическом поле участников данного коммуникативного акта общее знание предметно-референтной ситуации и большой опыт совместной работы создают такой уровень кооперативности, что (4) моментально активирует продолжение (5), а «спусковым крючком» подхвата становится слово *there:* едва **М** произносит это слово, как вступает **J**, начиная свое высказывание с него же. Это явление встречается довольно часто: слово или короткая фраза попадают в фокус внимания и активируются столь интенсивно, что могут стать доминантой дальнейшего хода диалога, будучи наиболее доступным языковым средством в оперативной памяти. Иногда это срабатывает еще на уровне восприятия, до попадания в фокус внимания — то, что называется иконическим хранением *(iconic store)* для зрительных восприятий и эхоическим *(echoic store)* для слуховых [ср.: *multi-store model of memory* — Eysenck 1993: 69]. Визуальный или акустический образ держится в этом состоянии до 2 секунд — именно это время вербальный сигнал циркулирует по артикуляционной петле «внутреннего голоса» — вербальной репетиционной системы рабочей памяти. Поэтому, услышав вопрос, мы порой начинаем переспрашивать, хотя в тот самый момент, когда мы произносим *Что?* или *Pardon?,* мы вдруг уже хорошо осознаем, что именно нас спросили: не успев когнитивно освоить сообщение на входе, мы, не замечая того, *проиграли* его заново своим «внутренним голосом» и успешно проинтерпретировали его «эхо».

Точно так же мы иногда абсолютно автоматически, по сути бессознательно (об интенциональности и говорить не приходится) произносим что-то из
230
наиболее непосредственного контекста — то, что ближе, что «на слуху» и «вертится на языке». *There* стало в рассматриваемом примере важным «ключом контекстуализации» нового возможного мира и не случайно сыграло столь заметную роль в подхвате.

Завершает сложный ответ ход (6). Его роль видится не столь репрезентативной, как у (4—5). Ответ все равно состоялся бы без (6): (4) и (5) вполне достаточно, чтобы вычислить необходимую импликатуру, что всем книг не хватило (в теории релевантности это относится к контекстуальной импликации) но (6), несмотря на избыточность, выполняет важную риторическую функцию дискурсивного конструирования проблемной ситуации и в этом смысле намечает пути развития диалога, приведшие к (8—10). (6) в терминах теории релевантности — это независимое от контекста *усиление* или *подтверждение:* новое знание, которое слушающие получили, проинтерпретировав это высказывание, особенно его экспликатуру, подтверждает импликатуру предыдущих ходов и однозначно указывает на то, что книг в магазине не осталось, в то время как (4—5) прямо на это не указывали и не исключали маловероятной возможности того, что пара книг «завалялась».

Если (1—2) служит примером сложного инициативного хода, а (3—6) — реактивного, то (7) — это типичный образчик того, что принято называть ***откликом*** [*feedback* — Coulthard 1977; 1985; Sinclair, Coulthard 1975; 1992; Edmondson 1981; Stubbs 1983; Francis, Hunston 1992; Coulthard, Brazil 1992; Sinclair 1992; *follow-up* — Stenström 1994] или же *согласием* в не самом удачном переводе П. В. Зернецкого [1987]. В нашем фрагменте дискурса (7) нельзя интерпретировать как акт согласия, он удостоверяет лишь восприятие адресатом смысла (3—6). При этом необходимо помнить, что многие нередко путают самостоятельные **отклики** с не имеющими автономного статуса поддерживающими контакт **сигналами обратной связи** *(backchannel behaviour).* Хотя у них есть много общего, в дискурс-анализе их лучше не смешивать, как по причине различий в их функциональной нагрузке, так и вследствие их принципиально иной структурной оформленности (выделенность менами коммуникативных ролей и интонационно-просодическими средствами — среди главных отличий). Базовой структурой обмена считается

наряду с двухместной моделью **IR** *(initiation-response),* объединяющей инициативный речевой ход с реактивным, дополненная откликом трехчленная модель **IRF** *(initiation-response-feedback),* воплотившаяся с «осложнениями» в (1—7).

После (7) наступает довольно интересный момент: как выше уже отмечалось, на стыке ходов (7) и (8) образовалась отличная возможность для передачи коммуникативной роли, обозначенная как дискурсивно, так и внеязыковыми маркерами (в частности, направлением взгляда **D** и его мимикой). Но от
231
членов группы так и не поступило соответствующей инициативы, вследствие чего предыдущий говорящий **D** сохранил за собой право голоса. После заметной невокализованной паузы, которую он держал, закрыв сложный обмен (1— 7), ощутив необходимость продолжать, он еще не был готов к новому речевому акту, поэтому прибегнул к долгому вокализованному заполнителю паузы *erm*, во-первых, давшему время на когнитивную подготовку следующего хода, а во-вторых, «забронировавшему» ему право голоса, сигнализируя всем остальным о решении **D** продолжать.

Этот момент на стыке (7) и (8—10) весьма примечателен для процесса принятия решения: проблемная ситуация названа, а ее анализ и решение группа фактически отдает в компетенцию **D**, отказавшись от слова после (7).

С дискурсивной точки зрения регулятивом, которым группа воспользовалась в этом безусловно любопытном моменте, стало *коммуникативно значимое молчание* [ср.: Крестинский 1989; 1990; Богданов 1986; Tannen, Saville-Troike 1985; Jaworski 1993]. Этот маленький пример наглядно показывает, что «аудитория» в многостороннем общении играет далеко не ту пассивную роль, которую ей иногда отводят. Можно утверждать, что роль данного прагматического фактора в коллективном общении выше, чем в классическом диалоге в диаде, к аналогичному выводу пришли авторы из лионской школы дискурс-анализа [Kerbrat-Orecchioni, Plantin 1995; Kerbrat-Orecchioni 1996].

Не столь очевидной оказывается структурная роль шага (8—10), и исследователь (не первый и не последний раз) оказывается перед дилеммой: включить ли его в первый сложный обмен или выделить в какую-то самостоятельную структуру, минимально-интерактивный «кирпичик» в конструкции данного дискурса. В пользу последнего решения есть несколько доводов, хотя явного вербального обмена в его привычной форме вроде бы нет. Но (8—10) все же представляет собой реактивную часть относительно самостоятельного обмена. Что касается его инициативной части, то отсутствие ее вербальной манифестации еще не означает, что ее нет на функционально-смысловом или интерактивном уровне. Коммуникативно значимое молчание, конституирующее *нулевой* ход, насыщено импликатурами, инференционно выводимыми из $\mathbf{R_1}$ и $\mathbf{R_2}$ предыдущего обмена, а также общего фонда знаний, той его рубрики, что фиксирует права и обязанности членов группы: преподаватель сам несет ответственность за своевременный заказ учебной литературы. К тому же **D** еще и автор данного учебного пособия, поэтому он, имея дело с издательством, оказывается в позиции не только ответственного, но и наиболее осведомленного члена группы, что приводит к молчаливому, но требовательному выражению коллективных экспектаций относительно решения про-
232
блемы именно преподавателем после (7). Реакция **D** в (8—10) это подтверждает и ретроактивно наделяет молчание инициативностью.

Схематично изобразить структуру первых обменов «по-бирмингемски» можно так, обозначив инициативный ход как **I**, реактивный__ **R**,

отклик — **F:**

обмен 1	**I**	(1+2)
	R	(3-); (4 + 5 + 6)
	F	(7)
обмен 2		
	R	(8 + 9 + 10)

Но в такой вертикальной схеме теряется очень много важной для интерпретации структуры этого дискурса информации, как и во всякой попытке абсолютизировать какое-то одно измерение дискурса и провести четкие структурные границы. Надо добавить для «нулевого» хода отсутствующий у многих символ 0 [коммуникативно значимое молчание — Francis, Hunston 1992] и отдельно выписать реакции разных людей в первом обмене, главное — в

горизонтальном измерении показать инференционное формирование всех импликатур, получивших инициативность благодаря реакции (8—10):

I (1 + 2)
R_1 [(3-)
R_2 (4 + 5 + 6) } инференции
F (7)
↓
Ø (I импликатуры)
R (8 + 9 + 10)

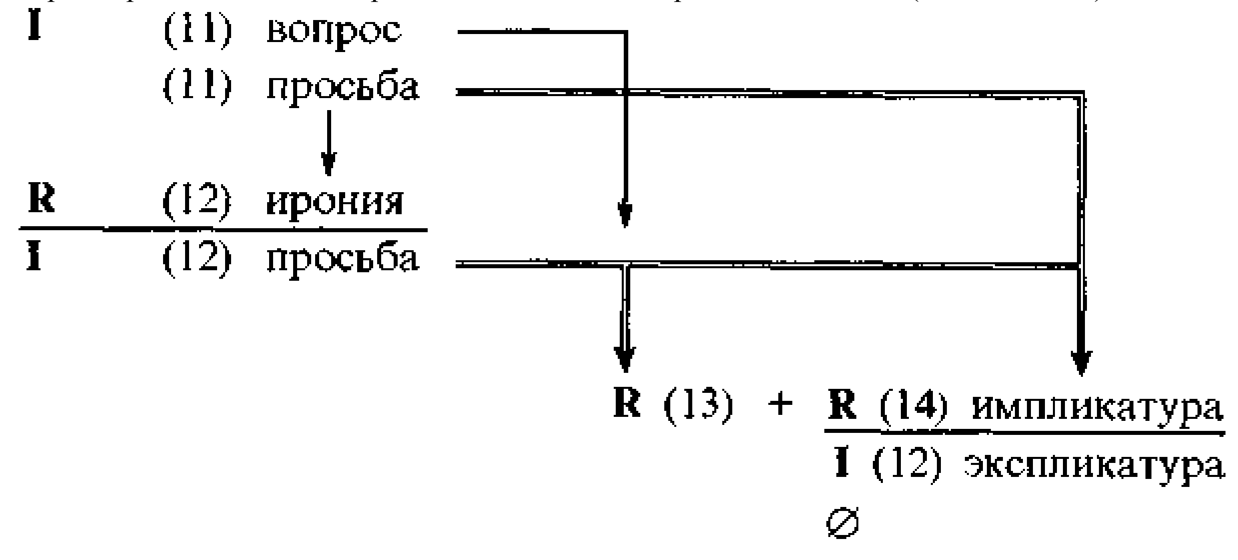
Репликовый шаг (8—10) дает нам пищу для дискурсивно-психологических размышлений. Сначала (8) риторически уводит D от ответственности: страдательная конструкция традиционно нацелена на сокрытие действующего лица [см.: *non-attribution of agency* — Brown, Yule 1983: 17]. Выделение слов *order* и *ten days* вводит новую фантазию — сценарий предварительного заказа книг в университетском магазине, предполагающий возможность его неоперативной обработки либо в издательстве, либо в магазине, но так или иначе сильно акцентированные «десять дней» должны быть, а точнее, слыть достаточным для реабилитации D сроком. Обезопасив себя социально и дискурсивно, импликатурой указав на вероятные истоки проблемы (неоперативная обработка заказа), в (9—10) преподаватель прогнозирует решение проблемы к концу недели. Отметим, что и здесь есть любопытные приемы: в (9) эписте-
233
мическая пропозициональная установка *i hope* сняла категоричность прогноза, а из всей пропозиции вербализованным в первую очередь оказалось обстоятельство времени, да и то в форме указания не на конкретный момент, а на период времени. Все эти риторические средства дискурса были подчинены минимизации обязательств, принимаемых преподавателем.

Обмен (11—14) по-своему тоже интересен, особенно в аспекте изучения специфики многостороннего общения. Реплика (11) — простой инициативный ход и полифункциональный речевой акт: во-первых, вопрос о наличии возможности купить данную книгу прямо у **D**, а во-вторых, просьба продать авторский экземпляр. Реакцией на первую функцию высказывания (11) стал ход (13), а положительный ответ на косвенную просьбу, выраженную в (11), выводится как контекстуальная импликация из (14). Главной же достопримечательностью обмена можно смело назвать ход (12), своим появлением обязанный групповому характеру разговора и заставляющий задуматься о самом смысле понятия *обмен.*

Ход (12) оказывается непросто охарактеризовать как только инициативный или только реактивный, он обладает, правда, в разной мере, обоими этими качествами: улыбка **D** по ходу (13) явно предстает в качестве реакции на инициативность (12), а пара (13—14) замыкает отношение и к (И), и к (12). Не вызывает сомнения функциональная и формальная обусловленность (12) со стороны (11): экспликатура из (12) может быть извлечена только посредством восстановления эллипсиса на основании ко-текста (11), и чисто когнитивно, даже как эмоциональная реакция, (12) обусловлен со стороны (11), а уж ирония, начиная с реактивного междометия *ooh,* может быть интерпретирована только в связи с предыдущей вопросительной просьбой. Рассматривая (11—12) в терминах теории релевантности, мы обнаружим, что они связаны отношением контекстуально зависимого усиления. По отношению к предшествующему (11) ход (12) реактивен, но по отношению к (13—14) он выполняет инициативную функцию.

Это напоминает, но лишь отчасти, подхват, похожий на то, что случилось на стыке **М4** и **J5**. Аналогия ограничивается тем, что в сложном обмене оба хода — **М 11** и **R 12** выполняют схожую инициативную роль по отношению к реактивной части (13—14). А разница состоит в том, что **J5** вполне мог бы иметь место без **М4** или же параллельно ему, фактически относительно независимо. Ни уместность R 12, ни его интерпретация независимо от **М 11** не просто маловероятны, но и практически невозможны. Поэтому и (11), и (12) рассматриваются как два самостоятельных хода, несущих качественно разную функциональную нагрузку в структуре обмена, в отличие от (4) и (5), функционально объединяющихся в одном сложном реактивном ходе.
234
Для того, чтобы наиболее полно выразить функциональное своеобразие хода (12) в структуре обмена (11—14), можно обозначить его *как* ***реактивно-инициативный*** и

схематично записать **RI**, [ср.: ***R/I***; *response/initiation* — Stubbs 1983: 131]. Реактивная импликатура — косвенный ответ на (11) и в меньшей степени (12) сосуществует с инициативной экспликатурой и в (14). Поэкспериментировав с диалогом, посмотрим, что происходит, если вдруг «убрать» ход (13), эксплицирующий предварительные условия или прагматическую пресуппозицию просьбы: единственного хода (14) оказывается вполне достаточно для нормального завершения всего обмена, что отводит акту (13) роль вспомогательного хода в сложном (13—14). Этим же следует оправдать включение (14) в данный обмен, хотя с учетом следующего за ним молчания («знака согласия») можно говорить о четвертом обмене в первой трансакции. Конец трансакции выделен экстралингвистически (действиями **D**).



На этом можно закончить обсуждение особенностей первой трансакции, сделав вывод о многомерности как функциональных, так и формально-структурных отношений различных единиц в разнообразных смысловых *плоскостях* всего совокупного объема «дискурсивного пространства».

6.3.4 Вторая трансакция

Вторая трансакция, охватывая ходы (15—30), прагматически и предметно-тематически тесно связана с первой. По предмету и глобальной теме вторая трансакция развивает первую: здесь речь все еще идет о книгах, но в этом случае — о всех, подобранных в *комплект* и сопровождаемых составленным D *пакетом* учебно-методических материалов для прохождения данного курса, чему соответствуют прямая номинация *one set* в (20), отрицательное описание *anything at all from the list* (23), почти катафорическое по форме, уточненное следующим ходом (24) *neither the books nor the package,* наконец, последнее
235
непосредственное упоминание в (27) *one set.* Но эта общая тема получает новую перспективу или точку зрения, которую привносит Р. Эта новая «тема фантазии» соответствует еще одному факультативному варианту развития модели обеспечения студентов необходимой литературой: данный дискурсивный сценарий эксплицирует норму, принятую в среде существования нашей группы, а именно — социальном институте «университет». Ее суть сводится к тому, что, несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев студенты *покупают* книги и другие материалы в магазинах университета или у старшекурсников (купить учебник у автора не столь вероятно), в принципе возможно *пользоваться библиотекой,* где должен находиться минимум один «контрольный» экземпляр каждого издания, рекомендованного для того или иного курса. В этом случае литература помещается в специальный зал *(reserve),* откуда книги не выносят, а время работы с ними ограничено. Эта ситуация и стала референтной во второй трансакции по воле Р.

Дискурсивная модель (альтернативная «сценарию покупки») использования контрольного экземпляра в библиотечном резерве реализуется не только в перечисленной выше лексике, которая указывает на комплект книг и пакет методических материалов, но и в синтаксисе бытийных конструкций с обозначением места, близких по своему грамматическому значению к конструкциям обладания: определяющим фактором для развития всей второй трансакции

явилась экспликация предиката и двух аргументов референтной ситуации в (20) — *to have one set in the library,* чем и была задана глобальная тема трансакции, получившая импульс в (23) *they didn't have anything at all,* в неполном ходе (26) *there must be —,* конструирующем деонтическую модальность нормы с анафорическим указанием на место, и наконец, в синтаксисе и лексике хода (27): *i'll arrange to put at least one set in the reserve,* чем восстанавливается норма, которая наполняется конкретным смыслом — сколько будет контрольных экземпляров и где. Связь синтаксиса и лексики в этих высказываниях очевидна — этим во многом обеспечиваются и локальная грамматическая когезия, и глобальная тематическая когеренция (минимум — в той мере, в какой это свойственно спонтанному устному разговору).

С интеракционной точки зрения и вторая трансакция может быть рассмотрена как решение проблемы. Основные фазы этого процесса как раз и соответствуют тем ходам, где синтаксически и лексически полнее представлена модель предметной ситуации: после привлечения внимания ходами (15—16) и предварительной аргументации (17), в (20) поставлен *вопрос* о возможности иметь книги в библиотеке (здесь обратим внимание на вопросительную форму, модальный оператор этой пропозициональной установки); вопрос обоснован достоверностью свежего личного опыта **P** в (21) и подводит к форму-

236

лировке проблемной ситуации в (23—24); **D** в (25) своим недоумением, в (26) мимикой и эллиптическим ходом подтверждает проблемность ситуации как следствие нарушения нормы (обратим внимание уже на повествовательный синтаксис и сдвиг модальности в сторону долженствования). Ход (27) — это вариант решения проблемы (отсюда — будущее время), его форма *tag-question* обусловлена необходимостью принятия решения **P** и всей группой, что и произошло в акте благодарности (28) и ходах (29) и (30), выражающих одобрение и коллективное принятие решения на основе консенсуса.

Вторая трансакция тоже может быть рассмотрена как ряд обменов, хотя ее структура заметно отличается от первой. Может показаться, что ее семантико-прагматическую основу составляет один сложный, диалогический обмен «просьба — обещание» в диаде между **P** и **D**, дополненный периферийными ходами **C** и **E**. Основанием для столь смелого заявления служит тот факт, что высказывания **P** в отрезке с хода (15) по (24) в смысловом отношении как бы формируют сложную «инициативную реплику», подкрепляемую *сигналами обратной связи* со стороны **D**: (18) и (22). Далее картина меняется в противоположную сторону: в (25—27) говорит уже **D**, **P** откликается в (28) и лишь после этого в дискурсе «отметились» **C** и **E**.

Однако более тщательный анализ вносит свои коррективы, и то, что кажется одним большим обменом, на самом деле должно быть рассмотрено как взаимодействие двух ***стратегий*** **P** и **D**, а не как сочленение лишь двух сложных коммуникативных ходов. В этом не так трудно убедиться, приглядевшись уже к первым ходам во второй трансакции.

Обращение, которое немногими исследователями выделяется в самостоятельный тип речевого акта *вокатив* [*Aufruf,* «вызов» — Wunderlich 1976: 77; ср.: Богданов 1989: 29; Сусов 1980], что в классификации Б. Фрейзера рассматривается как *вокативный* прагматический маркер дискурса [*vocative marker* — Fraser 1996], открывает всю трансакцию, намечая двух главных ее участников и маркируя начало первого обмена. Нелишне напомнить — сразу после первой трансакции **D** начал убирать свои бумаги со стола в портфель (недвусмысленный знак окончания коммуникативного события в целом), и обращение выполняет важнейшую функцию как контактоустанавливающий регулятив, привлекая внимание D и эксплицитно «назначая» его в качестве адресата. Обращение, произнесенное с высоким падающим тоном и отделенное паузой, имеет признаки самостоятельного метакоммуникативного хода и может быть квалифицировано как *вызов* [ср.: *summons* — Francis, Hunston 1992: 129—130; *summonsing* — Stenström 1994: 85] — один из вариантов открытия обмена *(opening)* наряду с обрамляющим и фокусирующим ходами, что характерно для метакоммуникативных обменов, организующих дискурс.

237

С точки зрения социально-психологического климата группы и ее культуры, по Э. Борману, обращение не просто (вос)создает, конструирует отношение между говорящим, адресатом и всеми остальными, оно служит важнейшим символом в человеческом общении, универсальным ключом контекстуализации, той самой «драматической фразой» или «темой фантазии», которая в одном-двух словах сконцентрировала целый социальный мир и прямо ведет к символической конвергенции, т. е. в интерсубъективное феноменологическое пространство членов речевой

общности. Обращение, пожалуй, как ни одно другое слово, инициирует так много ассоциаций, инференций, экспектаций и антиципации, и поэтому служит одним из центральных элементов социального дейксиса, что подтверждается и в данном примере ходом (15).

Итак, как дискурсивно-психологический регулятив, вызов-обращение (15) в сочетании с (16) оказался успешным. Ход (16) также по праву можно классифицировать как обрамляющий, он выполняет не тематическую, а лишь подготовительную функцию по отношению к инициативной части обмена, но не тематизирует открывающее обмен действие, как это делает фокусирующий ход [см. интересный анализ *you know* — Östman 1981]. Успех (15—16) подтверждается изменением поведения **D**, что можно было бы назвать *поведенческим* ходом [*behave* — Francis, Hunston 1992: 133], поскольку изменение деятельности **D** реактивно — как символ переключения внимания на реплику **P** и как контактоустанавливающий сигнал обратной связи, хотя могут быть и сомнения в правомочности приписывания ему статуса отдельного хода.

Ход (17) после метакоммуникативной профилактики (15—16) должен был бы быть инициативным, однако **P** прибегает к очень уж косвенной стратегии ввода темы, предварительно обосновывая ее личностную релевантность, аргументируя в (17) достаточность причин, побудивших его к вступлению в разговор. Только когнитивная модель предметной ситуации в целом, составляющая общее знание участников коммуникации, здесь может служить основанием для инференций, позволяющих установить смысловую связь между сообщением о финансовых трудностях **P** и непосредственным ко-текстом (17), особенно его правой, последующей частью, потому что **P** пользуется методом инвертированной аргументации от аргумента к тезису. Ключами контекстуализации в (17) стали лексемы *money* и *semester,* так как именно они входят (по крайней мере, потенциально) в модель покупки учебников и инициируют инференционное обеспечение оптимальной релевантности.

Косвенность стратегии **P** и его контактоустанавливающие усилия в (15—16) обусловили необходимость отклика со стороны **D**, хотя в данном контексте (18) не просто маркирует внимание к высказываниям **P**, но выражает готовность признать аргумент **P**. Своим откликом (18) **D** санкцио-

238

нирует ввод локальной темы **P**: в (18) видна легкая императивность на уровне диалогической регуляции (посмотрите на восходящую интонацию обращения *Pete).*

Получив санкцию на собственную тему и право голоса, **P** не торопится высказаться, начав с образцового *фокусирующего* хода (19). Косвенность его стратегии подкреплена фальстартом (19) и вопросительностью просьбы (20). Только после этого следует небольшой нарратив, инициация которого в (21) вновь получает положительный отклик со стороны D в маркере обратной связи (22). (23—24) завершает изложение проблемной ситуации, а слово переходит к D, поскольку именно от него ожидается оценка ситуации. И таковая следует, и даже не одна: (25) — эмоционально-аффективная оценка сообщения; (26) содержит деонтическое основание проблемности ситуации и квалифицирует ее как «нарушение нормы» благодаря слову *must*; пауза и *uhm* в сочетании с мимикой и жестами усиливают оценку и дают чуть-чуть времени для поиска варианта решения. Кстати, пауза отграничивает два «вставных» обмена (21)::(22) и (23 + 24)::(25+26) в структуре сложного обмена, функционально подчиненного коллизии между (20) и (27).

Примечательно, что и здесь пауза остается невостребованной для смены говорящих: как и в первой трансакции, только D был в позиции компетентного и главное — самого полномочного члена группы, способного решить данную проблему. Своим ходом (27) он берет на себя обязательство совершить действия, ведущие к решению проблемы: как и в (9), конструкция с глагольной заставкой *I'll arrange to put* подчеркивает отстраненность D от «не его» роли непосредственного исполнителя решающего данную проблему действия (помещения книг в резервный зал библиотеки), в чем угадывается защита «Я».

Функционально многие ходы в этой трансакции практически сводимы к макрообмену (20) : : (27) : : (28) в типовой рамке «просьба — обещание — благодарность», остальные выполняют три главных роли: поддерживающие, риторические, аргументирующие ходы в составе макроактов просьбы и обещания; метакоммуникативные ходы и ритуальные формулы вежливости.

Любопытно завершение трансакции: благодарность **P** (28) и выполняющий аналогичную функцию комментарий С (29) явно реактивны по отношению к (27), но ход (30), будучи обусловлен тем же (27), включает маркированный компонент согласия *yope,* который может

быть соотнесен только с (29), что следует и из семантики положительной оценки полезности предполагаемого обещанного действия. (30) — своего рода «эхо» предыдущего хода. Такие явления характерны для группового общения, но не для диад.

239

Не преследуя цели как можно подробнее графически «снять» структуру обменов в каждой из трансакций, сделаем несколько принципиально важных наблюдений о статусе категории *обмен* и структурности обменов.

Традиционно в научном и обыденном сознании слово *обмен* понимается довольно примитивно, если не сказать механистически, как бинарное сочетание двух соположенных действий, исходящих попеременно от двух участников взаимодействия и имеющих взаимно противоположную направленность. Это дает формально-структурное определение обмена на уровне социальных действий: если в практике выделяется акт S «просьба» по отношению к Я, за чем следует противоположно направленный акт Я «отказ» по отношению к S, то мы вроде бы вправе выделить эту структуру в качестве элементарного обмена. Даже несмотря на то, что такой подход уж очень напоминает бихевиористскую модель «стимул-реакция», он присутствует в многочисленных работах по дискурс-анализу. В довершение всего вертикальная запись дискурса как набора парных инициативных (читай — *стимулов)* и реактивных (тут и так ясно) актов или ходов создает иллюзию структурной автономности обмена. Этнометодологи попытались обойтись без термина «обмен», но их *adjacency pair* в принципе несет все те же импликации, в особенности идею пространственно-временной соположенности соседних ходов.

Из анализа ясно, что в минимальной (т. е. нечленимой далее) смысловой структуре коммуникации ходов (социальных актов) может быть более двух, соответственно, участников взаимодействия — авторов этих ходов тоже может быть более двух. Значит, не выполняются принципы бинарности и обоюдонаправленности действий. Не работает идея соположенности обменных актов: коммуникативные ходы, входя в функционально-смысловое отношение обмена, не обязательно располагаются непосредственно один за другим.

В то же время не стоит отказываться от термина *обмен,* на это нет причин. Надо только лишь перенести центр тяжести в его определении с формально-структурных критериев на другие — функционально-смысловые. Весь анализ общения в группе показывает, что *«обменные»* отношения замыкают цикл (вос)производства интерсубъективности в комплексе социальных интеракций, действительно происходит «обмен» символических смыслов, имеющих социально-культурную и психологическую отнесенность. Такая точка зрения на обмен характеризует его в качестве «элементарной единицы» переговоров о тех смысловых проекциях «Я», которые упоминались выше в критическом обзоре идей символического интеракционизма. С точки зрения языка и когнитивности, как раз в обмене сосредоточена игра активации и внимания, динамика фокуса и локальной темы.

240

Говоря о структуре обменов, следует прежде всего отметить ее многомерность, исчезающую в рисунке примитивных схем типа **IR, I(RI)R, IRF, I(RI)RF.**

Так не только недопустимо упрощается весь комплекс связей между двумя (и более) высказываниями, но и создается иллюзия смысловой самодостаточности обменов, их функциональной или структурной самостоятельности. Весь предшествующий анализ показал, что то или иное речевое действие обусловлено не только, а иногда и не столько своим «стимулом», сколько целым предыдущим обменом, широким дискурсивным ко-текстом или внелингвистическим контекстом, инференциями, выводимыми из высказываний, молчания, опыта, эмоций, перцептивной и социально-когнитивной сфер психики коммуникантов. В этом смысле обменные отношения интерсубъективности или коллективной рефлективной мыследеятельности связывают ходы (20) и (27) как просьбу и обещание. Именно поэтому (20) в большей мере определяет и *стимулирует* (27), чем (21) или (24). Принципиально тот же механизм действует и на локальном уровне в обменах типа (21—22), где контактная обусловленность одного коммуникативного хода другим предстает как некоторая психофизиологическая данность, как непосредственная *реакция.* И все же корректнее даже в таких случаях рассматривать обменный механизм как своего рода *переговорное* устройство для поддержания «баланса» личностных проекций в коллективном феноменологическом поле.

* * *

В шестой главе мы имели возможность увидеть, как мысль посредством коммуникации,

определенные конвенции и институты становится социальной. При этом из средств речевой символизации социально-психологической «дистанции» прежде всего выделим различные аспекты социального дейксиса, корреляции формальности, предварительной подготовленности, «сильного» и «слабого» стиля с отношениями статуса, власти и солидарности.

Понятие *коммуникативная инициатива* позволяет раскрыть динамику социальных отношений и уточнить ряд традиционных понятий: лидерство, тип языковой личности, тип коммуникабельности. Коммуникативная инициатива — это охватывающий широкий круг речевых явлений дискурсивно-психологический фокус онтологически единой коммуникативной сущности, объединяющей участников общения и сам диалог.

Главными выводами из анализа фрагмента речевого события можно считать подтверждение основных идей работы о наличии когнитивно-интеракционных оснований или коррелятов у главных единиц дискурс-анализа, в частности, у обмена и трансакции; а также о возможности дискурсивно-пси-

241

хологического переосмысления коммуникации в свете идей социального конструкционизма, преодолевающего рационализм традиционных схем. Дискурсивное конструирование личностных версий социального мира отражает когнитивную предрасположенность личности или группы в конкретный момент коллективной мыследеятельности. Такой подход позволяет уточнить и исправить целый ряд коммуникативно-лингвистических «аксиом».

Во-первых, *обмен* не должен рассматриваться как формальное двуединство обоюдонаправленных актов: новое функционально-смысловое определение данной единицы допускает коллективное авторство обмена тремя и более коммуникантами в трех и более ходах — минимальном «переговорном» блоке, поддерживающем должный уровень интерсубъективности.

Во-вторых, репертуар коммуникативных ролей участников общения оказывается намного шире и разнообразнее, чем просто *говорящий, адресат* и *слушающий.* Рост числа участников коммуникации обусловливает высокую вариативность дискурса за счет увеличения вероятных и допустимых продолжений каждого хода.

В-третьих, при этом интеракционно возрастает значение тех, кто в данный момент не принимает участия в «говорении». Все это существенно меняет регулятивные и метакоммуникативные аспекты дискурса, увеличивая полифункциональность его элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

And the end and the beginning were always there
Before the beginning and after the end.
And all is always now. Words strain,
Crack and sometimes break, under the burden,
Under the tension, slip, slide, perish,
Decay with imprecision, will not stay in place,
Will not stay still.
T. S. ELIOT, «Burnt Norton»

Дискурс-анализ в том виде, в котором он предстал выше, является попыткой интеграции комплекса социальных наук, изучающих человека и многообразные институты общества. Методологической доминантой предпринятого опыта стало переосмысление «коммуникативной лингвистики», перенос в этом словосочетании акцента с собственно *лингвистики* на *коммуникативность.* Невозможность адекватного исследования языкового общения с позиций имманентной лингвистики, когда язык овеществляется в качестве некоторого объекта, пусть даже служащего *орудием* или *средством* общения, хранения и обмена *информацией,* обусловила другие методологические приоритеты, среди которых выделим примат коммуникации как конститутивного фактора, принцип социального конструкционизма, взгляд на социальное общение как символическое (вос)производство интерсубъективности. Коммуникативная лингвистика или, точнее, изучение языковых аспектов общения должно быть построено на новой дискурсивной онтологии. Причем для исследований, по-прежнему более всего ориентированных на язык «как таковой», абсолютно приемлемой остается традиционная точка зрения.

Главное в этом рассуждении — это то, что просто недопустимо к анализу *общения* подходить с теми же мерками и шаблонами, которыми мы привыкли описывать *язык* как систему знаков. Но именно к этим меркам и шаблонам мы настолько привыкли, мы их до того интериоризовали, что всякий другой взгляд на язык требует нешуточных когнитивных усилий и постоянной борьбы с *естественной* установкой. Поэтому так важно тщательно решать вопросы методологического характера при переходе от изучения «языка в себе» к «языку в нас», а потом уже и исследованию «нас в языке».

В этом контексте важным и весьма поучительным оказался синтез научных идей, зародившихся в философии, этнографии, социологии, психологии и языкознании, относительно процессов коммуникации, их связи с личностью и социальной структурой, культурой, идеологией и т. д. Закономерен

243

выбор тех научных направлений и традиций, что были проанализированы в данной работе, впрочем, и сам порядок их освещения нельзя назвать случайным. Феноменология обеспечивает расширенное основание научности и примат качественного, интерпретативного анализа. Символический интеракционизм определяет сдвиг от позитивизма информационно-кодовой модели коммуникации и ее новейшей инференционной наследницы к интеракционной, к исследованию культурного символизма в общении; причем современные опыты интеракционизма все более смыкают его с феноменологической традицией в контексте постструктурализма и постмодернизма. В конструктивизме привлекает приоритет интерпретативности как первоосновы социально-психологического фундамента общения и деятельности людей, трактовка интеракции и коммуникации как процессов координации людьми индивидуальных стратегий — это придает когнитивистскую углубленность анализу языкового общения. Социальный конструкционизм определяет конститутивную роль общения, позволяет взглянуть на проблему репрезентативности по-новому, пересмотреть эвристическую роль понятий *отражение* и *информация.* Своеобразное развитие этих идей можно найти в теории социальных представлений и дискурсивной психологии, каждая из которых знаменует собой «дискурсивный переворот» в целом комплексе социальных наук.

Дискурс-анализ, следуя определению, интегрирующему его форму и функции, неизбежно включает в диапазон исследуемых вопросов феномены социально-психологического и культурного, антропологического и этнографического свойства. «Лингвистика речи» должна быть теоретически чувствительна к методологии сбора и анализа материала, проблемам сегментации и обработки речевого потока. Выделение единиц дискурса, сначала имевшее место

в лингвистически ориентированной бирмингемской школе, получает социально-когнитивное обоснование. К тому же многие положения наполняются новым содержанием, например, *обмен* не должен пониматься механистически как обоюдонаправленное бинарное сочетание двух соположенных и взаимообусловленных актов (напоминающее бихевиористскую модель *S — R),* обменные отношения замыкают элементарный цикл (вос)производства интерсубъективности, причем это может осуществляться более чем двумя репликами и более чем двумя участниками. Эти отношения не должны определяться по формально-лингвистическим признакам, это уже сфера символических смыслов, имеющих социально-культурную и психологическую отнесенность.

Более традиционные понятия и категории коммуникативной лингвистики, такие как *референция, пресуппозиция, инференция,* также подвергаются пересмотру и уточнению с антропоцентрических позиций социально-когни-
244
тивной психологии, учитывающей представление общения как сложного координационного процесса, нацеленного на установление и поддержание интерсубъективности в каждом конкретном коммуникативном эпизоде, в каждой интеракции.

Понятие коммуникативной инициативы уточняет в дискурсивном плане многое из того, что обычно рассматривалось под общими *лидерство, власть, влияние, регулятивность* и *компетенция.* Коммуникативная инициатива — это дискурсивная категория, позволяющая делать социально-психологические выводы о коммуникантах и их межличностном, социальном влиянии.

Пересмотру и уточнению многих понятий и представлений явно способствует взгляд на языковое общение как коллективное действие, предполагающее со-участие членов социума — совокупного субъекта общения. Такой взгляд на двусторонний или многосторонний диалог соответствует интеракционной модели общения и более рельефно высвечивает интерпретативную и регулятивную активность всех коммуникантов, включая тех, кто не занят в данный момент речепроизводством (именно инициативная роль *говорящего* принималась в качестве аксиомы большинством предшествующих подходов).

В заключение можно поразмышлять о путях и перспективах развития ***дискурс-анализа*** как важного междисциплинарного исследовательского поля. Думается, основные тенденции просматриваются уже сегодня.

Очевидно, по-прежнему важной составляющей современной науки останутся исследования, восходящие к этнографии коммуникации в традициям Дж. Гамперца, причем внедрение современных идей вроде принципа социального конструкционизма в культурологический анализ речи, приверженность полевым методам этнографических исследований и стремление к изучению различных, но неизменно «живых», существующих *в контексте* этносов и социумов сулит этому направлению много интересного.

Возможно, с этим направлением постепенно будут смыкаться культурно-психологические исследования, с одной стороны, и когнитивно-лингвистические штудии «семантических примитивов» в духе А. Вежбицкой, с другой. К данным исследованиям вплотную подходят разнообразные опыты по лингвокультурологии. В психологии довольно близко к ним оказывается теория социальных представлений. Она готовит рост критического дискурс-анализа, имеющего ярко выраженную социально-политическую нацеленность. С этим направлением, в свою очередь подпитывающимся от когнитивной лингвистики и дискурсивной психологии, связаны большие надежды на выход науки о языке из изоляции и рост ее общественной значимости в ближайшем будущем, особенно по мере повышения роли коммуникативных институтов в социальном устройстве общества постмодерна.
245
Личность («Эго») также будет все тоньше и глубже изучена с помощью дискурсивно-психологических методов. Этот подход к языку и речи как индивидуально- и социально-психическому, вероятно, сможет найти реализацию в практической психологии и психотерапии. По всей видимости, не обойдет это явление и литературоведение. В этой точке соприкосновения разных дисциплин весьма вероятным представляется участие современной герменевтики.

Наконец, изучение языка и дискурса в коммуникативных системах различной функциональной направленности получит новый импульс по мере ввода в общественную практику новых коммуникативных технологий и новых форм социальных организаций, новых

институтов (адвент *технологического* дискурс-анализа).

В целом же, дискурс-анализ представляется широким и перспективным направлением как в изучении языкового общения, так и во всем цикле социальных наук, и именно принадлежность к этому направлению определяет место данного исследования и его роль в системе научного знания.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамов С. Н. Герменевтика, интерпретация, текст // Studia Linguistica 2. — СПб., 1996. — С. 114—119.
Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка: К вопросу о предмете социолингвистики. — Л., 1975.
Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. — СПб., 1994.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. — М., 2001.
Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 1980.
Апресян Ю. Д. Перформативы в грамматике и словаре // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. — 1986. — Т. 45, № 3. — С. 208—223.
Аринштейн В. М. Почему *man* звучит гордо, а *woman* пренебрежительно? // Studia Linguistica 2. — СПб., 1996. — С. 29—37.
Арутюнова Н. Д. Национальное сознание, язык, стиль // Лингвистика на исходе XX века. Тез. докл. междунар. конф. — М., 1995. — Т. 1. — С. 32—33.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. — М., 1976.
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — М., 1998.
Архипов И. К. О демистификации и демифологизации языка // Studia Linguistica 2. — СПб., 1996. — С. 8—14.
Базылев В. Н. Новая метафора языка (семиотико-синергетический аспект): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. — М., 1999.
Баранов А. Н., Сергеев В. М. Естественноязыковая аргументация в логике практического рассуждения // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. — М., 1988(b). — С. 94—119.
Баранов А. Н., Сергеев В. М. Когнитивные механизмы онтологизации знания в зеркале языка (к лингвистическому изучению аргументации) // Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та. Труды по искусственному интеллекту. — Вып. 793: Психологические проблемы познания действительности. —Тарту, 1988(a). — С. 21—41.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
Барт Р. Мифологии. — М., 1996.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
Бахтин М. М. Человек в мире слова. — М., 1995.
Бейкер А. Пресуппозиция и типы предложений // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 16: Лингвистическая прагматика. — М., 1985. — С. 406—418.
Белл Р. Т. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы. — М., 1980.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М., 1974.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М., 1995.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. — СПб., 1992.
Бисималиева М. К. О понятиях «текст» и «дискурс» // Филологические науки. — 1999. — № 2. — С. 78—85.
Блумфилд Л. Язык. — М., 1968.
Богданов В. В. Иллокутивная функция высказывания и перформативный глагол // Содержательные аспекты предложения и текста. — Калинин, 1983. — С. 27—38.
247
Богданов В. В. Классификация речевых актов // Личностные аспекты языкового общения. — Калинин, 1989. — С. 25—37.
Богданов В. В. Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство // Язык, дискурс и личность. — Тверь, 1990(b). — С. 26—31.
Богданов В. В. Молчание как нулевой речевой акт и его роль в вербальной коммуникации // Языковое общение и его единицы. — Калинин, 1986. — С. 12—18.
Богданов В. В. Перформативное предложение и его парадигмы // Прагматические и семантические аспекты синтаксиса. — Калинин, 1985. — С. 18—28.
Богданов В. В. Речевое общение: прагматические и семантические аспекты. — Л., 1990(a).
Богданов В. В. Текст и текстовое общение. — СПб., 1993.
Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов. Дис. ... докт. филол. наук. — Калинин, 1985.
Богушевич Д. Г. Единица, функция, уровень: К проблеме классификации единиц языка. — Минск, 1985.
Богушевич Д. Г. Опыт классификации эпизодов вербального общения // Языковое общение: Процессы и единицы. — Калинин, 1988. — С. 13—21.
Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. — М., 1963.
Бойкова Н. Г., Коньков В. И., Попова Т. И. Устная речь. — Л., 1988.
Бондарко А. В. Функциональная грамматика. — Л., 1984.
Борботько В. Г. Элементы теории дискурса. — Грозный, 1981.
Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. — М., 1978.
Бурдье П. Социология политики. — М., 1993.
Бюлер К. Теория языка: Репрезентативная функция языка. — М., 1993.
Васильев Л. Г. Семиологические характеристики языкового общения // Личностные аспекты языкового общения. — Калинин, 1989. — С. 104—112.
Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика. — М., 1990.
Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. — М., 2001.
Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1997.
Вендлер 3. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 16: Лингвистическая прагматика. — М., 1985. — С. 238—250.
Венцов А. В., Касевич В. Б. Проблемы восприятия речи. — СПб., 1994.

Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 16: Лингвистическая прагматика. — М., 1985. — С. 79—128.

Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. — Волгоград, 1997.

Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. — Л., 1929.

Выготский Л. С. Психологические исследования. — М., 1934.

Выготский Л. С. Собрание сочинений. — М., 1982.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981.

Гамперц Дж. Типы языковых обществ // Новое в лингвистике. — Вып. 7: Социолингвистика. — М., 1975. — С. 182—198.

Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. — М., 1996.

Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. — М., 1992.

Гиндин С. И. Что такое текст и лингвистика текста //Аспекты изучения текста. — М., 1981. — С. 25—32.

Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации. — М., 1997.

Гончаренко В. В., Шингарёва Е. А. Фреймы для распознавания смысла текста. — Кишинев, 1984.

Горелов И. Н. Вопросы теории речевой деятельности. — Таллин, 1987.

248

Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 16: Лингвистическая прагматика. — М., 1985. — С. 217—237.

Гудков Д. Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения. — М., 2000.

Гуревич П. С. Философская антропология. — М., 1997.

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. — Новочеркасск, 1994.

Девкин В. Д. Диалог: Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской. — М., 1981.

Дейк Т. А. ван. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 8: Лингвистика текста. — М., 1978. — С. 259—336

Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. — М., 1989.

Дейк Т. А. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. — М., 1988. — С. 153—211.

Дейк Т. А. ван. Принципы критического анализа дискурса // Перевод и лингвистика текста. — М., 1994. — С. 169—217.

Декарт Р. Избранные произведения. — М., 1950.

Дементьев В. В. Непрямая коммуникация и ее жанры. — Саратов, 2000.

Джонсон-Лэрд Ф. Процедурная семантика и психология значения // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. — М., 1988. — С. 234—257.

Дильтеи В. Описательная психология. — СПб., 1996.

Донцов А. И., Емельянова Т. П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. — М., 1987.

Дресслер В. Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8: Лингвистика текста. — М., 1978. — С. 111—137.

Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы семиосоциопсихологии. — М., 1984.

Дридзе Т. М. Язык и социальная психология. — М., 1980.

Дэвидсон Д. Истина и значение // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 18: Логический анализ естественного языка. — М., 1986. — С. 99—120.

Дюркгейм Э. Социология: ее предмет, метод, предназначение. — М., 1995.

Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. 1. — М., 1960. — С. 264—389.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. — М., 1996.

Жалагипа Т. А. Коммуникативный фокус в английской диалогической речи. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Л., 1988.

Жинкин Н. И. Речь как проводник информации, — М., 1982.

Залевская А. А. Информационный тезаурус человека как база речемыслительной деятельности // Исследование речевого мышления в психолингвистике. — М., 1985. — С. 150—171.

Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. — М., 1976.

Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. — М., 1981.

Зернецкий П. В. Единицы речевой деятельности в диалогическом дискурсе // Языковое общение: Единицы и регулятивы. — Калинин, 1987. — С. 89—95.

Зернецкий П. В. Лингвистические аспекты теории речевой деятельности // Языковое общение: процессы и единицы. — Калинин, 1988. — С. 36—41.

Каменская О. Л. Текст и коммуникация. — М., 1990.

Карасик В. И. Язык социального статуса. — М., 1992.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987.

Касевич В. Б. Буддизм. Картина мира. Язык. — СПб., 1996.

Касевич В. Б. Культурно-обусловленные различия в структурах языка и дискурса / Докл. на XVIth Intnl. Congress of Linguists. — Paris, July 20—25, 1997.

249

Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. — М., 1988.

Кацнельсон С. Д. О теории лингвистических уровней // Дискуссия о системности в языке. — М., 1962. — С. 32—41.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. — Л., 1972.

Кибрик А. А. Когнитивные функции и их языковые корреляты // Лингвистика на исходе XX века. Тез. междунар.

конф. — М., 1995.—Т. 1. — С. 216—217.

Кибрик А. Е. Куда идет современная лингвистика // Лингвистика на исходе XX века. Тез. междунар. конф. — М., 1995. —Т. 1. — С. 217—219.

Кибрик А. Е. Лингвистические предпосылки моделирования языковой деятельности // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. — М., 1987. — С. 33—52.

Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. — М., 1999.

Киселёва Л. А. Вопросы теории речевого воздействия. — Л., 1978.

Клюканов И. Э. Единицы речевой деятельности и единицы языкового общения // Языковое общение: процессы и единицы. — Калинин, 1988. — С. 41—47.

Клюканов И. Э. Языковая личность и интегральные смысловые образования (на англ. яз.) // Язык, дискурс, личность. — Тверь, 1990. — С. 69—73.

Кобрина Н. А. Функциональная модель языка // Взаимодействие языковых единиц различных уровней.—Л., 1981. — С. 30—45.

Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. — М., 1984.

Кольцова В. А. Общение и познавательные процессы // Познание и общение. — М., 1988. — С. 10—23.

Комина Н. А. Коммуникативно-прагматический аспект английской диалогиче-ской речи. Дис. ... канд. филол. наук. — Калинин, 1984.

Коул П. Референтная непрозрачность, атрибутивность и перформативная гипотеза // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 13: Логика и лингвистика: проблемы референции. — М., 1982.— С 391-405.

Крестинский С. В. Интерпретация актов молчания в дискурсе // Язык, дискурс, личность. — Тверь, 1990. — С. 38-45.

Крестинский С. В. Коммуникативная нагрузка молчания в диалоге // Личностные аспекты языкового общения. — Калинин, 1989. — С. 92—98.

Кристал Д., Дэйви Д. Стилистический анализ // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 9: Лингвостилистика. — М., 1980.— С. 148—171.

Кубрякова Е. С. Память и ее роль в исследовании речевой деятельности // Текст в коммуникации. —М., 1991. — С. 4—21.

Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. — М., 1995. — С. 141—238.

Кубрякова Е. С., Демьянков В. 3., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов. — М., 1996.

Кучинский Г. М. Диалог в процессе совместного решения мыслительных задач // Проблема общения в психологии. — М., 1981. — С. 92—121.

Кучинский Г. М. Психологический анализ содержания диалога при совместном решении мыслительной задачи // Психологические исследования общения. — М., 1985. — С. 252—264.

Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. — Вып. 7: Социолингвистика. — М., 1975. — С. 96—181.

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. — М., 1990. — С. 387—415.

Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. — М., 1976.

Леви-Строс К. Структурная антропология. — М., 1985.

250

Леонтьев А. А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации // Синтаксис текста. — М., 1979. — С. 18—36.

Леонтьев А. А. Надгробное слово «чистой» лингвистике // Лингвистика на исходе XX века. Тез. докл. междунар. конф. — М., 1995. — Т. 2. — С. 307—308.

Леонтьев А. А. Психология общения. — Тарту, 1974.

Лингвистический Энциклопедический Словарь — М., 1990.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М., 1984.

Лотман Ю. М. Асимметрия и диалог // Труды по знаковым системам. — Тарту, 1983. — Вып. 16.— С. 15—30.

Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. — М., 1975.

Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991.

Макаров М. Л. Выбор шага в диалоге: Опыт эксперимента // Слово и текст в психолингвистическом аспекте. — Тверь, 1992. — С. 129—134.

Макаров М. Л. Использование языка в регламентной функции (на материале заседаний парламетских организаций). Дис. ... канд. филол. наук. — Калинин, 1987.

Макаров М. Л. Коммуникативная структура текста. — Тверь, 1990(a).

Макаров М. Л. Метакоммуникативные единицы регламентного общения // Языковое общение и его единицы. — Калинин, 1986. — С. 66—71.

Макаров М. Л. Ролевые установки и понимание в групповом общении // Психолингвистические проблемы семантики.— Тверь, 1990(b). — С. 116—121.

Макаров М. Л. Социально-дейктическое измерение стиля // Языковое общение: Процессы и единицы. — Калинин, 1988. — С. 76—81.

Макколи Дж. Д. О месте семантики в грамматике языка // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 10: Лингвистическая семантика. — М., 1981. — С 235—301.

Маслова В. А. Введение в лингвокультурологию. — М., 1997.

Мецлер А. А. Прагматика коммуникативных единиц. — Кишинев, 1990.

Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. — М., 1996.

Мечковская Н. Б. Язык и религия. — М., 1998.

Миловидов В. А. От семиотики текста к семиотике дискурса. — Тверь, 2000.

Минский М. Фреймы для представления знаний. — М., 1979.

Москальская О. И. Грамматика текста. — М., 1981.
Мурзин Л. Н. Проблемы и направления современной лингвистики. — Пермь, 1992.—Т. 1.
Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения. — М., 1988.
Ницше Ф. Сочинения: В 2-х томах. Т. 1. — М., 1990.
Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. — М., 1983.
Ньюмейер Ф. Дж. Спор между формализмом и функционализмом в лингвистике и его разрешение // Лингвистика на исходе XX века. Тез. докл. междунар. конф. — М., 1995. — Т. 2. — С. 386—388.
Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. — М., 1994.
Остгоф Г., Бругман К. Предисловие к книге «Морфологические исследования в области индоевропейских языков» // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. — М., 1960. — С. 153—164.
Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986. — С. 22—130.
Павилёнис Р. И. Проблема смысла: Современный логико-философский анализ языка. — М., 1983.
Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: референциальные аспекты семантики местоимений. — М., 1985.
251
Панкрац Ю. Г. Пропозициональные структуры и их роль в формировании языковых единиц разных уровней. — М.; Минск, 1992.
Панфилов В. 3., Якушкин Б. В., Исаев М. И. и др. Онтология языка как общественного явления. — М., 1983.
Петров В. В. Структуры значения (логический анализ). — Новосибирск, 1979.
Платон. Сочинения. — М., 1968.
Постовалова В. И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. — М., 1982.
Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М., 1976.
Почепцов Г. Г. Фатическая метакоммуникация // Семантика и прагматика синтаксических единств. — Калинин, 1981. — С. 52—59.
Почепцов О. Г. Основы прагматического описания предложения. — Киев, 1986.
Пропп В. Я. Морфология сказки. — Л., 1928.
Пушкин А. А. Прагмалингвистические характеристики дискурса личности // Личностные аспекты языкового общения. — Калинин, 1989. — С. 45—54.
Пушкин А. А. Способ организации дискурса и типология языковых личностей // Язык, дискурс, личность. — Тверь, 1990. — С. 50—60.
Радзиховский Л. А. Диалог как единица анализа сознания // Познание и общение. — М., 1988. — С. 24—35.
Радзиховский Л. А. Проблема диалогизма сознания в трудах М. М. Бахтина // Вопросы психологии — 1985. — № 6. — С. 103—116.
Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. — Киев, 1997.
Реферовская Е. А. Коммуникативная структура текста в лексико-грамматическом аспекте. — Л., 1989.
Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. — М., 1995.
Рикёр П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры. — М., 1990. — С. 416-434.
Романов А. А. Коммуникативные стратегии лидера в диалогическом общении // Этнопсихолингвистические аспекты речевого общения: Тез. докл. совещания-семинара. — Самарканд, 1990. — С. 34—35.
Романов А. А. Прагматические особенности перформативных высказываний // Прагматика и семантика синтаксических единиц. — Калинин, 1984. — С. 86—92.
Романов А. А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения. — М., 1988.
Ромашко С. А. Язык как деятельность и лингвистическая прагматика // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. — М., 1984. — С. 137—145.
Руденский Е. В. Социальная психология. — М.; Новосибирск, 1997.
Сергеева В. И. Предложение-высказывание в коммуникативно-языковом процессе. — Тверь, 1993.
Сёрль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986(b). — С. 170—194.
Сёрль Дж. Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986(c). — С. 195—222.
Сёрль Дж. Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986(a). — С. 151—169.
Сёрль Дж. Р., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 18: Логический анализ естественного языка. — М., 1986. — С. 242—264.
252
Сиротинина О. Б. Русская разговорная речь. — М., 1983.
Скребнев Ю. М. Введение в коллоквиалистику. — Саратов, 1985.
Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка.—М., 1981.
Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. — М., 1971.
Сосаре М. В. Логико-смысловая организация дискурса // Сб. научных трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. — М., 1982. — Вып. 186. — С. 78—88.
Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. — М., 1977.
Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. — М., 1981.
Столнейкер Р. С. Прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 16: Лингвистическая прагматика. — М., 1985. — С. 419—438.
Стросон П. Ф. Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986. — С. 130—150.

Стросон П. Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 13: Логика и лингвистика. — М., 1982. — С. 55—86.

Сусов И. П. Коммуникативно-прагматическая лингвистика и ее единицы // Прагматика и семантика синтаксических единиц. — Калинин, 1984. — С. 3—12.

Сусов И. П. О двух путях исследования содержания текста // Значение и смысл речевых образований. — Калинин, 1979. — С. 90—103.

Сусов И. П. Общее зыкознание. — Ч. 2: Европейское и американское языкознание 19— 20 вв. — Тверь, 1997.

Сусов И. П. Семантика и прагматика предложения. — Калинин, 1980.

Сусов М. П. Семиотика и линвистическая прагматика // Язык, дискурс, личность. — Тверь, 1990. — С. 125—133.

Сухих С. А. Типология языкового общения // Язык, дискурс и личность. — Тверь, 1990. — С. 45—50.

Сухих С. А. Языковая личность в диалоге // Личностные аспекты языкового общения. — Калинин, 1989. — С. 82—87.

Тарасов Е. Ф. Проблемы теории речевого общения. — М., 1992.

Тард Г. Социальная логика. — СПб., 1996.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М., 2000.

Тураева 3. Я. Лингвистика текста. — М., 1986.

Федосюк М. Ю. Неявные способы передачи информации в тексте. — М., 1988.

Филиппов К. А. Лингвистика текста и проблемы анализа устной речи. — Л., 1989.

Франк Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986. — С. 363—373.

Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Вып. 8. — М., 1977. — С. 181—210.

Фрумкина Р. М. Самосознание лингвистики — вчера и завтра // Изв. АН. — Сер. лит. и яз. — 1999. — Т. 58, №4. — С. 28—38.

Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996(a).

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. — М., 1996(b).

Хаймс Д. Этнография речи // Новое в лингвистике. — Вып. 7: Социолингвистика. — М., 1975. — С. 42—95.

Харитонов А. Н. Переопосредствование как аспект понимания в диалоге // Познание и общение. — М., 1988. — С. 52—63.

Чарняк Ю. Умозаключения и знания // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 12: Прикладная лингвистика. — М., 1983, —Ч. 1. — С. 171—207.—Ч. 2. — С. 272—317.

253

Чахоян Л. П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка. — М., 1979.

Чупина Г. А. Принцип деятельности и язык: Философско-методологический анализ. — Красноярск, 1987.

Чхетиани Т. Д. Метакоммуникативные сигналы слушающего в фазе поддерживания речевого контакта // Языковое общение: Единицы и регулятивы. — Калинин, 1987. — С. 103—107.

Шахнарович А. М. Прагматика текста: психолингвистический подход // Текст в коммуникации. — М., 1991. —С. 68—81.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. — М.; Волгоград, 2000.

Шенк Р. Обработка концептуальной информации. — М., 1980.

Шмидт 3. Й. «Текст» и «история» как базовые категории // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 8: Лингвистика текста. — М., 1978. — С. 89—111.

Шпербер Д.. Уилсон Д. Релевантность // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. — М., 1988. — С. 212—233.

Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. — СПб., 1996.

Щедровицкий Г. П. Избранные труды. — М., 1995.

Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. — М., 1997.

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. — Л., 1974.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — СПб., 1998.

Энгельс Ф. Диалектика природы // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. — 2-е изд. — Т. 20. — М., 1955—1981. —С. 339—626.

Эрвин-Трипп С. М. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия // Новое в лингвистике. Вып. 7: Социолингвистика. — М., 1975. — С. 336—362.

Юм Д. Трактат о человеческой природе. — Книга первая: О познании. — М., 1995.

Якобсон Р. О. К языковой проблематике сознания и бессознательного // Бессознательное: Природа, функции и методы исследования. — Тбилиси, 1978. — Т. 3. — С. 156—167.

Якубинский Л. П. Избранное: Язык и его функционирование. — М., 1986.

Akmajian A. et al. (eds.) Linguistics: An Introduction to Language and Communication. — Cambridge, MA, 1995.

Allwood J. Linguistic Communication as Action and Cooperation: A Study in Pragmatics. — Göteborg, 1976.

Althusser L. Lenin and Philosophy and Other Essays. — New York, 1971.

Altmann G. T. M. (ed.) Cognitive Models of Speech Processing: Psycholinguistic and Computational Perspectives. — Cambridge, 1990.

Altmann G.T.M., Shillcock R. (eds.) Cognitive Models of Speech Processing: The Second Sperlonga Meeting. — Hillsdale, 1993.

Anderson J. The Architecture of Cognition. — Cambridge, MA, 1983.

Anderson J., Bower G. H. Human Associative Memory. — Washington, 1973.

Arens E. The Logic of Pragmatic Thinking: from Pierce to Habermas. — Atlantic Highlands, 1994.

Arundale R. B. A Conversational Perspective on Grice's Maxims and Conversational (née Cooperative) Principle: Implications for Reconstructing Politeness Theory // Paper presented at the 5th Intnl. Pragmatics Association Conference. — Mexico, July 4—9, 1996.

Atkinson J. M. Understanding formality: The categorization and production of «formal interaction» // The British Journal of Sociology. — 1982. — Vol. 33 (1). — P. 86—117.

Atkinson J. M., Heritage J. (eds.) Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis. — Cambridge, 1984.

Austin J. L. How to Do Things with Words. — Oxford, 1962.

254

Auwera J. van der Pragmatic presupposition: Shared beliefs in a theory of irrefutable meaning // Syntax and Semantics. — Vol. 11: Presupposition. — New York, 1979. — P. 249—264.

Bach K., Harnish M. R. Linguistic Communication and Speech Acts. — Cambridge, MA, 1979.

Baddeley A. D. Working Memory. — Oxford; New York, 1986.

Ballmer T. T. (ed.) Linguistic Dynamics: Discourses, Procedures, and Evolution. — Berlin; New York, 1985.

Ballmer T. T. Biological Foundations of Linguistic Communication: Towards a Biocybernetics of Language. — Amsterdam; Philadelphia, 1982.

Ballmer T. T. Context change and its consequences for a theory of natural language // Possibilities and Limitations of Pragmatics. — Amsterdam, 1981. — P. 17—55.

Ballmer T. T. Frames and context structures: A study in procedural context semantics with linguistic applications in sentence- and textlinguistics // Zum Thema Sprache und Logik: Ergebnisse einer interdisziplinären Diskussion. — Hamburg, 1980. — S. 281—334.

Ballmer T. T., Brennenstuhl W. Speech Act Classification: A Study in the Lexical Analysis of English Speech Activity Verbs. — Berlin, 1981.

Barthes R. An introduction to the structural analysis of narrative // New Literary History. — 1974. — Vol. 6. — P. 237—272

Bartlett F. C. Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. — Cambridge, 1932.

Bates E. Language and Context. — New York, 1976.

Baudrillard J. The Ecstasy of Communication. — New York, 1988.

Bavelas J. B. Quantitative versus qualitative? // Social Approaches to Communication. — New York; London, 1995. — P. 49—62.

Bavelas J. B.. Chovil N. Redefining Language: An Integrated Message Model of Language in Face-to-Face Interactions. — London; Newbury Park, 1997.

Baxter L. A., Montgomery B. M. Relating: Dialogues and Dialectics. — New York, 1996.

Bean S. S. Symbolic and Pragmatic Semantics: A Kannada System of Address. — Chicago, 1978.

Beaugrande R. de Text, Discourse and Process. — Norwood, 1980.

Beaugrande R, de. Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works. — London; New York, 1991.

Benhabib S. Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics. — New York, 1992.

Bennis W. Why Leaders Can't Lead: The Unconscious Conspiracy Continues. — San Francisco, 1990.

Berger C. R. A plan-based approach to strategic communication // Cognitive Bases for Interpersonal Communication. — Hillsdale, 1996. — P. 34—67.

Berger C. R., Bradac J. Language and Social Knowledge. — London, 1982.

Berne E. Games People Play: The Psychology of Human Relationships. — New York, 1964.

Bernstein B. Class, Codes, and Control 1: Theoretical Studies towards the Sociology of Language. — London, 1971.

Bernstein R. J. The New Constellation: The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity. — Cambridge, MA, 1992.

Berry M. Systemic linguistics and discourse analysis: A multi-layered approach to exchange structure // Studies in Discourse Analysis. — London, 1981. — P. 120—145.

Bhatia V. K. Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. — London, 1993.

Bicchieri C., Dalla Chiara M. L (eds.) Knowledge, Belief, and Strategie Interaction. — Cambridge; New York, 1992.

Billig M. Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology. — Cambridge, 1987.

Billig M. Social representations, objectification and anchoring: A theoretical analysis // Social Behaviour. — 1988. — Vol. 3. — P. 1—16.

255

Blakemore D. Relevance theory // Handbook of Pragmatics: Manual. — Amsterdam; Philadephia, 1995. — P. 443-453.

Blakemore D. Understanding Utterances. — Oxford; Cambridge, MA, 1992.

Bloom L. Transcription and coding for child language research // Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. — Hillsdale, 1993. — P. 149—166.

Blumer H. George Herbert Mead//The Future of the Sociological Classics. — Boston, 1981. — P. 75— 94.

Blumer H. Social psychology // Man and Society. — New York, 1937. — P. 21—58.

Blumer H. Symbolic Interactionism. — Englewood Cliffs, 1969.

Boden D., Zimmerman D. H. (eds.) Talk and Social Structure: Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis. — Berkeley, 1991.

Bonvillain N. Language, Culture, and Communication: The Meaning of Messages. — Englewood Cliffs, 1993.

Bourdieu P. Language and Symbolic Power [Ce Que Parler Veut Dire]. — Cambridge, MA, 1991.

Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. — Cambridge, 1977.

Bower G. H., Black J. B., Turner T. J. Scripts in memory for texts//Cognitive Psychology. — 1979. — Vol. 11. —P. 177—220.

Bracher M. (ed.) Lacanian Theory of Discourse: Subject, Structure, and Society. — New York, 1994.

Bracher M. Lacan, Discourse, and Social Change: A Psychoanalytical Cultural Criticism. — Ithaca, 1993.

Brandom R. Making it Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment. — Cambridge, MA, 1994.

Breakwell G. M., Canter D. V. (eds.) Empirical Approaches to Social Representations. — Oxford, 1993.

Breuer D. Einführung in die pragmatische Texttheorie. — München, 1974.

Broadbent D. A. The magical number seven after fifteen years // Studies in Long-Term Memory. — New York, 1975. — P. 71—98.

Brown G. Speakers, Listeners and Communication: Explorations in Discourse Analysis. — Cambridge; New York, 1995.

Brown G., Yule G. Discourse Analysis. — Cambridge, 1983.

Brown P., Fraser C. Speech as a marker of situation // Social Markers in Speech. — Cambridge, 1979. — P. 33—62.

Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. — Cambridge: New York, 1987.

Brown P., Levinson S. Universals in language usage: Politeness phenomena // Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction. — Cambridge, 1978. — P. 56—289.

Brown R., Gilman A. The pronouns of power and solidarity // Communication in Face-to-Face Interaction. — Harmondsworth, 1972. — P. 103—127.

Bruner J. The narrative construction of reality // Critical Inquiry. — 1991. — Vol. 18. — P. 1—21.

Brunner G., Grafen G. (Hrsg.) Texte und Diskurse: Methoden und Forschunger-gebnisse der funktionalen Pragmatik. — Opladen, 1994.

Bühler K. Die Krise der Psychologie. — Jena, 1927.
Bühler K. Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. — Jena, 1934.
Burke K. Permanence and Change. — London, 1965.
Burke P., Porter R. (eds.) Language, Self, and Society: A Social History of Language. — Cambridge, 1991.
Burr V. An Introduction to Social Constructionism. — London; New York, 1995.
Burton D. Dialogue and Discourse. — London, 1980.

256

Burton Г., Carlen P. Official Discourse: On Discourse Analysis, Government Publications, Ideology and the State. — London, 1979.
Button G., Lee J. R. E. (eds.) Talk and Social Organisation. — Clevedon; Philadelphia, 1987.
Caldas-Coulthard C. R., Coulthard M. (eds.) Texts and Practicies: Readings in Critical Discourse Analysis. — London, 1996.
Cameron D. et al. (eds.) Researching Language: Issues of Power and Method. — London; New York, 1992.
Canisius P. Monolog und Dialog: Intersuchungen zu strukturellen und genetischen Beziehungen zwischen sprachlichen Solitar- und Gemeinschaftshandlungen. — Bochum, 1986.
Carbaugh D. Situating Selves: The Communication of Social Identities in American Scenes. — Albany, 1996.
Carberry S. Plan Recognition in Natural Language Dialogue. — Cambridge, MA, 1990.
Carey J. W. Communication as Culture. — Boston, 1989.
Carlson L. Dialogue Games: An Approach to Discourse Analysis. — Boston, 1983.
Carston R. Implicature, explicature, and truth-theoretic semantics // Mental Representations: Interface Between Language and Reality. — New York, 1988. — P. 155—188.
Casmir F. L. Interaction: An Introduction to Speech Communication. — Columbus, 1974.
Cazden C. B. The situation: A neglected source of social class differences in language use // Socio-linguistics. — Harmondsworth, 1972. — P. 294—313.
Chafe W. L. Prosodie and functional units of language // Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. — Hillsdale; London, 1993. — P. 33—44.
Charnes L. Notorious Identity: Materializing the Subject in Shakespeare. — Cambridge, MA, 1993.
Charniak E. On the use of framed knowledge in language comprehension // Artificial Intelligence. — 1978. — Vol. 2 (3). — P. 225—265.
Chock P. P., Wyman J. R. (eds.) Discourse and the Social Life of Meaning. — Washington, 1986.
Chomsky N. A review of B. F. Skinner's Verbal Behavior // Language. — 1959. — Vol. 31 (1). — P. 26—58.
Choon-Kyu Oh, Dinneen D. A. (eds.) Syntax and Semantics. — Vol. 11: Presupposition. — New York, London, 1979.
Cicourel A. V. Cognitive Sociology: Language and Meaning in Social Interaction. — Harmondsworth, 1973.
Clark H. H. Arenas of Language Use. — Chicago, 1992.
Clark H. H. Responding to indirect speech acts // Cognitive Psychology. — 1979. — Vol. 11. — p. 430—477.
Clark H. H., Marshall C. Definite reference and mutual knowledge // Elements of Discourse Understanding. — Cambridge, 1981. — P. 10—63.
Clark H. H., Wilkes-Gibbs D. Referring as a collaborative process // Cognition. — 1986. — Vol. 22. — P. 24—47.
Clark R. A., Delia J. G. Topoi and rhetorical competence // Quarterly Journal of Speech — 1979. — Vol. 65.— P. 187—206.
Clough P. T. Feminist Thought. — Oxford, 1994.
Clough P. T. The End(s) of Ethnography. — Newbury Park, 1992.
Cmejrkova S., Danes F., Havlova E. (eds.) Writing vs. Speaking: Language, Text, Discourse, Communication. — Tübingen, 1994.
Cohen P. R., Morgan J., Pollack M. E. (eds.) Intentions in Communication. — Cambridge, MA, 1990.
Cole P. (ed.) Radical Pragmatics. — New York, 1981.
Cole P. (ed.) Syntax and Semantics. — Vol. 9: Pragmatics. — New York, 1978.
Cole P., Morgan J. (eds.) Syntax and Semantics. — Vol. 3: Speech Acts. — New York, 1975.

257

Conley J. M., O'Barr W. M. Rules versus relationships in small claims disputes // Conflict Talk. — Cambridge; New York, 1990. — P. 178—196.
Cooley C. H. Human Nature and the Social Order. — New York, 1964 [1902].
Couch C. J. Mass communications and state structures // Social Science Journal. — 1990. — Vol. 27. — P. 111—128.
Couch C. J. Towards the isolation of elements of social structures // Studies in Symbolic Interaction. — 1989. — Vol. 10. — P. 445—469.
Couch C. J., Saxton S. L, Katovich M. A. (eds.) Studies in Symbolic Interaction: The Iowa School. Parts «A» and «B». — Greenwich, 1986.
Coulmas E Introduction: Conversational routine // Conversational Routine. — The Hague, 1981. — P. 1—17.
Coulthard M. (ed.) Advances in Spoken Discourse Analysis. — London, 1992.
Coulthard M. (ed.) Advances in Written Text Analysis. — London, 1994.
Coulthard M. An Introduction to Discourse Analysis. — 2nd ed. — London, 1985.
Coulthard M. An Introduction to Discourse Analysis. — London, 1977.
Coulthard M., Brazil D. Exchange structure // Studies in Discourse Analysis. — London, 1981. — P. 82—106.
Coulthard M., Montgomery M. (eds.) Studies in Discourse Analysis. — London, 1981.
Coupland N. Introduction // Styles of Discourse. — London, 1988. — P. 1 — 19.
Craig R. T., Tracy K. (eds.) Conversational Coherence: Form, Structure, and Strategy. — Beverly Hills, 1983.
Cranach M. von, Doise W., Mugny C. (eds.) Social Representations and the Social Bases of Knowledge. — Berne, 1992.
Cranach M., von. über das Wissen sozialer Systeme // Psychologie des Sozialen: Repräsentationen in Wissen und Sprache. — Reinbeck, 1995. — S. 47—65.
Crimmins M. Talk about Beliefs. — Cambridge, MA, 1992.
Crombie W. Process and Relation in Discourse and Language Learning. — Oxford, 1985.
Cronen V. E. The consequentiality of communication and the recapturing of experience // The Consequentiality of Communication. — Hillsdale, 1996.
Cronen V. E., Chen V., Pearce W. B. Coordinated management of meaning: A critical theory // International and Intercultural Communication Annual. — 1988. — Vol. 12. — P. 66—98.
Cronen V. E., Pearce W. B., XI C. The meaning of «meaning» in CMM analyses of communication: A comparison of theories //

Research on Language and Social Interaction. — 1990. — Vol. 25. — P. 37—66.
Crusius T. W. Discourse: A Critique and Synthesis of Major Theories. — New York, 1989.
Cruttenden A. Intonation. — Cambridge; New York, 1986.
Cushman D. The rules approach to communication theory: A philosophical and operational perspective // Communication Theory: Eastern and Western Perspectives. — Japan, 1990. — P. 149 — 163.
Cushman D., Cahn D. Communication in Interpersonal Relationships. — Albany, 1985.
Cushman D., Kovacic B. Human communication: A rules perspective // Building Communication Theories: A Socio-Cultural Approach. — Hillsdale, 1994. — P. 269—295.
Dant T. Knowledge, Ideology, and Discourse: A Sociological Perspective. — London, 1991.
Dascal M. (ed.) Dialogue: An Interdisciplinary Approach. — Amsterdam; Philadelphia, 1985.
Dascal M. The pragmatic structure of conversation // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam; Philadelphia, 1992. — P. 35—56.
Davidson D. Truth and Interpretation. — Oxford, 1984.
Davis H. G., Taylor T. J. (eds.) Redefining Linguistics. — London, 1990.
Davis P. W. (ed.) Alternative Linguistics: Descriptive and Theoretical Modes. — Amsterdam; Philadelphia, 1995.
258
Davis S. (ed.) Pragmatics: A Reader. — Oxford; New York, 1991.
Deetz S. A. Future of the discipline: The challenges, the research, and the social contribution // Communication Yearbook. — Vol. 17. — Thousand Oaks, 1994. — P. 565—600.
Delia J. C. Constructivism and the study of human communication // Quarterly Journal of Speech. — 1977. — Vol. 63. — P. 66—83.
Delia J. G., Grossberg L Interpretation and evidence // Western Journal of Speech Communication. — 1977. — Vol. 41. — P. 32—42.
Delia J. G., O'Keefe B. J., O'Keefe D. J. The constructivist approach to communication // Human Communication Theory. — New York, 1982. — P. 147—191.
Denzin N. K. Images of Postmodernism. — London, 1991.
Denzin N. K. Interpretive Biography. — Newbury Park, 1989(b).
Denzin N. K. Interpretive Interactionism. — Newbury Park, 1989(a).
Denzin N. K. Symbolic interactionism // Rethinking Psychology. — London, 1995. — P. 43—58.
Denzin N. K. Symbolic Interactionism and Cultural Studies. — London, 1992.
Dewey J. The Public and its Problems. — New York, 1927.
Dewey J. The reflex arc concept in psychology // Psychological Review. — 1896. — P. 357—370.
Diamond J. Status and Power in Verbal Interaction: A Study of Discourse in a Close-knit Social Network. — Amsterdam; Philadelphia, 1996.
Dijk T. A. van Discourse, opinion and ideologies // Discourse and Ideologies. — Clevedon, 1996. — P. 7—37.
Dijk T. A. van (ed.) Discourse as Social Interaction. — London, 1997(b).
Dijk T. A. van (ed.) Discourse as Structure and Process. — London, 1997(a).
Dijk T. A. van (ed.) Handbook of Discourse Analysis. — Vol. 1—4. — London, 1985.
Dijk T. A. van On macrostructures, mental models, and other inventions: A brief personal history of the Kintsch-van Dijk theory // Discourse Comprehension: Essays in Honor of Walter Kintsch. — Hillsdale, 1995. — P. 383—410.
Dijk T. A. van Political Discourse and Racism: Describing Others in Western Parliaments // The Language and Politics of Exclusion: Others in Discourse. — Thousand Oaks, 1997(c). — P. 31—64.
Dijk T. A. van Principles of critical discourse analysis // Discourse and Society. — 1993. — Vol. 4 (2). — P. 249—283.
Dijk T. A. van Studies in the Pragmatics of Discourse. — The Hague, 1981.
Dijk T. A. van Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. — London; New York, 1977.
Dijk T. A. van Textwissenschaft: Eine interdisziplinäre Einführung. — München, 1980.
Dijk T. A. van, Kintsch W. Strategies of Discourse Comprehension. — New York, 1983.
Dilthey W. Descriptive Psychology and Historical Understanding. — The Hague, 1977 [1884].
Dinneen F. P. General Linguistics. — Washington, 1995.
Dinsmore J. The Inheritance of Presupposition. — Amsterdam, 1981.
Donohew L, Sypher H. E., Higging E. T. (eds.) Communication, Social Cognition, and Affect. — Hillsdale, 1988.
Douglas M. How Institutions Think. — Syracuse, 1986.
Dressler W. U. (ed.) Current Trends in Textlinguistics. — Berlin, 1978.
Drew P. Conversation analysis // Rethinking Methods in Psychology. — London, 1995. — P. 64 — 79.
Dreyfus H., Rabinow P. (eds.) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. — Chicago, 1982.
Du Bois J. W. Transcription design principles for spoken discourse research // Pragmatics. — 1991. — Vol. L — P. 71—106.
259
Du Bois J. W., Schuetze-Coburn S., Cumming S., Paolino D. Outline of discourse description // Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. — Hillsdale, 1993. — P. 45—89.
Du Mas F. Science and the single case // Psychological Reports. — 1955. — Vol. 1. — P. 65—75.
Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieusse: Le système totémique en Australie. — Paris, 1912.
Ecken P. Cooperative competition in adolescent 'girl talk' // Gender and Conversational Interaction. — Oxford, 1993. — P. 32—61.
Eco U. A Theory of Semiotics. — Bloomington, 1976.
Eco U. Semiotics and the Philosophy of Language. — Bloomington,1986.
Eco U., Santambrogio M., Violi P. (eds.) Meaning and Mental Representations. — Bloomington, 1988.
Eder D., Evans C., Parker S. School Talk: Gender and Adolescent Culture. — New Brunswick, 1995.
Edmondson W. Spoken Discourse: A Model for Analysis. — London, 1981.
Edwards D., Potter J. Discursive Psychology. — London, 1992.
Edwaeds J. A. Principles and contrasting systems of discourse transcription // Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. — Hillsdale, 1993. — P. 3—32.
Edwards J. A. Transcription of discourse // International Encyclopedia of Linguistics. — Oxford, 1992. — Vol. 1. — P. 367—370.
Eemeren V. H. van, Grootendorst R. Argumentation, Communication, and Fallacies: A Pragma-Dialectical Perspective. —

Hillsdale, 1992.
Ehlich K. (Hrsg.) Erzählen im Alltag. — Frankfurt/M., 1980.
Ehlich K. Die Entwicklung von Kommunikationstypologien und die Formbestimmtheit des Sprachlichen Handelns // Kommunikationstypologie. — Düsseldorf, 1986. — S. 47—72.
Ehlich K. HIAT: A transcription system for discourse data // Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. — Hillsdale; London, 1993. — P. 123—148.
Ehlich K., Rehbein J. Erweiterte halbinterpretative Arbeitstranskriptionen (HIAT 2): Intonation // Linguistische Berichte. — 1979. — Vol. 59. — S. 51—75.
Ehlich K., Rehbein J. Halbinterpretative Arbeitstranskriptionen (HIAT) // Linguistische Berichte. — 1976. — Vol. 45. — S. 21—41.
Ehlich K., Rehbein J. Zur Konstitution pragmatischer Einheiten in einer Institution: Das Speiserestaurant // Linguistische Pragmatik. — 2. Aufl. — Wiesbaden, 1975. — S. 209—254.
Ekman P., Freisen W. The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage and coding // Semiotica. — 1969. — Vol. 1. — P. 49—98.
Eluerd R. La pragmatique linguistique. — Paris, 1985.
Emerson R. M., Fretz R. I., Shaw L. L. Writing Ethnographic Fieldnotes. — Chicago, 1995.
Ervin-Tripp S. M. Language Acquisition and Communicative Choice. — Stanford, 1973.
Ervin-Tripp S. M., Mitchell-Kernan C. (eds.) Child Discourse. — New York, 1974.
Escandell Vidal M. V. Introduccion a la pragmatica. — Madrid; Barcelona; Anthropos, 1993.
Escudero L, Coma O. (eds.) Comunicacion, Discursos, Semioticas. — Rosario, 1993.
Evans D. A. Situations and Speech Acts: Toward a Formal Semantics of Discourse. — New York, 1985.
Eysenck M. W. Principles of Cognitive Psychology. — Hove, 1993.
Fabermann H. A. The Sociology of Emotions. — Greenwich, 1989.
Fairclough N. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. — London, 1995.
Fairclough N. Discourse and Social Change. — Cambridge, 1992.
Fairclough N. Language and Power. — London; New York, 1989.
Fasold R. Sociolinguistics of Language. — London, 1990.
Ferrera A. Pragmatics // Handbook of Discourse Analysis. — Vol. 2: Dimensions of Discourse. — London, 1985. — P. 137—157.
Fillmore C. J. Pragmatics and the description of discourse // Radical Pragmatics. — New York, 1981. — P. 143—166.
260
Fillmore C. J. Santa Cruz Lectures on Deixis. — Bloomington, 1975.
Fine G. A. The sad demise, mysterious disappearance, and glorious triumph of symbolic interactionism // Annual Review of Sociology. — 1993. — Vol. 19. — P. 61—87.
Fisher S., Todd A. D. (eds.) Discourse and Institutional Authority: Medicine, Education, and Law. — Norwood, 1986.
Fishman P. M. Interaction // Social Problems. — 1978. — Vol. 25. — P. 397—406.
Fiske S. T.. Taylor S. Social Cognition. — 2nd ed. — New York, 1991.
Fitzgerald T. K. Metaphors of Identity: A Culture-Communication Dialogue. — Albany, 1993.
Flader D. (Hrsg.) Verbale Interaktion: Studien zur Empirie und Methodologie der Pragmatik. — Stuttgart, 1991.
Fleck L. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Entstehung: Einfuhrung in die Lehre von Denkstihl und Denkkollektiv. — Basel, 1935.
Flick U. (ed.) Psychologie des Sozialen: Repräsentationen in Wissen und Sprache. — Reinbeck, 1995(a).
Flick U. Social representations // Rethinking Psychology. — London, 1995(b). — P. 70—96.
Flick U. Social representations and the social construction of everyday knowledge: Theoretical and methodological queries // Social Science Information. — 1994. — Vol. 33. — P. 179—197.
Flick U. Soziale Repräsentationen in Wissen und Sprache als Zugänge zur Psychologie des Sozialen // Psychologie des Sozialen: Repräsentationen in Wissen und Sprache. — Reinbeck, 1995(c). — S. 5 — 38.
Fodor J. A. Psychosemantics. — Cambridge, MA, 1987.
Fodor J. A. The Modularity of Mind. — Cambridge, MA, 1983.
Fonseca J. Pragmatica Linguistica: introducao, teoria e descricao do portugues. — Porto, 1994.
Formigari L, Gambarara D. (eds.) Historical Roots of Linguistic Theories. — Amsterdam; Philadelphia, 1995.
Foucault M. L'ordre du discours. — Paris, 1971.
Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972—77. — Brighton. 1980.
Francis G., Hunston S. Analysing everyday conversation // Advances in Spoken Discourse Analysis. — London, 1992. —P. 123—161.
Fraser B. Pragmatic markers // Pragmatics. — 1996. — Vol. 6 (2). — P. 167—190.
Frege G. Der Gedanke. Eine logische Untersuchung // Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus. — 1918. — Bd. I. — S. 58—77.
Frege G. Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. — 1892. — Bd. L. — S. 25—50.
Fries C. C. The Structure of English. — New York, 1952.
Fritz G. Kohärenz: Grundlagen der linguistischen Kommunikationsanalyse. — Tübingen, 1982.
Fritz G., Hundsnurscher F. (Hrsg.) Handbuch der Dialoganalyse. — Tübingen, 1994.
Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. — Englewood Cliffs, 1967.
Garvey C. Children's Talk. — Cambridge, MA, 1984.
Gazdar G. Pragmatics: Implicature, Presupposition and Logical Form. — New York, 1979.
Gee J. P. Social Linguistics and Literacies: Ideologies in Discourses. — London, 1996.
Geis M. L Speech Acts and Conversational Interaction. — Cambridge; New York, 1995.
George A. (ed.) Reflections on Chomsky. — Cambridge, MA, 1990.
Gergen K. J. The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. — New York, 1991.
Gernsbacher M. A. (ed.) Coherence in Spontaneous Text. — Amsterdam, 1995.
Gethin A. Antilinguistics: A Critical Assessment of Modern Linguistic Theory and Practice. — Oxford, 1990.
Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. — Stanford, 1991.
Giddens A. The Constitution of Society. — Cambridge, 1984.
Giles H., Scherer K. R., Taylor D. M. Speech markers in social interaction // Social Markers in Speech. — Cambridge, 1979. —

P. 343—381.
261
Giorgi A. Phenomenological psychology // Rethinking Psychology. — London, 1995. — P. 24—42.
Giorgi A. Psychology as a Human Science. — New York, 1970.
Givón T. Functionalism and Grammar. — Amsterdam; Philadelphia, 1995.
Givón T. Mind, Code, and Context. — Hillsdale, 1988.
Givón T. On Understanding Grammar. — New York, 1979.
Goffman E. Forms of Talk. — Oxford, 1981.
Goffman E. Frame Analysis. — New York, 1974.
Goffman E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. — New York. 1967.
Goffman E. On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction // Communication in Face-to-Face Interaction. — Harmondsworth, 1972. — P. 319—346.
Goffman E. Relations in Public. — New York, 1971.
Goffman E. The interaction order // American Sociological Review. — 1983. — Vol. 48. — P. 1—17.
Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. — New York, 1959.
Goodwin C. Conversational Organization: Interaction between Speakers and Hearers. — New York, 1981.
Goodwin C., Goodwin M. H. Interstitial argument // Conflict Talk. — Cambridge, 1990. — P. 85— 117.
Goodwin C., Heritage J. Conversation analysis // Annual Review of Anthropology. — 1990. — Vol. 19. — P. 283—307.
Graesser A. C., Zwaan R. A. Inference generation and the construction of situation models // Discourse Comprehension: Essays in Honor of Walter Kintsch. — Hillsdale, 1995. — P. 117—140.
Graf P., Schachter D. L. Implicit and explicit memory for new associations in normal and amnesic subjects // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. — 1985. — Vol. 11. — P. 501—518.
Grice H. P. Further notes on logic and conversation // Syntax and Semantics. — Vol. 9: Pragmatics. — New York, 1978. — P. 113—127.
Grice H. P. Logic and conversation // Syntax and Semantics. — Vol. 3: Speech Acts. — New York, 1975. — P. 41—58.
Grice H. P. Meaning // Readings in the Philosophy of Language. — Englewood Cliffs, 1971. — P. 436— 444.
Grice H. P. Presupposition and conversational implicature // Radical Pragmatics.— New York, 1981.— P. 183—198.
Grimshaw A. D. Research on conflict talk: antecedents, resources, findings, directions // Conflict Talk. — Cambridge; New York, 1990. — P. 281—324.
Grundy P. Doing Pragmatics. — London, 1995.
Gudykunst W. B. A model of uncertainty reduction in intercultural encounters // Journal of Language and Social Psychology. — 1985. — Vol. 4. — P. 79—98.
Gudykunst W. B. Anxiety/uncertainty management theory: Development and current status // Inter-cultural Communication Theory. — Newbury Park, 1997. — P. 137—154.
Gudykunst W. B., Yang S. M., Nishida T. A cross-cultural test of uncertainty reduction theory: Comparison of acquaintances, friends, and dating relationships in Japan, Korea, and the United States // Human Communication Research. — 1985. — Vol. 11. — P. 407—454.
Gumperz J. J. (ed.) Language and Social Identity. — Cambridge, 1982(b).
Gumperz J. J. Discourse Strategies. — Cambridge, MA, 1982(a).
Gumperz J. J. Language in Social Groups. — Stanford, 1971.
Gumperz J. J., Berenz N. Transcribing conversational exchanges // Talking Data: Transcription and Coding in Discourse Research. — Hillsdale; London, 1993. — P. 91—122.
Gumperz J. J., Hymes D. (eds.) Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication. — New York, 1972.
262
Haberinas J. Theorie des kommunikativen Handelns. — Frankfurt/M.,1981.
Habermas J. Zur Logik der Sozialwissenschaften. — Frankfurt/M., 1985.
Hagège C. The Dialogic Species: A Linguistic Contribution to the Social Sciences. — New York, 1990.
Halliday M. A. K. Categories of the theory of grammar // Word. — 1961. — Vol. 17. — P. 241—292.
Halliday M. A. K. Intonation and Grammar in British English. — The Hague, 1967.
Halliday M. A. K. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. — 2nd ed. — London, 1978.
Halliday M. A. K. Language structure and language function // New Horizons in Linguistics. — Harmondsworth, 1970. — P. 140—165.
Halliday M. A. K., Hasan R. Cohesion in English. — London, 1976.
Hanks W. F. Language and Communicative Practicies. — Boulder, 1996.
Harada S. I. Honorifics // Syntax and Semantics. — Vol. 5: Japanese Generative Grammar. — New York, 1976. — P. 499—561.
Harré R. Discursive psychology // Rethinking Psychology. — London, 1995. — P. 143—159.
Harré R. Personal Being: A Theory for Individual Psychology. — Oxford, 1984.
Harré R. The discursive creation of human psychology // Symbolic Interaction. — 1992. — Vol. 15. — P. 515—527.
Harré R., Gillett G. The Discursive Mind. — London; Thousand Oaks, 1994.
Harré R., Stearns P. (eds.) Discursive Psychology in Practice. — London, 1995.
Harris R. Language, Saussure, and Wittgenstein: How to Play Games with Words. — London; New York, 1988.
Harris R. Saussure, Wittgenstein and «la règle du jeu» // Linguistics and Philosophy: The Controversial Interface. — Oxford, 1993. — P. 219—231.
Harris R. The Language Myth. — London, 1981.
Harris R., Taylor T. J. Landmarks in Linguistic Thought: the Western Tradition from Socrates to Saussure. — London, 1989.
Harris Z. S. A Theory of Language and Information: A Mathematical Approach. — Oxford; New York, 1991.
Harris Z. S. Discourse analysis // Language. — 1952. — Vol. 28. — P. 1—30; 474—494.
Haslett B. Communication, Strategic Action in Context. — Hillsdale, 1987.
Head B. E Respect degrees in pronominal reference // Universals in Human Language. — Vol. 3: Wordstructure. — Stanford, 1978. — P. 151—211.
Heim I. On the projection problem for presupposition // Pragmatics. — Oxford, 1991. — P. 397—405.
Henne H., Rehbock H. Einführung in die Gesprächsanalyse. — 2., verb. u. erw. Aufl. — Berlin; New York, 1982.

Hess-Lüttich E. W. B. Texttheorie und Soziolinguistik — eine pragmatische Synthese. Entwürfe zur Anwendung linguistischer Literaturanalyse / Inaug. Diss. — Bonn, 1979.

Heydrich W. (ed.) Connexity and Coherence: Analysis of Text and Discourse. — Berlin, 1989.

Hinds J. Organization patterns in discourse // Syntax and Semantics. — Vol. 12: Discourse and Syntax. — New York, 1979. — P. 135—157.

Hipkiss R. A. Semantics: Defining the Discipline. — Mahwah, 1995.

Hobbs J. R. Towards an understanding of coherence in discourse // Strategies for Natural Language Processing. — Hillsdale, 1982. — P. 223—243.

Hoey M. The place of clause relational analysis in linguistic description // English Language Research Journal. — 1983/4. — Vol. 4. — P. 1—32.

Hofmann T. Realms of Meaning: An Introduction to Semantics. — London, 1993.

Holdcroft D. Searle on conversation and structure // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam; Philadelphia, 1992. — P. 57—76.

263

Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics. — London; New York, 1992.

Hormann H. Meinen und Verstehen: Grundsätze eine psychologischen Semantik. — Frankfurt/M., 1976.

Hundsnurscher F., Weigand E. (eds.) Future Perspectives of Dialogue Analysis. — Tübingen, 1995.

Husserl E. Die Idee der Phänomenologie. — The Hague, 1950 [1907].

Husserl E. Phänomenologische Psychologie. — The Hague, 1962 [1925].

Hwang S. J. J., Merrifield W. R. (eds.) Language in Context: Essays for Robert E. Longacre. — Arlington; Dallas, 1992.

Irvine J. T. Formality and informality in speech events // American Anthropologist. — 1979. — Vol. 81 (4). — P. 773—790.

Jackendoff R. S. Languages of the Mind. — Cambridge, MA, 1992.

Jackendoff R. S. Semantics and Cognition. — Cambridge, MA, 1983.

Jackendoff R. S. The Architecture of the Language Facility. — Cambridge, MA, 1997.

James W. Pragmatism. — New York, 1907.

James W. The Principles of Psychology. — 2 vols. — New York, 1890.

Jaworski A. The Power of Silence: Social and Pragmatic Perspectives. — London, 1993.

Jefferson C. A technique for inviting laughter and its subsequent acceptance/declination // Everyday Language: Studies in Ethnomethodology. — New York, 1979. — P. 79—96.

Jefferson G. On the organization of laughter in talk about troubles // Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis. — Cambridge; New York, 1984. — P. 346—369.

Jenner G. Principles of Language. — Frankfurt a/M.; New York, 1993.

Jodelet D. (ed.) Les Representations sociales. — Paris, 1989.

Jodelet D. Représentation sociale: phénomènes, concept et théorie // Psychologie sociale. — Paris 1984. — P. 358—387.

Johnson-Laird P. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness. — Cambridge, 1983.

Joseph J. E., Taylor T. J. (eds.) Ideologies of Language. — London, 1990.

Josselson R., Lieblich A. (eds.) The Narrative Study of Lives. — London, 1993.

Jucker A. H. Conversation: structure or process // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam, 1992. — P. 77—90.

Kalin R. The social significance of speech in medical, legal and occupational settings // Attitudes towards Language Variation. — London, 1982. — P. 148—163.

Kallmeyer W., Schütze F. Konversationsanalyse // Studium Linguistik. — 1976. — No. 1. — S. 1—28.

Kalverkämper H. Orientierung zur Textlinguistik. — Tübingen, 1981.

Karttunen L. Presupposition and linguistic context // Theoretical Linguistics. — 1974. — Vol 1 — P. 181—194.

Kasher A. (ed.) Cognitive Aspects of Language Use. — New York, 1989.

Kasher A. (ed.) The Chomskyan Turn. — Cambridge, MA, 1991.

Katz J. J. The Philosophy of Language. — New York, 1966.

Keenan E. L. Two kinds of presuppositions in natural language // Studies in Linguistic Semantics. — New York, 1971. — P. 45—54.

Keith M., Pile S. (eds.) Place and the Politics of Identity. — New York, 1993.

Kerbrat-Orecchioni C. A multilevel approach in conversation analysis // Paper pres. at the 5th International Pragmatics Association Conf. — Mexico City, July 4—9, 1996.

Kerbrat-Orecchioni C. Les interactions verbales. — Vol. — 1. Paris, 1990.

Kerbrat-Orecchioni C. Les interactions verbales. — Vol. 2. — Paris, 1992.

Kerbrat-Orecchioni C. Les interactions verbales. — Vol. 3. — Paris, 1994.

Kerbrat-Orecchioni C., Plantin C. (éds.) Le trilogue. — Lyon, 1995.

Kevelson R. Semiotics and the art of conversation // Semiotica. — 1980. — Vol. 32. — P. 53—80.

264

Kleiber G. Marqueurs référentiels et processus interprétatifs: pour une approche «plus sémantique» // Cahiers de linguistique française. — 1990.— V. 11.— P. 241—258. *Kleiber G.* Problèmes de reference. — Paris, 1981.

Kolodner J. L From natural language understanding to case-based reasoning and beyond // Beliefs, Reasoning, and Decision Making. — Hillsdale, 1994. — P. 55—110.

Korner E. F. K., Asher R. E. (eds.) Concise History of the Language Sciences: from the Sumerians to the Cognitivists. — New York, 1995.

Kreckel M. Communicative Acts and Shared Knowledge in Natural Discourse. — New York, 1981.

Kripke S. Speaker's reference and semantic reference // Contemporary Perspectives in the Philosophy of Language. — Minneapolis, 1979. — P. 6—27.

Krippendorf K. Information, information society, and some Marxian propositions // Between Communication and Information: Information and Behavior. — Vol. 4. — London, 1993. — P. 487—522.

Labov W. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. — Oxford, 1977.

Labov W. Sociolinguistic Patterns. — Philadelphia, 1973.

Labov W. Some principles of linguistic methodology // Language in Society. — 1972(a). — Vol. 1 (1). — P. 97—120.

Labov W. The study of language in its social context // Sociolinguistics. — Harmondsworth, 1972(b). — P. 180—202.

Labov W., Fanshel D. Therapeutic Discourse: Psychotherapy as Conversation. — New York, 1977.
Lahlou S. A method to extract social representations from linguistic corpora // The Japanese Journal of Experimental Social Psychology. — 1996. — Vol. 35 (3). — P. 278—291.
Lakoff R. T. Language and Woman's Place. — New York, 1975.
Lakoff R. T. Talking Power: The Politics of Language. — New York, 1990.
Langer E. Mindfulness. — Reading, 1989.
Langer E. The illusion of calculated decisions // Beliefs, Reasoning, and Decision Making. — Hillsdale, 1994. — P. 33—53.
Lanigan R. L Speech Act Phenomenology. — The Hague, 1977.
Larson C. E. Speech communication research on small groups // Speech Teacher. — 1971. — Vol. 20. — P. 89—107.
Lecercle J.-J. The Violence of Language. — London; New York, 1990.
Leech G. N. Explorations in Semantics and Pragmatics. — Amsterdam, 1980.
Leech G. N. Principles of Pragmatics. — London, 1983.
Leeds-Hurwitz W. Communication in Everyday Life: A Social Interpretation. — Norwood, 1989.
Leeds-Hurwitz W. Forum introduction: Social approaches to interpersonal communication // Communication Theory. — 1992. — Vol. 2. — P. 131—139.
Leeds-Hurwitz W. Semiotics and Communication: Signs, Codes, Cultures. — Hillsdale, 1993.
Lefebvre H. Everyday Life in the Modern World. — New Brunswick, 1984 [1971].
Lehnert W. G. The role of scripts in understanding // Frame Conceptions and Text Understanding. — Berlin; New York, 1980. — P. 75—95.
Lemke J. L. Textual Politics: Discourse and Social Dynamics. — London, 1995.
Levinson S. C. Activity types and language // Linguistics. — 1979. — Vol. 17 (5/6). — P. 365—399.
Levinson S. C. Pragmatics. — Cambridge, 1983.
Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. — Paris, 1958.
Levy D. M. Communicative goals and strategies: Between discourse and syntax // Syntax and Semantics. - Vol. 12: Discourse and Syntax. — New York, 1979. — P. 183—210.
Lewis D. K. Convention: A Philosophical Study. — Cambridge, MA, 1969.
Lieberman P. Some effects of semantic and grammatical context on the production and perception of speech // Language and Speech. — 1963. — Vol. 6. — P. 172—187.
265
Lincoln B. Discourse and the Construction of Society: Comparative Study of Myth, Ritual and Classification. — New York; Oxford, 1989.
Lind E. A., O'Barr W. M. The social significance of speech in the courtroom // Language and Social Psychology. — Oxford, 1979. — P. 66—87.
Long D. L., Golding J. M., Graesser A. C, *Clark L. E* Goal, event, and state inferences: An investigation of inference generation during story comprehension // Inferences and Text Comprehension. — New York, 1990. — P. 89—102.
Longacre R. E. The Grammar of Discourse. — New York; London, 1983.
Longacre R. E. The paragraph as a grammatical unit // Syntax and Semantics. — Vol. 12: Discourse and Syntax. — New York, 1979. — P. 115—134.
Lorraine T. E. Gender, Identity, and the Production of Meaning. — Boulder, 1990.
Lux F. Text, Situation, Textsorte. — Tubingen, 1981.
Lyons J. Semantics. — Cambridge, New York, 1977.
Lyotard J. The Postmodern Condition. — Minneapolis, 1984 [1979].
Macaulay R. «Coz it izny spelt when they say it»: Displaying dialect in writing // American Speech. — 1991 (3). —P. 280—291.
Macdonell D. Theories of Discourse: An Introduction. — Oxford, 1986.
Mackay D. Formal analysis of communication processes // Nonverbal Communication. — Cambridge, 1972. — P. 3—26.
Macwhinney B., Snow C. The child language data exchange system: An update // Journal of Child Language. — 1990. — Vol. 17. — P. 457—472.
Maines D. R. Repackaging Blumer: The myth of Herben Blumer's astructural bias // Studies in Symbolic Interaction. — 1989. — Vol. 10. — P. 383—413.
Maingueneau D. et. al. (eds.) La Pragmatique: discours et action. — Quebec, 1992.
Maingueneau D. L'Analyse du discours. — Montreal, 1991.
Malinowski B. Phatic communion // Communication in Face-to-Face Interaction. — Harmondsworth, 1972. —P. 146—152.
Malinowski B. The problem of meaning in primitive languages // The Meaning of Meaning. — London, 1923.— P. 451—511.
Malmkjær K. (ed.) The Linguistics Encyclopedia. — London; New York, 1995.
McCall G. J., Simmons J. L. Identities and Interaction. — New York, 1978.
McClelland J. L., Rumelhart D. E., Hinten G. E. The appeal of parallel distributed processing // PDP Research Group. Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. — Cambridge, MA, 1986. — Vol. 1. — P. 3—44.
McKinlay A., Potter J. Social representations: A conceptual critique // Journal for the Theory of the Social Behaviour. — 1987, — Vol. 17. — P. 471—487.
Mead G. H. Mind, Self and Society. — Chicago, 1934.
Mead G. H. What social objects must psychology presuppose? // Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Method. — 1910. — Vol. 7. — P. 174—180.
Merleau-Ponty M. Phenomenology of Perception. — New York, 1962 [1945].
Metzing D. Zur Entwicklung prozeduraler Dialogmodelle // Dialogmuster und Dialogprozesse. — Hamburg, 1981. — S. 51—72.
Mey J. L. Pragmatics: An Introduction. — Oxford; Cambridge, MA, 1993.
Miller G. A. The magic number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information // Psychological Review. — 1956. — Vol. 63. — P. 81—93.
Moerman M. Talking Culture: Ethnography and Conversation Analysis. — Philadelphia, 1988.
Moeschler J., Reboul A. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. — Paris, 1994.
Moilanen M., Viehweger D., Carlson L. (Hrsg.) Zugänge zur Text- und Dialoganalyse. — Hamburg, 1994.
266
Mokros H. B. Introduction: From information and behavior to interaction and identity // Interaction and Identity: Information and

Behavior. — Vol. 5. — London, 1996. — P. 1—22.
Montague R. Formal Philosophy. — Yale, 1974.
Morris C. Writings on the General Theory of Signs. — The Hague; Paris, 1971.
Moscovici S. La Psychoanalyse, son image et son public. — Paris, 1976.
Moscovici S. Notes towards a description of social representation // European Journal of Social Psychology. — 1988. — Vol. 18. — P. 211—250.
Moscovici S. Soziale Repräsentationen: Eine historische Darstellung // Psychologie des Sozialen: Repräsentationen in Wissen und Sprache. — Reinbeck, 1995. — S. 75—92.
Moscovici S. The myth of the lonely paradigm: A rejoinder // Social Research. — 1984(a). — Vol. 51. — P. 939—968.
Moscovici S. The phenomenon of social representations // Social Representations. — Cambridge, 1984(b). — P. 3—69.
Motsch W. Situational context and illocutionary force // Speech Act Theory and Pragmatics. — Dordrecht, 1980. — P. 155—168.
Much N. Cultural psychology // Rethinking Psychology. — London, 1995. — P. 97—121.
Muhlhausler P., Harré R. Pronouns and People: The Linguistic Construction of Social and Personal Identity. — Oxford; Cambridge, MA, 1990.
Mulder J. W. F. Foundations of Axiomatic Linguistics. — Berlin; New York, 1989.
Murphy G. On Metaphoric Representations // Cognition. — 1996. — Vol. 60. — P. 173—204.
Myerson G. Rhetoric, Reason and Society: Rationality as Dialogue. — London, 1994.
Myhill J. Typological Discourse Analysis: Quantitative Approaches to the Study of Linguistic Function.—Oxford, 1992.
Nelson K. Making Sense: The Acquisition of Shared Meaning. — Orlando, 1985.
Newmeyer F. J. (ed.) Language: The Socio-Cultural Context. — Cambridge, 1988 (b).
Newmeyer F. J. (ed.) Linguistic Theory: Foundations. — Cambridge, 1988(a).
Newmeyer F. J. Functional explanation in linguistics and the origins of language // Language and Communication. — 1991. — Vol. 11 (1/2). — P. 3—28.
Ng Sik Hung, Bradac J. J. Verbal Communication and Social Influence. — London, 1993.
Nicotera A. M. The constructivist theory of Delia, Clark, and associates // Watershed Research Traditions in Human Communication Theory. — Albany, 1995. — P. 45—66.
Ninio A., Snow C. E. Pragmatic Development. — Cambridge, MA, 1996.
Norgard-Sorensen J. Coherence Theory: The Case of Russian. — Berlin, 1992.
Nunan A. Introducing Discourse Analysis. — London, 1993.
Nuyts J. Functionalism vs. formalism // Handbook of Pragmatics: Manual. — Amsterdam, Philadephia, 1995. - P. 293—300.
Nuyts J. Intentions in Language Use. — Antwerp, 1993.
O'Connell D. C., Kowal S. Basic principles of transcription // Rethinking Methods in Psychology. — London, 1995(a). — P. 93—105.
O'Connell D. C., Kowal S. Some current transcription systems for spoken discourse // Pragmatics. — 1994. _ Vol. 4. — P. 81—107.
O'Connell D. C., Kowal S. Transcription systems for spoken discourse // Handbook of Pragmatics: Manual. — Amsterdam, Philadephia, 1995(b). — P. 646—656.
O'Grady W. Dobrovolsky M. (eds.) Contemporary Linguistics: An Introduction. — 2nd ed. — New York, 1993.
O'Keefe D. J. Logical Empiricism and the Study of Human Communication // Speech Monographs. — 1975. _ Vol. 42. — P. 169—183.
O'Leary S. D. Arguing the Apocalypse: a Theory of Millennial Rhetoric. — Oxford, 1994.
267
Ochs E. Planned and unplanned discourse // Syntax and Semantics. — Vol. 12: Discourse and Syntax. — New York, 1979(b). — P. 51—80.
Ochs E. Transcription as theory // Developmental Pragmatics. — New York, 1979(a). — P. 43—72.
Ochs E., Schieffelin B. B. Acquiring Conversational Competence. — London, 1983.
Orletti F. (ed.) Fra conversazione e discorso: l'analisi dell'internazione verbale. — Roma, 1994.
Östman J. «You Know»: A Discourse-Functional Approach. — Amsterdam, 1981.
Östman J., Virtanen T. Discourse analysis // Handbook of Pragmatics: Manual. — Amsterdam, Philadephia, 1995. — P. 239—253.
Otero C. P. (ed.) Noam Chomsky: Critical Assessments. — Vol. 4: From Artificial Intelligence to Theology: Chomsky's Impact on Contemporary Thought. — London, 1994.
Owen M. Apologies and Remedial Interchanges: A Study of Language Use in Social Interaction. — New York; Amsterdam, 1983.
Parisi D., Castelfranchi Ch. A goal analysis of some pragmatic aspects of language // Possibilities and Limitations of Pragmatics. — Amsterdam, 1981. — P. 551—567.
Park R. E. Reflections on communication and culture // Race and Culture. — New York, 1950.
Parker I. Discourse Dynamics: Critical Analysis for Social and Individual Psychology. — London, 1992.
Parret H. Contexts of Understanding. — Amsterdam, 1980.
Parret H. Semiotics and Pragmatics: An Evaluative Comparison of Conceptual Frameworks. — Amsterdam; Philadelphia, 1983.
Parret H. The Aesthetics of Communication: Pragmatics and Beyond. — Dordrecht, 1993.
Parret H., Sbisa M. (eds.) Possibilities and Limitations of Pragmatics. — Amsterdam, 1981.
Pearce W. B. A sailing guide for social constructionists // Social Approaches to Communication. — New York; London, 1995. — P. 88—113.
Pearce W. B. Interpersonal Communication: Creating Social Worlds. — New York, 1994(a).
Pearce W. B. Recovering agency // Communication Yearbook. — Vol. 17. — 1994(b). — P. 34—41.
Pearce W. B., Cronen V. E. Communication, Action, and Meaning: The Creation of Social Realities. — New York, 1980.
Peirce C. S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. — Cambridge, MA, 1965.
Petöfi J. A formal semiotic text theory as an integrated theory of natural languages // Current Trends in Textlinguistics. — Berlin; New York, 1978. — P. 35—46.
Petöfi J. Einige Grundfragen der pragmatisch-semantischen Interpretation von Texten // Zum Thema 'Sprache und Logik'. — Hamburg, 1980. — S. 146—190.
Philipsen G. An ethnographic approach to communication studies // Rethinking Communication. — Vol. 2: Paradigm

Dialogues. — Newbury Park, 1989. — P. 258—268.
Philipsen G. The prospect for cultural communication // Communication Theory: Eastern and Western Perspectives. — Orlando, 1987. — P. 245—254.
Pike K. L et al. The Mystery of Culture Contacts, Historical Reconstruction, and Text Analysis: An Emic Approach. — Washington, 1996.
Politzer G. Critique of the Foundations of Psychology. — Pittsburgh, 1994 [1928].
Polkinghorne D. Methodology for the Human Sciences: Systems of Inquiry. — Albany, 1983.
Potter J., Wetherell M. Discourse analysis // Rethinking Methods in Psychology. — London, 1995. — P. 80—92.
Potter J., Wetherell M. Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour. — London, 1987.
Powers J. H. Public Speaking: The Lively Art. — New York, 1994.
Preston D. The Li'l Abner Syndrome: Written Representations of Speech // American Speech. — 1985. — Vol. 60 (4). — P. 328—336.
268
Prucha J. Using language: A sociofunctional approach // The Sociogenesis of Language and Human Conduct. — New York; London, 1983. — P. 287—295.
Psathas G. Conversation Analysis: The Study of Talk-in-Interaction. — Thousand Oaks, 1995.
Quirk R. On corpus principles and design // Directions in Corpus Linguistics: Proceedings of the Nobel Symposium 82. — New York, 1992. — P. 457—469.
Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. — London, 1985.
Rauch G. Aspects of deixis // Essays on Deixis. — Tübingen, 1983. — P. 9—60.
Renkema J. Discourse Studies: An Introductory Textbook. — Amsterdam, 1993.
Reyes G. La Pragmatica linguistica: el estudio del uso del lenguaje. — Barcelona, 1990.
Reynolds L T. Interactionism: Exposition and Critique. — 2nd éd. — Dix Hills, 1990.
Richard M. Prepositional Attitudes: An Essay on Thoughts and How We Ascribe Them. — Cambridge, 1990.
Rickheit G., Habel C. (eds.) Focus and Coherence in Discourse Processing. — Berlin, 1995.
Ricoeur P. Mimesis and representation // Annals of Scholarship. — 1981. — Vol. 2. — P. 15—32.
Rimmon-Kenan S. (ed.) Discourse in Psychoanalysis and Literature. — London, 1987.
Robins R. H. General Linguistics: An Introductory Survey. — 4th ed. — London; New York, 1989.
Rolf E. Die Funktionen der Gebrauchstextsorten. — Berlin, 1993.
Roulet E. On the structure of conversation as negotiation // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam; Philadelphia, 1992. — P. 91—100.
Rundle B. Wittgenstein and Contemporary Philosophy of Language. — Oxford, 1990.
Sacks H. Lectures on Conversation. — 2nd ed. — 2 vols. — Cambridge, MA, 1995.
Sacks H. The inference-making machine: notes on observability // Handbook of Discourse Analysis. — Vol. 3: Discourse and Dialogue. — London, 1985. — P. 13—24.
Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation // Language. — 1974. — Vol. 50 (4). — Part I. — P. 696—735.
Sadock J. M. On testing for conversational implicature // Syntax and Semantics. — Vol. 9: Pragmatics. — New York, 1978. — P. 281—297.
Sadock J. M. Toward a Linguistic Theory of Speech Acts. — New York, 1974.
Salkie R. Text and Discourse Analysis. — London; New York, 1995.
Sanders R. E. The sequential inferential theories of Sanders and Gottman // Watershed Research Traditions in Human Communication Theory. — Albany, 1995. — P. 101—136.
Sanders R. E. The two-way relationship between talk in social interaction and actors' goals and plans // Understanding Face-to-Face Interaction: Issues Linking Goals and Discourse. — Hillsdale, 1991.— P. 167—188.
Sanford A. J., Garrod S. Understanding Written Language. — Chichester, 1981.
Sartre J.-P. Critique of Dialectical Reason. — London, 1976.
Saville-Troike M. The Ethnography of Communication: an Introduction. — Baltimore, 1982.
Sbisa M. Speech acts, effects and responses // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam; Philadelphia, 1992. —P. 101—112.
Schank R. C. Depths of knowledge // Knowledge and Representation. — London, 1982(a). — P. 170— 193.
Schank R. C. Dynamic Memory: A Theory of Reminding and Learning in Computers and People. — Cambridge, New York, 1982(b).
Schank R. C. Explanation Patterns: Understanding Mechanically and Creatively. — Hillsdale, 1986.
Schank R. C. Goal-based scenarios // Beliefs, Reasoning, and Decision Making. — Hillsdale, 1994. — P. 1—32.
Schank R. C. Tell me a Story: A New Look at Real and Artificial Memory. — New York, 1990.
269
Schank R. C., Abelson R. P. Scripts, Plans, Goals and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures. — Hillsdale, 1977.
Schank R. C., Lenger E. (eds.) Beliefs, Reasoning, and Decision Making: Psycho-Logic in Honor of Bob Abelson. — Hillsdale, 1994.
Scheflen E. A. The significance of posture in communication systems // Psychiatry. — 1964. — Vol. 27. —P. 316—331.
Schegloff E. A. Between Micro and Macro: Contexts and other connections // The Micro-Macro Link. — Berkeley, 1987. — P. 207—234.
Schegloff E. A. Goffman and the analysis of conversation // Erving Goffman: Exploring the Interaction Order. — Cambridge, 1988. — P. 89—135.
Schegloff E. A. To Searle on conversation // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam; Philadelphia, 1992. — P. 113—128.
Schegloff E. A., Sacks H. Opening up closings // Semiotica. — 1973. — Vol. 8. — P. 289—327.
Schiffrin D. Approaches to Discourse. — Oxford; Cambridge, MA, 1994.
Schiffrin D. Discourse Markers. — Cambridge, 1987.
Schlieben-Lange B. Linguistische Pragmatik. — Stuttgart, 1975.
Schmidt S. J. Some problems of communicative text theories // Current Trends in Textlinguistics. — Berlin; New York, 1978. — P. 47—60.

Schore A. N. Affect Regulation and the Origin of the Self. — Hillsdale, 1994.
Schroder H. (Hrsg.) Fachtextpragmatik. — Tubingen, 1993.
Schutz A. Phenomenology and the social sciences // Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl. — Cambridge, MA, 1940. — P. 164—186.
Searle J. R. Conversation // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam, 1992. — P. 7—29.
Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam, 1992.
Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. — Cambridge, 1969.
Searle J. R., Kiefer E, Bierwisch M. (eds.) Speech Act Theory and Pragmatics. — Dordrecht; Boston, 1980.
Searle J. R., Vanderveken D. Foundations of Illocutionary Logic. — Cambridge, 1985.
Sebeok T. A. A Sign is just a Sign. — Bloomington, 1991.
Segerdahl P. Language Use: A Philosophical Investigation into the Basic Notions of Pragmatics. — Houndmills; New York, 1996.
Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. — Urbana, 1949.
Shotter J. Conversational Realities: Constructing Life through Language. — London, 1993.
Shotter J. Dialogical psychology // Rethinking Psychology. — London, 1995. — P. 160—178.
Shotter J., Gergen K. J. Social construction: Knowledge, self, others, and continuing the conversation // Communication Yearbook. — Vol. 17. — Thousand Oaks, 1994. — P. 3—33.
Shweder R. A., Sullivan M. A. Cultural psychology: Who needs it? // American Review of Psychology. — 1993. — Vol. 44. — P. 497—523.
Simmel G. The problem of sociology // American Journal of Sociology. Vol. 15. — 1909. — P. 289— 320.
Simon H. A. How big is a chunk? // Science. — 1974. — Vol. 183. — P. 482—488.
Sinclair J. Priorities in discourse analysis // Advances in Spoken Discourse Analysis. — London ; New York, 1992. — P. 79—88.
Sinclair J., Coulthard M. Towards an analysis of discourse // Advances in Spoken Discourse Analysis. — London; New York, 1992. — P. 1—34.
Sinclair J., Coulthard M. Towards an Analysis of Discourse: The English Used by Teachers and Pupils. — Oxford, 1975.
270
Singer M. Psychology of Language. — Hillsdale, 1990.
Smedslund J. Psycho-Logic. — Heidelberg, New York, 1988.
Smedslund J. Psychologic: A technical language for psychology // Psychological Inquiry. — 1991. — Vol. 2. — P. 376—382.
Smedslund J. Psychologic: Common sense and the pseudoempirical // Rethinking Psychology. — London, 1995. — P. 196—206.
Smith J. A., Harré R., Langenhove L van (eds.) Rethinking Methods in Psychology. — London, 1995(a).
Smith J. A., Harré R., Langenhove L. van (eds.) Rethinking Psychology. — London, 1995(b).
Soames S. How presuppositions are inherited: A solution to the projection problem // Pragmatics: A Reader. — New York; Oxford, 1991. — P. 428-470.
Spencer-Oatey H. Reconsidering Power and Distance // Journal of Pragmatics. — Vol. 26, No. 1. — 1996. — P. 1—24.
Sperber D., Wilson D. Mutual knowledge and relevance in theories of comprehension // Mutual Knowledge. — London, 1982. — P. 61—131.
Sperber D., Wilson D. Relevance: Communication and Cognition. — 2nd ed. — Oxford; Cambridge, MA, 1995.
Stalnaker R. Pragmatic presupposition // Semantics and Philosophy. — New York, 1974. — P. 197— 214.
Stalnaker R. Pragmatics // Semantics of Natural Language. — Boston, 1972. — P. 380—397.
Steger H., Deutrich K.-H., Schank G. Redekonstellation und Sprachverhalten // Lehrgang Sprache: Einführung in die moderne Linguistik. — Tübingen, 1974. — S. 1011—1056.
Stein D., Wright S. (eds.) Subjectivity and Subjectivisation: Linguistic Perspectives. — Cambridge, 1995.
Steinberg D. D. An Introduction to Psycholinguistics. — London, 1993.
Steiner E. H., Veltman R. (eds.) Pragmatics, Discourse and Text: Some Systematically-Inspired Approaches. —Norwood, 1988.
Stenström A.-B. An Introduction to Spoken Interaction. — London, 1994.
Stillings N. A., Feinstein M. H., Garfield J. L. et al. Cognitive Science: An Introduction. — London; Cambridge, MA, 1987.
Strauss A. L. Continual Permutations of Action. — New York, 1993.
Strauss A. L. Mirrors and Masks. — 5th ed. — Glencoe, 1969.
Strawson P. E Intention and convention in speech acts // Pragmatics: A Reader. — Oxford; New York, 1991. —P. 290—301.
Streeck J. The dispreferred Other // Searle J. R. et al. (On) Searle on Conversation. — Amsterdam; Philadelphia, 1992.— P. 129—136.
Strozier R. M. Saussure, Derrida, and the Metaphysics of Subjectivity. — Berlin, 1988.
Stryker S. Symbolic Interactionism. — Menlo Park, 1980.
Stubbs M. Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. — Oxford, 1983.
Stygall G. Trial Language: Differential Discourse Processing and Discursive Formation. — Amsterdam; Philadelphia, 1994.
Sullivan E.V. A Critical Psychology: Interpretation of the Personal World. — New York, 1984.
Suppe E The search for philosophic understanding of scientific theories // The Structure of Scientific Theories. — Urbana, 1977. — P. 53—71.
Svartvik J. Corpus linguistics comes of age // Directions in Corpus Linguistics: Proceedings of the Nobel Symposium 82. — New York, 1992. — P. 7—13.
Tannen D. (ed.) Analyzing Discourse: Text and Talk. — Washington, 1982.
Tannen D. (ed.) Coherence in Spoken and Written Language. — Norwood, 1984(a).
Tannen D. Conversational Style: Analyzing Talk among Friends. — Norwood, 1984(b).
271
Tannen D. Silence as conflict management in fiction and drama: Pinter's Betrayal and a short story, «Great Wits» // Conflict Talk. — Cambridge; New York, 1990. — P. 260—280.
Tannen D. Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. — Cambridge; New York, 1989.
Tannen D. That's Not What I Meant: How Conversational Style Makes or Breaks your Relations with Others. — New York, 1986.
Tannen D., Saville-Troike M. (eds.) Perspectives on Silence. — Norwood, 1985.
Tarski A. The semantic conception of truth // Philosophy and Phenomenological Research. — 1944. — Vol. 4. —P. 341—376.

Taylor C. Sources of the Self: The Making of Modern Identity. — Cambridge, MA, 1989.
Taylor T. J., Cameron D. Analyzing Conversation: Rules and Units in the Structure of Talk. — Oxford; New York, 1987.
Thibault P. J. Re-reading Saussure: The Dynamics of Signs in Social Life. — London, 1996.
Thomas J. Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics. — London, 1995.
Thompson J. B. Studies in the Theory of Ideology. — Cambridge, 1984.
Tobin Y. Semiotics and Linguistics. — London; New York, 1990.
Todorov T. Théories du symbole. — Paris, 1977.
Toolan M. Total Speech: an Integrational Linguistic Approach to Language. — Durham, 1996.
Trudgill P. (ed.) Applied Sociolinguistics. — London; Orlando, 1984.
Tsui B. M. A. Aspects of the classification of illocutionary acts and the notion of the perlocutionary act // Semiotica. — 1987. — Vol. 66 (4). — P. 359—377.
Tsui B. M. A. Beyond the adjacency pair // Language in Society. — 1989. — Vol. 18. — P. 545—564.
Tsui B. M. A. The interpretation of language as code and language as behaviour // Recent Systemic and Other Functional Views on Language. — London, 1996.
Tulving E. Elements of Episodic Memory. — Oxford, 1983.
Turner J. H, A Theory of Social Interaction. — Stanford, 1988.
Tyler S. A. The Unspeakable: Discourse, Dialogue, and Rhetoric in the Postmodern World. — Madison, 1987.
Vaina L, Hintikka J. (eds.) Cognitive Constraints on Communication: Representations and Processes. — Dordrecht; Boston, 1984.
Ventola E. The Structure of Social Interaction. — London, 1987.
Verhoeven J. C. An interview with Erving Goffman, 1980 // Research on Language and Social Interaction. — 1993. — Vol. 26 (3). — P. 317—348.
Verschueren J. (ed.) Linguistic Action: Some Empirical-Conceptual Studies. — Norwood, 1987.
Verschueren J. On Speech Act Verbs. — Amsterdam, 1980.
Verschueren J. What People Say They Do with Words: Prolegomena to an Empirical-Conceptual Approach to Linguistic Action. — Norwood, 1985.
Verschueren J., Östman J.-O., Blommaert J. (eds.) Handbook of Pragmatics: Manual. — Amsterdam, Philadephia, 1995.
Wardhaugh R. Investigating Language: Central Problems in Linguistics. — Oxford, 1993.
Watson G., Seiler R. M. (eds.) Text in Context: Contributions to Ethnomethodology. — Newbury Park, 1992.
Watson R. Symbolic interactionism // Handbook of Pragmatics: Manual. — Amsterdam, Philadephia, 1995.— P. 520—527.
Watzlawick P., Beavin J., Jackson D. The Pragmatics of Human Communication. — New York, 1967.
Weaver C. A. III, Mannes S., Fletcher C. R. (eds.) Discourse Comprehension: Essays in Honor of Walter Kintsch. — Hillsdale, 1995.
Weigand E. (ed.) Concepts of Dialogue: Considered from the Perspective of Different Disciplines. — Tübingen, 1994.
272
Werth P. Focus, Coherence and Emphasis. — London, 1984.
Wetterström T. Intention and Communication: An Essay in the Phenomenology of Language. — Lund, 1977.
White H. C. Identity and Control: A Structural Theory of Social Action. — Princeton, 1992.
Widdowson H. G. Directions in the teaching of discourse // Theoretical Linguistic Models in Applied Linguistics. — London, 1973. — P. 65—76.
Widdowson H. G. Linguistics. — Oxford, 1996.
Wierzbicka A. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. — Berlin; New York, 1991.
Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. — Oxford; New York, 1992.
Wierzbicka A. Semantics, Primes and Universals. — Oxford, 1996.
Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words. — New York; Oxford, 1997.
Wilensky R. Discourse, probability, and inference // Beliefs, Reasoning, and Decision Making. — Hills-dale, 1994. — P. 363—388.
Wilson D., Sperber D. Inference and implicature // Meaning and Interpretation. — Oxford, 1986. — P. 43—75.
Wittgenstein L Philosophical Investigations. — Oxford, 1953.
Wodak R. Disorders of Discourse. — London; New York, 1996.
Wolf G. (ed.) New Departures in Linguistics. — New York, 1992.
Wunderlich D. Methodological remarks on speech act theory // Speech Act Theory and Pragmatics. — Dordrecht; Boston, 1980. — P. 291—312.
Wunderlich D. Studien zur Sprechakttheorie. — Frankfurt/M., 1976.
Yule G. Pragmatics. — Oxford, 1996.
Zeckhauser R. J. Strategy and Choice. — Cambridge, MA, 1991.
Zimmerman D. H., Boden D. Structure-in-action // Talk and Social Structure: Studies In Ethnomethodology and Conversational Analysis. — Berkeley, 1991. — P. 3—21.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Научное издание
Михаил Львович Макаров **ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДИСКУРСА**
Редактор Н. Н. Жукова
ЛР № 066278 от 14 января 1999 г.
Подписано в печать 05.02.2003 г. Формат 70 х 90 1/16.
Гарнитура «Times». Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. п. л. 20.47. Тираж 2500 экз. Заказ № 2672.
000 «Издательско-торговый дом гуманитарной книги "Гнозис"» 123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 25, корп. 1.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленской областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.
Тел.: 3-01-60; 3-46-20; 3-46-05

НОВЫЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ГНОЗИС»
Гагаринский пер., д. 21 (5 минут ходьбы от м. Кропоткинская)